АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1952

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1952

И. В. СТАЛИН

РЕЧЬ НА XIX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ

14 октября 1952 г.

(Появление на трибуне товарища Сталина делегаты встречают бурными, долго не смолкающими аплодисментами, переходящими в овацию. Все встают. Возгласы: «Товарищу Сталину — ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!», «Слава великому Сталину!»)

Товарищи!

Разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почтили наш съезд своим присутствием или которые прислали съезду приветственные обращения,— за дружеские приветствия, за пожелания успехов, за доверие. **(Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию).**

Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народов, в ее борьбе против войны, в ее борьбе за сохранение мира. **(Бурные, продолжительные аплодисменты).**

Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке. Это неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и в поддержке братских народов за рубежом.

Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. Когда английские рабочие в 1918—1919 годах, во время вооруженного нападения английской буржуазии на Советский Союз организовали борьбу против войны под лозунгом «Руки прочь от России», то это была поддержка, поддержка прежде всего борьбы своего народа за мир, а потом и поддержка Советского Союза. Когда товарищ Торез или товарищ Тольятти заявляют, что их народы не будут воевать против народов Советского Союза **(бурные апло-**

ЧИТАЛ ЫЙ ЗА
№

дисменты), то это есть поддержка, прежде всего поддержка рабочих и крестьян Франции и Италии, борющихся за мир, а потом и поддержка миролюбивых стремлений Советского Союза. Эта особенность взаимной поддержки объясняется тем, что интересы нашей партии не только не противоречат, а, наоборот, сливаются с интересами миролюбивых народов. (Бурные аплодисменты). Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще неотделимы от дела мира во всем мире.

Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу у братских партий и она сама должна в свою очередь оказывать им поддержку, а также их народам в их борьбе за освобождение, в их борьбе за сохранение мира. Как известно, она именно так и поступает. (Бурные аплодисменты). После взятия власти нашей партией в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического и помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание «Ударной бригады» мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежду, что успехи «Ударной бригады» облегчат положение народам, томящимся под гнетом капитализма. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую и японскую фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угрозы фашистского рабства. (Бурные аплодисменты).

Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока «Ударная бригада» была одна-единственная и пока приходилось ей выполнять эту передовую роль почти в одиночестве. Но это было. Теперь — совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые «Ударные бригады» в лице народно-демократических стран,— теперь нашей партии легче стало бороться, да и работа пошла веселее. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Особого внимания заслуживают те коммунистические, демократические или рабоче-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти и которые продолжают работать под пятой буржуазных драконовских законов. Им, конечно, труднее работать. Однако им не столь трудно работать, как было трудно нам, русским коммунистам, в период царизма, когда малейшее движение вперед объявлялось тягчайшим преступлением. Однако русские коммунисты выстояли, не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет с этими партиями.

Почему все же не столь трудно будет работать этим партиям в сравнении с русскими коммунистами царского периода?

Потому, во-первых, что они имеют перед глазами такие при-

меры борьбы и успехов, какие имеются в Советском Союзе и народно-демократических странах. Следовательно, они могут учиться на ошибках и успехах этих стран и тем облегчить свою работу.

Потому, во-вторых, что сама буржуазия,— главный враг освободительного движения,— стала другой, изменилась серьезным образом, стала более реакционной, потеряла связи с народом и тем ослабила себя. Понятно, что это обстоятельство должно также облегчить работу революционных и демократических партий. (Бурные аплодисменты).

Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой «свободы личности»,— права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять. (Бурные аплодисменты).

Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять. (Бурные аплодисменты).

Так обстоит дело в настоящее время.

Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти.

Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. (Бурные аплодисменты).

Да здравствуют наши братские партии! (Продолжительные аплодисменты).

Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! (Продолжительные аплодисменты).

Да здравствует мир между народами! **(Продолжительные аплодисменты).**

Долой поджигателей войны! **(Все встают. Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Возгласы. «Да здравствует товарищ Сталин!», «Товарищу Сталину ура!», «Да здравствует великий вождь трудящихся мира товарищ Сталин!», «Великому Сталину ура!», «Да здравствует мир между народами!» Возгласы: «ура»).**

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1952

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ОКТЯБРЯ И СОВЕТСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

1

Весь советский народ с огромным воодушевлением приветствовал историческую речь великого вождя и учителя трудящихся И. В. Сталина и решения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза. Эти замечательные документы дают исключительно глубокое обобщение богатейшего опыта и великих побед нашей партии в борьбе за коммунизм, определяют пути дальнейшего продвижения советского народа вперед, к полному торжеству коммунизма.

В исторических решениях XIX партийного съезда начертана величественная программа коммунистического строительства в нашей стране. Большую роль в осуществлении этой программы, в обеспечении технического прогресса и в подъеме социалистической культуры призвана играть советская наука. XIX съезд партии мобилизует советских ученых на решение крупнейших, наиболее важных научных проблем, которые определяются сталинской программой строительства коммунизма в нашей стране. Директивы партийного съезда намечают всемерное содействие ученым в разработке ими теоретических проблем во всех областях знания и в широком практическом применении их научных открытий. Предъявляются большие требования научно-исследовательским институтам и высшим учебным заведениям в деле дальнейшего улучшения научной работы и разрешения важнейших вопросов развития народного хозяйства и социалистической культуры. Предусматривается значительный рост выпуска научной литературы, расширение полиграфической промышленности, улучшение качества печати и оформления книг. В новой пятилетке примерно в два раза увеличивается подготовка научных и научно-педагогических кадров.

Решения XIX партийного съезда и новые гениальные труды И. В. Сталина ставят перед советскими языковедами, так же как и перед всеми учеными Советского Союза, перед всем советским народом, большие задачи. С чувством огромной радости воспринимают советские языковеды эти документы, которые вливают в них новые силы, придают им новую энергию в борьбе за высокое качество научной работы, за приближение ее к тем высоким требованиям, которые выдвинул перед ними великий Сталин в своих гениальных работах по языкознанию.

XIX съезд Коммунистической партии Советского Союза собрался в канун тридцатипятилетия Великой Октябрьской социалистической революции.

Прошло 35 лет с тех пор, как русский пролетариат под руководством партии Ленина — Сталина повел народы нашей страны на штурм капитализма, сверг иго помещиков и капиталистов и организовал первое в мире государство рабочих и крестьян. После освобождения всей территории Советской страны от интервентов, в декабре 1922 г. — тридцать лет назад — на Первом Всесоюзном съезде Советов для обеспечения задач строительства социализма и обороны страны, в интересах дальнейшего

укрепления братского нерушимого союза народов и всестороннего развития всех национальностей нашей Родины, по предложению Ленина и Сталина, было создано добровольное государственное объединение советских народов — Союз Советских Социалистических Республик. Это было величайшей победой первого героического пятилетия Великого Октября.

Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая человечеству путь к новому, социалистическому миру, навсегда раскрепостила в нашей стране науку от сковывавших ее развитие пут капитализма, поставила ее на службу благородным целям социалистического строительства и открыла перед учеными Страны Советов неиссякаемые сокровища научной мысли, находящиеся в бессмертных творениях Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Советское языкознание, как и все отрасли советской науки, получило широчайшие возможности для расширения своего исследовательского горизонта, для углубления теоретического анализа всего прежде накопленного и вновь открываемого фактического материала по разным языкам мира.

Коммунистическая партия и Советская власть предоставили все необходимые материальные возможности для всемерного развертывания языковедческой деятельности, создали значительную сеть научно-исследовательских учреждений по языкознанию, вырастили и воспитали многочисленные кадры языковедов из среды трудящихся как великого русского народа, так и ранее угнетенных народов царской России, ныне свободных в стране социализма.

Великая Октябрьская социалистическая революция во всей полноте подняла международное и межнациональное значение русского языка, изучение которого стало кровным делом всех народов Советского Союза. Осуществление ленинско-сталинской национальной политики в нашей великой стране впервые в истории человечества обеспечило широчайшие возможности для свободного, беспрепятственного развития национальных культур и языков народов СССР, создания новых литературных языков для тех народов, которые раньше, до революции, не имели своей письменности.

Гигантский рост культуры всех народов СССР, невиданный расцвет отечественной науки, распространение всеобщей грамотности и, в связи с этим, усиление в социалистическом обществе роли языка как средства общения всех членов общества — все это потребовало от советских языковедов напряженной работы, направленной на более углубленное теоретическое изучение структуры самых разнообразных языков больших и малых народов нашей страны и закономерностей их развития в эпоху социализма. В ходе этой напряженной работы перед советскими языковедами всплыл целый ряд таких теоретических и практических проблем огромного научного значения, которые раньше совершенно не возникали и не могли возникнуть.

В своей большой и трудной работе советские языковеды всегда получали неоценимую помощь со стороны советского правительства, партии большевиков, со стороны В. И. Ленина и И. В. Сталина. Помощь эта выражалась и выражается и в том, что произведения Ленина и Сталина, основанные на глубоком научном анализе теории и практики социалистического строительства в нашей стране, революционного и национально-освободительного движения народов всего мира, а также директивы партии по идеологическим вопросам указывают ученым нашей страны единственно правильный путь к решению основных теоретических проблем.

«Историческая роль наших великих учителей Ленина и Сталина,— говорил Г. М. Маленков в «Отчетном докладе XIX съезду партии о работе ЦК ВКП(б)»,— состоит в том, что они, глубоко проникнув в теоретиче-

ские основания марксизма и в совершенстве владея диалектическим методом, отстояли и защитили марксизм от всех извращений и гениально развили марксистское учение. Ленин и Сталин постоянно, при каждом новом повороте истории связывали марксизм с определенными практическими задачами эпохи, показывая своим творческим подходом к учению Маркса — Энгельса, что марксизм не мертвая догма, а живое руководство к действию»[1].

В гениальных произведениях В. И. Ленина и И. В. Сталина советские языковеды всегда находили ясные и исчерпывающие методологические указания, на основе которых они решали вопросы как общего языкознания, так и научного изучения и совершенствования языков народов СССР. Особенно велика и совершенно неоценима была помощь товарища Сталина, которую он оказал советским языковедам своим гениальным произведением «Марксизм и вопросы языкознания». В этом историческом произведении И. В. Сталин ярким светом творческого марксизма озарил основные и сложнейшие проблемы науки о языке и открыл тем самым единственно правильный путь успешного развития советского языкознания. «Товарищ Сталин раскрыл роль языка как орудия развития общества, указал перспективы дальнейшего развития национальных культур и языков»[2]. Сталинское произведение ознаменовало коренной переворот в развитии советской науки о языке, предопределив ее дальнейшее продвижение вперед на длительный исторический период.

Новый труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», явившийся величайшим вкладом в сокровищницу марксистско-ленинской теории, имеет огромное значение для всей нашей практической деятельности, для развития всей советской науки и освещает целый ряд новых важных, коренных проблем марксистского языкознания. Так, советские языковеды должны творчески использовать в своих исследованиях сталинский анализ объективного характера экономических законов, определение основных экономических законов социализма и капитализма, указание товарища Сталина на то, что экономическое развитие в наших социалистических условиях происходит «...в порядке постепенных изменений, когда старое не просто отменяется начисто, а меняет свою природу применительно к новому, сохраняя лишь свою форму, а новое не просто уничтожает старое, а проникает в старое, меняет его природу, его функции, не ломая его форму, а используя ее для развития нового»[3].

Труды товарища Сталина по экономическим вопросам и по вопросам языкознания указывают нам конкретные пути внедрения марксизма в науку о языке. «Огромное значение теоретических трудов товарища Сталина состоит в том, что они предупреждают против скольжения по поверхности, проникают в глубь явлений, в самую суть процессов развития общества, учат видеть в зародыше те явления, которые будут определять ход событий, что дает возможность марксистского предвидения»[4].

2

Путь, пройденный советским языкознанием до появления в свет гениальных трудов И. В. Сталина по языкознанию, был очень сложным и извилистым. В конце десятых годов и в течение почти всех двадцатых годов

[1] Г. Маленков, Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), Госполитиздат, 1952, стр. 98–99.
[2] Там же, стр. 107.
[3] И. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР, Госполитиздат, 1952, стр. 53.
[4] Г. Маленков, Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), стр. 107.

нашего столетия советское языкознание в лице его наиболее многочисленных и видных представителей продолжало находиться под влиянием господствовавшей в дооктябрьском языкознании школы Бодуэна де Куртенэ, развивавшейся сначала в Казани, затем в Петербурге (где концепцию Бодуэна продолжал развивать и углублять его талантливый ученик — Л. В. Щерба), школы Фортунатова, утвердившейся в Москве, и ответвившейся от фортунатовского течения школы акад. А. А. Шахматова. При всех недостатках в своих общетеоретических основаниях эти школы в лице своих лучших представителей дали много ценного не только для изучения отдельных языков (русского, французского, ряда восточных) в их современном состоянии и в их истории, но и для общего языкознания, особенно в области общей фонетики. Этим школам прежнее русское языкознание было обязано и своим резким поворотом в сторону изучения живых языков. Внимание прежде всего к конкретной языковой действительности продолжало оставаться характерной чертой передовых советских языковедов даже в те годы, когда Н. Я. Марр и его последователи всячески тянули лингвистов к палеонтологии языка, заявляя, что якобы только палеонтологическое изучение языков составляет подлинную науку.

Однако, в связи с развивавшимся в нашей стране изучением марксизма, с широко развернувшейся работой по установлению новых — марксистских — теоретических и методологических основ науки, деятели языкознания, в особенности выращенные в советскую эпоху новые кадры языковедов, стали осознавать всю научную порочность субъективно-идеалистических, психологических установок школы Бодуэна де Куртенэ и формалистической и также в основных своих положениях идеалистической концепции школы Фортунатова. Начались поиски новых путей. Этот поворот явственно обнаружился с середины 20-х годов.

Основное направление поисков новых научных основ для языковедения пошло по линии марксизма. Это был тот путь, который только и мог обеспечить подлинно научную перестройку языкознания. К сожалению, некоторая часть языковедов, вместо того чтобы всецело ориентироваться непосредственно на классиков марксизма, подпала под влияние крайне шумливых в те годы «толкователей» марксизма, на деле — его вульгаризаторов и извратителей: Богданова и Покровского. Другая часть, видевшая несостоятельность их «теорий», обратилась к тем крупным лингвистам Запада, в сочинениях которых их поклонники наивно искали «здоровые зерна» социологизма и языковедческого новаторства, например, к де Соссюру, Вандриесу, Сепиру. В первой половине 30-х годов были переведены и получили широкое распространение важнейшие работы этих авторов. Недостаточное знание марксизма-ленинизма помешало тогда многим языковедам распознать, что за «социологизмом» де Соссюра на деле скрывается извращение подлинно научного исторического изучения языковых явлений.

В этой сложной обстановке во второй половине 20 х и в начале 30-х гг. стала все громче и громче заявлять о себе так называемая «яфетическая теория» Н. Я. Марра, претендовавшая на звание «нового учения» о языке, построенного якобы на подлинно марксистской основе. Эта «теория» смогла занять господствующее положение только в связи с совершенно недостаточной тогда методологической подготовленностью большинства языковедов, прежде всего самих представителей «нового учения» о языке. Многим тогда стало казаться, что путь к марксизму правильно подсказывает Н. Я. Марр, авторитет которого искусственно создавался такими «марксистами», как М. Н. Покровский и А. М. Деборин. «Н. Я. Марр действительно хотел быть и старался быть марксистом, но он не сумел стать марксистом. Он

был всего лишь упростителем и вульгаризатором марксизма, вроде „пролеткультовцев" или „рапповцев"»[5]. Крайне страстная и темпераментная псевдомарксистская фразеология Н. Я. Марра производила известное впечатление на некоторые еще не окрепшие умы того времени, слабо вооруженные или почти не вооруженные идеями марксизма.

Н. Я. Марр внес в языкознание неправильные, немарксистские формулы насчет языка, как надстройки, и насчет «классовости» языка и запутал себя, запутал языкознание. На базе этих ошибочных формул развитие советского языкознания оказалось невозможным. Кроме того, «Н. Я. Марр внес в языкознание не свойственный марксизму нескромный, кичливый, высокомерный тон, ведущий к голому и легкомысленному отрицанию всего того, что было в языкознании до Н. Я. Марра»[6].

Среди представителей марровского «нового учения» о языке воцарился дух полного нигилизма в отношении к лучшим трудам передовой лингвистической науки и прежде всего науки отечественной, что не мешало «ученикам» Марра тайно и открыто пользоваться антиисторическими построениями и идеалистическими теориями всяческих модных течений зарубежной буржуазной этнологии и лингвистики, например, идеалистическими концепциями Леви-Брюля, Кассирера и других.

Главное острие аракчеевского режима, созданного в органах языкознания «учениками» Н. Я. Марра, было направлено прежде всего против тех советских языковедов, которые трудились или пытались трудиться в области исторического и сравнительно-исторического изучения отдельных языков и групп родственных языков. Марр и его «ученики» нанесли нашей отечественной науке большой ущерб. В период господства «теорий» Марра многие советские языковеды вынуждены были прекратить свои плодотворно начатые исследования языкового родства таких народов, как славянские, финно-угорские, монгольские, иранские и т. д. «Ученики» Н. Я. Марра, преследуя и тормозя изучение языкового родства народов, лишили советское языкознание одного из важнейших средств познания законов развития языка.

Под мнимым флагом борьбы с «формализмом» ревнители аракчеевского режима подвергали гонению и исследования грамматического строя языка. Появлявшиеся в свет грамматические труды и монографии они предавали безудержному шельмованию, вместо того чтобы делать их предметом научно обоснованной критики и тем самым способствовать улучшению их качества. Показательно, что за многие годы господства «нового учения» о языке не было проведено ни одной творческой дискуссии по лингвистическим проблемам. При таких условиях советские языковеды были лишены возможности в своих исследованиях полностью и творчески использовать ясные научные обобщения по важнейшим проблемам науки о языке, содержащиеся в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Неоднократные основополагающие указания И. В. Сталина по вопросам языкознания искажались Н. Я. Марром и его «учениками». Вопросы методики специальных лингвистических исследований были крайне неясными и запутанными; было распространено, с одной стороны, голое эмпирическое и бессистемное описание языковых явлений, а с другой — беспочвенное теоретизирование без какого бы то ни было обоснования лингвистических фантазий фактами языковой действительности. Неясны были границы самой науки о языке, не определены ее специальные разделы, или частные лингвистические дисциплины, и, следовательно, сами объекты языковедческого исследования. Такие важнейшие лингвистические проблемы, как язык и мышление, грамматика и логика,

[5] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 33.
[6] Там же.

язык и общество, история языка и история народа, язык и диалект, законы и факторы развития языка, сущность и общественная природа языка, грамматический строй и словарный состав языка, вопросы семантики, стилистики, фонетики и т. д., не только не могли быть разрешены или хоть сколько-нибудь правильно поставлены, но, наоборот, оказались до невероятной степени запутанными под влиянием «нового учения» о языке.

При таких условиях образовалась зияющая пропасть между, с одной стороны, несомненными, хотя и далеко не достаточными, конкретными достижениями в области изучения отдельных языков и, с другой стороны,— безотрадным состоянием в постановке и разрешении проблем общего языкознания. Возник недопустимый и до сих пор окончательно не преодоленный разрыв между разнообразными практическими задачами нормирования и совершенствования литературных языков социалистических наций и народностей СССР и теоретическим отставанием нашей науки в деле изучения закономерностей развития этих языков в эпоху социализма. Недостаточно действенной была борьба против буржуазной идеологии в языкознании и против реакционно-идеалистических концепций зарубежной лингвистики, с которыми смыкалось «новое учение» о языке. Чего стоило, например, марровское деление языков мира по «стадиальному» ранжиру на издавна окостеневшие на примитивных ступенях фантастической «мировой глоттогонии» или космополитического «речетворчества» (великий китайский язык — в том числе!), с одной стороны, и оказавшиеся на самой вершине этой пресловутой «глоттогонии» — с другой.

3

Из создавшегося тяжелого положения можно было выйти только одним путем: установлением подлинно научных, действительно марксистских основ лингвистической науки. Сделать это было по силам только могучему творческому уму, высшему авторитету в марксизме, как основе всех наук, И. В. Сталину. Историческое выступление И. В. Сталина по вопросам марксизма в языкознании, выходившее далеко за пределы языкознания и явившееся событием величайшей важности во всей идейной жизни нашей страны, положило конец тяжелому состоянию советской науки о языке, освободило ее от идеалистических, вульгарно-социологических ошибок Н. Я. Марра и, заложив незыблемые основы марксистского учения о языке, открыло широчайшие возможности для дальнейшего, отныне беспрепятственного развития советского языкознания.

С 20 июня 1950 г. начинается новый, сталинский этап в развитии советского языкознания. Как известно, основные задачи советских языковедов на ближайшее время, согласно указанию И. В. Сталина, заключаются в ликвидации аракчеевского режима в языкознании, отказе от ошибок Н. Я. Марра и внедрении марксизма в языкознание. В ходе осуществления этих задач за последние два года произведена коренная перестройка всей языковедческой работы, укреплены или вновь созданы органы языкознания и языковедческие кафедры в высших учебных заведениях нашей страны и тем самым обеспечена организационная база для всемерного развития советского языкознания. Так, например, были созданы Институт языкознания Академии Наук СССР, Институт языкознания Академии наук Белорусской ССР, Институт языка, литературы и истории Горно-Алтайской автономной области и др. Советские языковеды с 1952 г. получили возможность иметь свой научный орган — журнал «Вопросы языкознания», призванный быть трибуной для всех деятелей нашего советского языкознания.

Первые два года движения советского языкознания по новому, сталинскому пути во вторую годовщину со дня опубликования гениальных

трудов И. В. Сталина по языкознанию подверглись широкому обсуждению (см. передовую статью в № 3 «Вопросов языкознания»). Это обсуждение показало, что советские языковеды за два года добились значительных результатов в коренной перестройке своей деятельности. Но вместе с тем выяснилось, что перестройка научной работы в органах языкознания как в центре, так и в республиках идет не в одинаково быстром темпе и не всегда удовлетворительно, а в некоторых филологических учреждениях крайне медленно изживаются марровские ошибки. Творческие дискуссии по неотложным проблемам языкознания происходят крайне редко и не везде, а проводившиеся дискуссии, недостаточно подготовленные, не дали ожидаемых результатов.

Так, например, дискуссия по внутренним законам развития языка, происходившая в феврале этого года в Институте языкознания Академии Наук СССР, по существу была лишь предварительным обменом мнений; к широкому участию в ней не были привлечены представители смежных дисциплин, прежде всего философы.

Сталинское учение о языке является надежным компасом при решении сложнейших проблем языкознания. Наши советские языковеды располагают большим конкретным материалом по самым разнообразным языкам. Ведь даже в самую тяжелую пору господства аракчеевского режима в органах языкознания и насильственного внедрения «нового учения» о языке струя научного языкознания все же не иссякала и не могла иссякнуть в условиях советского строя, в условиях той постоянной помощи, которую советские языковеды находили в произведениях В. И. Ленина и И. В. Сталина, в неоднократных решениях Коммунистической партии по идеологическим вопросам. После исторического выступления И. В. Сталина по вопросам языкознания у нас сразу же закипела интенсивная научная жизнь, сплотились кадры языковедов, которые всей душой отдались делу построения советского языкознания на началах, указанных великим учителем. В дни 35-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и 30-летия создания Союза Советских Социалистических Республик уместно в кратком обзоре подвести итоги тому, что сделано советскими языковедами за тридцать пять лет в области изучения конкретных языков, вопреки засилию «нового учения» о языке.

4

За годы после Великого Октября заметных успехов достигла наука о языке русского народа. Опираясь на достижения дореволюционной науки, советские ученые развернули интенсивную работу во всех областях своей специальности. Как известно, гордостью нашей отечественной науки издавна были выдающиеся труды по грамматическому строю русского языка — труды Ломоносова, Востокова, Буслаева, Потебни, Фортунатова, Шахматова, Богородицкого и других русских ученых. Изучение грамматического строя современного русского языка и после Великой Октябрьской социалистической революции оказалось в центре внимания советских языковедов. Работы Л. В. Щербы, С. П. Обнорского и других исследователей обогатили науку о русском языке новыми грамматическими материалами и выводами. В глубоких и оригинальных исследованиях акад. Л. В. Щербы была изложена и обоснована новая трактовка общих принципов классификации частей речи в русском языке. Эти работы оказали влияние на изучение грамматики других языков народов Советского Союза и зарубежного Востока (например, китайского языка).

В многочисленных монографиях, диссертационных работах, статьях получили освещение разнообразные частные проблемы морфологии, синтаксиса и словообразования современного русского языка. Работа

акад. В. В. Виноградова «Русский язык» (1947), посвященная анализу морфологической системы современного русского языка, была удостоена Сталинской премии. В самый последний период, благодаря коллективным усилиям советских языковедов, была закончена и издана академическая нормативная «Грамматика русского языка» (т. I), материалы которой, собиравшиеся в течение многих лет, были заново пересмотрены и переработаны в свете сталинского учения о грамматическом строе языка. В настоящее время закончена работа по составлению II тома Грамматики («Синтаксис»).

В тесной связи с грамматикой находятся вопросы словообразования. После предварительных разведок в этой области со стороны «казанской школы» словообразование почти не привлекало к себе интересов исследователей; появлялись лишь отдельные статьи, в которых часто находили отражение методологически порочные теории зарубежных лингвистов. В самое последнее время, под влиянием трудов И. В. Сталина, в этой области наметилось значительное оживление; появились работы, в которых по-новому был поставлен вопрос о самой природе словообразования, о его месте в системе лингвистических дисциплин; одновременно было подготовлено несколько специальных исследований, посвященных частным вопросам русского словообразования. Необходимо указать также на активизацию исследовательской работы в области исторического синтаксиса русского языка XI—XVII вв.

Одновременно с грамматическими исследованиями не прекращались работы по изучению фонетического строя русского языка и его произносительных норм. Однако и эта работа сознательно тормозилась сторонниками «нового учения» о языке, игнорировавшими фонетику как науку.

За годы советского строя была создана новая отрасль русского языкознания — история русского литературного языка. Глубокий интерес советского народа к своему героическому прошлому не мог не вызвать усиленного внимания языковедов к проблемам происхождения русского литературного языка и национальной письменности. Углубленное и всестороннее исследование крупнейших памятников русского литературного языка старшей поры — в связи с новейшими открытиями в области восточно-славянской археологии и истории материальной культуры — позволило опровергнуть старые теории о главенствующей роли старославянского языка в образовании и развитии русского литературного языка. В работах акад. Обнорского, опирающихся на более ранние труды русских языковедов и историков, была изложена и обоснована новая теория, доказывающая самобытные истоки русского литературного языка. Посвященное этой проблеме исследование С. П. Обнорского «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (1946) было удостоено Сталинской премии.

Многочисленные работы были посвящены проблемам истории русского языка нового и новейшего периодов. Исходя из основополагающих указаний В. И. Ленина об образовании русской нации, советские языковеды пытались восстановить историческую картину сложения русского национального языка и его последующего развития. Однако груз старых гипотез о церковнославянской основе русского литературного языка и ошибочное представление о классовом характере языка помешали советским языковедам создать цельную, подлинно научную историю русского литературного языка нового времени. Накоплены большие материалы, которые ждут новых обобщений на основе сталинского учения о языке. Но главное еще не сделано: не разрешен основной вопрос о периодизации истории русского языка.

На базе истории русского литературного языка развернулась в Советскую эпоху работа по стилистике и по изучению языка отдельных писате-

лей. Появился ряд исследований, посвященных вопросам языка и стиля Карамзина, Державина, Радищева, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Крылова, Грибоедова, Белинского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского, Л. Толстого, Чехова, Горького, Маяковского, А. Толстого, Шолохова и др. Однако стилистика как лингвистическая дисциплина до сих пор еще не получила четких очертаний; круг проблем стилистики еще не определен до конца, так же как не определен с полной ясностью и самый предмет этой новой отрасли языкознания, в отдельных своих частях тесно смыкающейся с литературоведением.

За прошедшие 35 лет изучение русского языка велось не только в плане разработки проблем русской исторической грамматики и истории русского литературного языка, но и в плане усиленного изучения местных говоров. Советскими языковедами была проведена огромная работа по собиранию диалектологических материалов, которая в настоящее время завершилась созданием двух томов Диалектологического атласа (говоров к востоку от Москвы и говоров северо-западных областей). Продолжается составление следующих томов Атласа, издание которого подведет итог всему предшествующему изучению территориальных диалектов и обогатит советскую науку о русском языке новыми богатейшими материалами для его истории в связи с историей русского народа. Нельзя не отметить, что изучению русских территориальных диалектов нанесли большой ущерб хозяйничавшие здесь сторонники «нового учения» о языке. Работы Ф. П. Филина, Н. П. Гринковой, М. Д. Мальцева — свидетельство того упадка в области теории и практики диалектологии, к которому пришли «ученики» и последователи Н. Я. Марра.

Немало сделано за советский период в области русской лексикологии и лексикографии. Еще в тяжелые годы гражданской войны В. И. Ленин поставил перед советскими учеными почетную задачу составить толковый словарь современного русского литературного языка от Пушкина до Горького. Для выполнения ленинского задания были привлечены крупнейшие специалисты, которые к половине тридцатых годов подготовили четырехтомный «Толковый словарь русского языка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова, вышедший в свет в 1935—1940 гг. На основе этого словаря произведена подготовка однотомного «Словаря русского языка» (сост. С. И. Ожегов под ред. С. П. Обнорского), после существенной переработки переизданного в 1952 г. В стенах Академии Наук ведется работа по составлению большого академического «Словаря современного русского литературного языка», первые два тома которого уже изданы в 1950—1951 гг., нормативного трехтомного словаря русского языка, орфоэпического и орфографического словарей. В Советскую эпоху началось составление словарей языка писателя. Первым шагом явилось здесь составление словаря языка А. С. Пушкина; первый том этого словаря в настоящее время закончен.

Неослабный интерес, который широкая советская общественность проявляет ко всем лексикографическим начинаниям, свидетельствует об исключительной важности, большом политическом и культурном значении словарной работы и ко многому обязывает советских лексикографов. Сталинские работы по вопросам языкознания обогатили их новой, подлинно научной теорией. В нашу эпоху русская лексикография имеет значение не только для науки о русском языке: от ее теоретического уровня и от ее практических достижений во многом зависит ход лексикографической работы во всех наших национальных республиках и областях. Еще явно недостаточен размах работ по русской лексикологии — исторической и современной. Советским языковедам предстоит заново разработать самые основы лексикологии на базе сталинского учения о языке.

Почти прекратившаяся и, во всяком случае, резко сократившаяся в годы

господства аракчеевского режима работа по сравнительно-историческому изучению славянских языков ограничила возможности изучения исторической лексикологии русского языка. Приостановилось начавшееся было составление нового этимологического словаря. Вследствие неправильных методологических установок, а также антиисторического толкования материалов оказалась бесплодной работа по составлению исторического словаря русского языка, находившаяся в руках последователей Марра. Некоторые труды по русскому и славянскому языкознанию были подготовлены, но опубликование их оказалось невозможным, так как их авторы не разделяли порочных взглядов Н. Я. Марра и его «учеников». Поэтому только после появления трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания смогли увидеть свет такие, например, работы, как «Старославянский язык» проф. Селищева. Углублению исследовательской работы по русскому языку значительно содействовала также деятельность украинских языковедов в области исследования украинского языка в его истории и современном развитии (Л. А. Булаховский и его ученики).

Общее оживление в области изучения русского языка в Советскую эпоху не могло не отразиться на подготовке учебников и учебных пособий по русскому языку для средней и высшей школы. В наше время впервые был создан стабильный учебник по русскому языку для средней школы, составители которого стремились максимально приблизить школьное преподавание родного языка к последним научным достижениям в его изучении; несколькими изданиями вышел все время совершенствуемый и пополняемый учебник русского языка для педучилищ. Многочисленны изданные в наше время пособия по русскому языку для нерусских школ. Однако в области подготовки учебных пособий для вузов советские языковеды продолжают оставаться в долгу у учащейся молодежи; неотложной задачей является издание учебников по современному русскому языку, по исторической грамматике, истории литературного языка, лексикологии, стилистике.

5

Научное изучение многочисленных языков народов нашей страны, которое издавна было делом передовой русской лингвистической науки, с особенной интенсивностью и исключительным размахом развернулось после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Финно-угорские, тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, иранские, языки народов Прибалтики, Кавказа, Сибири и Севера и многие другие еще до революции были вовлечены русскими учеными в орбиту научных исследований, многие из которых в то время по необходимости носили характер предварительных рекогносцировок и полевых описаний. После Великой Октябрьской социалистической революции, особенно после создания Союза Советских Социалистических Республик, когда в ходе осуществления ленинско-сталинской национальной политики определились новые задачи изучения языков и выявилась явная недостаточность наших прежних знаний об этих языках, их лингвистическое исследование встало перед советскими языковедами как задача первостепенной государственной важности и исключительного научного значения.

В ходе выполнения этой задачи Советское государство и партия Ленина—Сталина вырастили и воспитали целое поколение ученых-языковедов из среды самих носителей изучаемых языков многонационального Советского Союза. В этой подготовке национальных научных кадров и состоит одно из важнейших достижений Великой Октябрьской социалистической революции в области развития науки, в том числе и лингвистической. Нацио-

циональные научные кадры, воспитанные партией Ленина—Сталина в духе патриотической преданности своему великому советскому отечеству, дали немало ценных трудов в области языкознания. В то время как до революции у многих входивших в состав б. Российской империи народов не было даже своей национальной письменности, теперь на их языках появляются специальные научные труды по языкознанию, о чем свидетельствует хотя бы далеко не полный перечень таких трудов, изданных только в течение первой половины истекающего 1952 г. (см. «Новые книги и статьи по вопросам языкознания» в Отделе критики и библиографии настоящего номера нашего журнала). В области изучения языков народов СССР с наибольшей отчетливостью сказалась безусловная справедливость сталинского указания на животворное положительное значение неразрывной связи науки с практикой.

Создание письменности для ранее бесписьменных народов СССР, переход ряда из них от старой арабской или иной письменности на новую, свое окончательное оформление получившую на основе русской графики, и дальнейшее совершенствование алфавитов и орфографии литературных языков народов нашей страны потребовали от советских языковедов напряженной работы по углубленному исследованию многочисленных живых языков и их диалектов во всех наших национальных республиках, областях и округах. Необходимо было описать фонетический и грамматический строй этих языков: ведь без уточнения их фонематического состава и основ грамматики невозможно было бы разработать для них научно обоснованные и жизненно пригодные алфавиты и выработать орфографические нормы, особенно для младописьменных литературных языков. Всю эту большую работу нужно было провести в короткий исторический срок, и языковеды наших национальных республик и областей сумели выполнить ее благодаря той помощи, которую им систематически оказывали Советская власть и Коммунистическая партия.

История мирового языкознания никогда раньше не знала такой поистине грандиозной по своим масштабам лингвистической работы, которая оказалась по плечу лишь для ученых страны победившего социализма. Так, уже к двадцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции была в основном закончена работа по созданию письменности для большинства языков в СССР. Этот грандиозный опыт лингвистической работы советских языковедов приковывает к себе пристальное внимание и широко используется далеко за пределами нашей Родины, прежде всего в странах зарубежного Востока, например, в Монгольской Народной Республике, где с 1945 г. национальный литературный язык со старой графической основы древнеуйгурского происхождения был переведен на новый алфавит, разработанный монгольскими учеными на базе русской графики именно с учетом опыта нашей советской языковедческой практики.

Однако задачи советского языкознания в наших национальных республиках и областях не ограничивались только предварительными фонетическими и грамматическими исследованиями, а на их основе — разработкой новых алфавитов и сводов орфографических правил для младописьменных языков, хотя уже одно это в другое время могло бы составить целую эпоху в развитии лингвистической науки. Постановка преподавания родных языков во всех школах от начальной до высшей, широкое развитие печати и литературы на этих языках и особо возросший интерес и патриотическая любовь советских народов к своей родной речи и ее истории потребовали от языковедов Сталинской эпохи интенсивного и более углубленного изучения лексики и грамматики наших национальных языков. В результате всего этого советские языковеды к славной 35-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции пришли, имея

значительные достижения в области исследования грамматического строя и словарного состава почти всех без исключения языков народов СССР.

Печатная лингвистическая литература по этим языкам, довольно значительная в количественном отношении и изданная как на русском языке, так и на самих изучаемых языках, включает в себя разнообразные грамматики для начальных, средних и высших школ, специальные исследования и диссертации (кандидатские и докторские) по отдельным проблемам грамматического строя, лексики, истории и диалектологии, тематические сборники, журналы, брошюры и т. д. по разным вопросам языкознания, а также большие и малые словари (толковые, национально-русские, русско-национальные, терминологические, орфографические и др.), среди которых необходимо особо отметить «Толковый словарь армянского языка» С. Малхасянца (в четырех томах, 1944), удостоенный Сталинской премии, и «Киргизско-русский словарь» (1940). В качественном отношении вся эта лингвистическая литература резко отличается от того, что мы имели до революции и что теперь появляется за пределами нашей страны, где научные исследования по различным языкам мира в целом характеризуются низким теоретическим уровнем, игнорированием специфики изучаемых языков и своим крайним эмпиризмом.

В решении указанных проблем языков народов СССР советские языковеды добились больших успехов, несмотря на те исключительные трудности, которые в течение длительного времени создавались так называемым «новым учением» о языке, и вопреки упорным попыткам Н. Я. Марра и его «учеников» увести нашу отечественную науку в сторону от разрешения ее насущных и неотложных задач и от разработки актуальных языковедческих проблем в туманную даль «трудмагической тарабарщины». Следует отметить, что научно-практическая несостоятельность «нового учения» о языке с особенной силой сказывалась именно в области оказания научной помощи делу оформления младописьменных языков народов СССР (составление алфавитов, орфографических и грамматических пособий). Ведь даже в специальных работах Н. Я. Марра, декларативно посвященных «языковой политике яфетической теории» и «могучему рычагу культурного подъема», языковеды-практики вместо каких-либо конкретных предложений могли находить только бесконечные гадания на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов. Так, например, Н. Я. Марр в своей работе «Языковая политика фетической теории и удмуртский язык» декларативно заявляет об «учете времени в связи с социальной структурой», о «тотемической общественности», «отложениях феодального строя в удмуртском языке» и т. д., но ни слова не говорит о том, что же делать советской общественности с удмуртским языком в условиях социалистического строя[7].

И все же наши достижения в области изучения языков народов СССР еще далеко недостаточны, если сравнить их не с тем, что было достигнуто до революции, а с теми задачами, которые ставит перед языковедами наша советская действительность. Теоретические проблемы грамматического строя и лексики языков социалистических наций многонационального Советского Союза в целом еще далеко не приблизились к своему разрешению. До сих пор мы так и не начали теоретически обобщать колоссальный опыт народов СССР по развитию и совершенствованию своих литературных языков и изучать закономерности их развития в эпоху социализма. Многие ценные исследования по языкам народов СССР сопровождались рядом неправильных положений и неверных обобщений в духе «нового учения» о языке, а правильные обобщения — ошибочными формулировками. В этом прежде всего сказывалась неподготовленность наших

[7] См. Н. Я. Марр, Избранные работы, т. 5, стр. 467—531.

лингвистических кадров в области марксистско-ленинской теории и, как следствие этого, отсутствие у них навыков марксистского анализа явлений языковой действительности. Поэтому советским языковедам предстоит еще многое сделать для того, чтобы на основе гениальных сталинских установок до конца освободить нашу науку о языках народов СССР от ошибок Н. Я. Марра, внедрить в нее марксизм и тем самым поднять ее на уровень, соответствующий потребностям советского социалистического общества.

6

Наше отечественное языкознание после Великой Октябрьской социалистической революции значительно усилило научное исследование зарубежных языков, в особенности восточных, изучение которых издавна составляло славу дореволюционных русских ориенталистов. После Великого Октября научное изучение разнообразных языков народов Востока было поставлено советскими языковедами на совершенно новые рельсы. Интерес к этим языкам возрос в СССР в связи с тем исключительным вниманием, которое проявляют народы нашей великой социалистической родины к богатым самобытным культурам народов зарубежного Востока, к той великой борьбе, которую ведут эти народы против ига империализма, против мировой реакции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки.

Отличительной чертой советских языковедов является пристальное внимание к изучению специфических особенностей исследуемых языков и к тому национально самобытному, что присуще каждому языку; в то же время советские языковеды совершенно свободны от нездорового стремления во что бы то ни стало искать в языках народов зарубежного Востока экзотику, столь манящую буржуазных ученых. Эта характерная черта советских языковедов, вытекающая из интернационалистической идеологии советских людей вообще, обеспечивает научно объективное исследование и правдивое изложение структуры самых разнообразных языков, что составляет одну из особенностей марксистско-ленинского анализа всех явлений действительности.

Советская синология, продолжая лучшие традиции дореволюционной русской науки о китайском языке, повела борьбу против того искаженного представления об этом языке, которое и по сей день господствует в умах даже лучших людей зарубежной буржуазной синологии. Так, например, нашим синологам удалось доказать явную теперь несостоятельность старых воззрений, согласно которым китайский язык в течение очень долгого времени почти всеми буржуазными синологами признавался и продолжает признаваться языком исключительно «аморфного», т. е. «бесформенного» строя с будто бы недифференцированными грамматическими и лексико-семасиологическими категориями, языком, якобы лишенным даже своей грамматики. Советские синологи неопровержимо доказали, что весьма распространенная концепция о моносиллабичности, т. е. односложности словарного состава китайского языка является столь же глубоко ошибочной, как и представление о его «аморфности».

Однако пагубное влияние антимарксистского учения Н. Я. Марра ослабляло достижения советской синологии. Некоторые советские синологи в годы аракчеевского режима в языкознании не уделяли необходимого внимания исследованиям грамматического строя китайского языка, в которых основные ошибочные положения буржуазной синологии подвергались бы обоснованной научной критике и намечались бы новые, марксистские пути правильного освещения структурных особенностей китайского языка. Явно недостаточной была работа по изучению диалек-

тологии китайского языка. Начатое в СССР изучение дунганского языка не встречало никакой поддержки со стороны «учеников» Н. Я. Марра. Но зато некоторыми синологами — «учениками» Н. Я. Марра и И. И. Мещанинова, как, например, Н. Н. Коротковым, И. М. Ошаниным, Б. К. Пашковым и др., распространялись антинаучные утверждения о наличии в китайском языке «диффузности» и инкорпорации и всяческие измышления о стадиальных перевоплощениях, которые якобы имели место в историческом развитии этого языка. В результате всего этого мы до сих пор не имеем научной грамматики китайского языка и других исследований, отвечающих требованиям нашей передовой советской науки; не имеем фундаментальных пособий по китайскому языку для наших высших учебных заведений. К сожалению, приходится отметить, что синологи — в недавнем прошлом бывшие последователи «нового учения» о языке — до сих пор ничего не сделали для того, чтобы освободить нашу науку о китайском языке от ошибок Н. Я. Марра и начать коренную перестройку своей работы в свете гениальных трудов И. В. Сталина по языкознанию.

Несомненным достижением советского языкознания является прочное укрепление нашей отечественной японистики в качестве самостоятельной научной дисциплины, которая до революции находилась в состоянии первоначального становления, будучи самой молодой отраслью русского востоковедения. Отличительной особенностью советской японистики надо признать стремление ее представителей подвергать глубокому и всестороннему исследованию грамматический строй японского языка в его устной и различных литературных формах и всемерно учитывать структурные черты этого языка. А между тем зарубежные японоведческие исследования характеризуются эмпиризмом и пренебрежением к национальным особенностям японского языка, а пособия по грамматике этого языка в большинстве своем представляют собою по сути дела либо совершенно некритическое изложение школьной грамматики, утвердившейся в Японии, либо приспособление японского грамматического строя к нормам западноевропейских языков.

Советская монголистика также имеет несомненные достижения в области изучения монгольского языка. Так, акад. Б. Я. Владимирцовым было начато серьезное исследование истории развития монгольских языков, в первую очередь — монгольского письменного языка и диалектов современного монгольского языка. Его «Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия» (Л., 1929) вывела нашу советскую монголистику на более широкий простор, обеспечивающий научно обоснованные изыскания генетических связей монгольских языков как между собою, так и с языками тюркской и тунгусо-маньчжурской групп. Этот и некоторые другие труды Б. Я. Владимирцова создали прочную базу для сравнительно-исторического изучения алтайских языков вообще. Но блестяще начатые исследования Б. Я. Владимирцова после его смерти были прерваны и заменены либо попытками проводить изыскания с позиций лингвистических концепций Н. Я. Марра, либо стремлением примирить сравнительно-исторические начинания Б. Я. Владимирцова со «стадиальными» поисками в духе скоропреходящих идей И. И. Мещанинова.

Впервые в советское время получило у нас развитие изучение новых индийских языков, чем была решительно сломлена старая научная традиция, признававшая право на научное внимание только за одним санскритом. В этом повороте к живым языкам народов Индии основную роль сыграл А. П. Баранников, создавший ряд ценных пособий по важнейшим новоиндийским языкам.

Такова в основном картина с исследованиями и других языков народов зарубежного Востока. Развивается изучение ряда современных восточных

языков, например, афганского (пушту), малайского, корейского и т. д., до Октября либо слабо представленных в нашей науке, либо совершенно не представленных; накапливаются все новые данные, создающие базу для широких научных обобщений и ломающие старые научные воззрения; появляются разнообразные грамматические и лексикографические пособия. Созданные после Великого Октября различные восточно-русские и русско-восточные словари в основном отвечают требованиям передовой советской лексикографии. Среди такого рода словарей, изданных в нашей стране, отметим, например, «Русско-китайский словарь» под редакцией Чень Чан-хао и Б. С. Исаенко (М., 1951), «Арабско-русский словарь» Х. К. Баранова (М., 1941—1946), «Турецко-русский словарь» Д. А. Магазаника (М., 1945), «Русско-корейский словарь» под ред. Пак Чон Сика и Н. С. Кима (М., 1951) и «Японско-русский словарь» под ред. Н. И. Фельдман (М., 1951).

7

Итоги лингвистической работы, проведенной в нашей стране за годы после Великой Октябрьской социалистической революции, особенно за последние два года, дают основания полагать, что советские языковеды сумеют в ближайшем будущем выполнить те задачи, которые поставлены в гениальных трудах И. В. Сталина по языкознанию. «Я не сомневаюсь, — говорил И. В. Сталин в своей известной исторической речи 9 февраля 1946 г., — что если окажем должную помощь нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны»[8]. Величественна цель, поставленная перед советскими учеными на XIX съезде партии: «Развивать дальше передовую советскую науку с задачей занять первое место в мировой науке»[9]. Помощь, которую советские языковеды получают от советского правительства, Коммунистической партии и лично товарища Сталина, безусловно обеспечивает выполнение этих задач.

Необходимо широкое развитие научной критики и самокритики и развертывание на этой основе творческих дискуссий по важнейшим проблемам языкознания. Критика и самокритика являются «...тем главным методом, которым мы должны вскрывать и преодолевать наши ошибки и недостатки, наши слабости и болезни»[10]. Без свободной борьбы мнений немыслимо преуспевание нашей науки. Творческие же дискуссии только тогда способствуют дальнейшему развитию советского языкознания, когда они проводятся на высоком идейно-теоретическом уровне. При подготовке подобных творческих дискуссий необходимо привлекать к участию в них не только широкие массы языковедов, но и представителей смежных обществоведческих дисциплин.

Планомерная организация научно-исследовательской работы во всей нашей стране в духе сталинского учения о языке возможна лишь при условии тесного контакта языковедов центра с работниками местных языко-

---

[8] И. Сталин, Речи на предвыборных собраниях избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 г. и 9 февраля 1946 г., Госполитиздат, 1949, стр. 29.

[9] Г. Маленков, Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), стр. 78.

[10] Там же, стр. 85.

ведческих органов. Отсутствие или недостаток такого контакта в деятельности языковедов создает разобщенность в разработке актуальных проблем лингвистической теории и в решении практических вопросов языкознания (нормализация литературных языков, терминология, орфография, лексикография и т. д.). Такая разобщенность нередко приводит к путанице, разнобою и серьезным ошибкам в трактовке одних и тех же проблем, к бессодержательным спорам, к рецидивам антинаучной теории Н. Я. Марра и к другим методологическим срывам.

Многие вопросы советского языкознания еще не вполне освобождены от марровских трактовок, о чем свидетельствуют некоторые факты рецидива марризма, например, все еще продолжающиеся попытки «поссессивистского» истолкования отдельных вопросов грамматического строя тюркских языков. Равным образом, нередки случаи проявления прежних приемов лингвистического исследования, заключающихся в том, что вместо кропотливого изучения необходимого языкового материала при решении сложных вопросов истории того или иного языка некоторые языковеды пытаются ограничиться скороспелыми умозрительными рассуждениями, а это неизбежно приводит к совершенно необоснованным построениям, мало чем отличающимся от порочных схем сторонников «нового учения» о языке.

Обширен круг вопросов, которые до недавнего прошлого не могли быть предметом научного рассмотрения и значение которых стало ясным и очевидным только в свете сталинского учения о языке. Такова прежде всего проблема внутренних законов развития языка, обсуждение которой до сих пор еще не основывается на глубоком анализе путей исторического развития конкретных языков, что неизбежно приводит к абстрактным рассуждениям или к перелицовке прежних лингвистических концепций о разного рода фонетических законах или законах грамматического развития по аналогии. Является, в частности, ошибочной попытка подойти к решению вопроса о внутренних законах развития языка без предварительного уяснения вопросов о специфике качественных изменений в развитии языка, без конкретизации сталинского положения о необходимости изучать язык и законы его развития в неразрывной связи с историей народа — творца и носителя изучаемого языка. Все это привело некоторых языковедов к тенденции абсолютизировать особенности языка и отыскивать в языке такие стороны, развитие которых якобы совершенно не связано с развитием других общественных явлений.

Творческое обсуждение проблем внутренних законов развития языка и круга вопросов, связанных с этими проблемами, должно ускорить и облегчить разрешение ряда других важных проблем языкознания, так как изучение внутренних законов развития языка является главной задачей языкознания. К этим проблемам относятся такие, как язык и общество; история языка и история народа; язык и местные диалекты на различных ступенях их исторического развития; общенародный язык и различные книжно-письменные и литературные формы его выявления на разных этапах общественного развития народов, прежде всего входящих в состав многонационального Советского Союза. В этом же плане является настоятельно необходимым изучение закономерностей развития языков социалистических наций и народностей нашей страны, а также языков народов стран народной демократии Запада и Востока.

Глубокое и систематическое изучение закономерностей развития языков эпохи социализма, имеющее большое теоретическое и практическое значение как в нашей стране, так и за ее пределами, должно быть одной из первоочередных задач советских языковедов. Изучение этих закономерностей важно и потому, что поиски лингвистической мысли в этом

вопросе должны быть направлены в гущу конкретного языкового материала. В практическом плане это изучение важно для глубокого осмысления назревших и давно уже наболевших вопросов нормализации младописьменных — да и не только младописьменных — литературных языков народов СССР, т. е. вопросов, предельно запутанных «учениками» Н. Я. Марра (улучшение алфавитов, орфографии, разработка вопросов культуры речи, орфоэпии, стилистики, теории и практики переводов, составление доброкачественных учебников по грамматике для начальных, средних и высших школ и т. д.).

При изучении внутренних законов развития языка существенная роль принадлежит сравнительно-историческому исследованию групп родственных языков, которое издавна составляло славу нашего отечественного языкознания. И. В. Сталин показал с полной ясностью, что изучение языкового родства могло бы принести большую пользу в деле изучения законов развития языка. Так называемая реконструкция языка-основы, бывшая самоцелью в традиционной компаративистике, является лишь одним из моментов изучения законов развития языка. Сравнительно-историческое изучение групп родственных языков, прежде всего — славянских и языков народов СССР, плодотворно оживившееся после Октября, но заглушенное «учениками» Н. Я. Марра, должно быть возобновлено; оно должно занять подобающее ему место в исследовательской практике советских языковедов. Возможность же плодотворного сравнительно-исторического изучения родственных языков подтверждается результатами, уже наметившимися в исследованиях советских языковедов домарровского периода или немарровского направления (исследования А. М. Селищева и других в области славянского языкознания; плодотворная деятельность языковедов Армении и Грузии, ведущих исследование исторического развития и родственных связей различных языков народов Кавказа; труды Д. В. Бубриха по финно-угорским языкам; работы Б. Я. Владимирцова и других в области изучения группы алтайских языков). Восстановление сравнительно-исторического языкознания требует не только критического усвоения прошлого наследства нашей отечественной компаративистики, но и преодоления тех серьезных недостатков сравнительно-исторического метода, о которых говорит И. В. Сталин.

Перед советским языкознанием стоит и другой круг сложнейших теоретических проблем, которые также относятся к центральным в науке о языке. Это такие проблемы, как язык и мышление, грамматика и логика, история языка и история мысли, история литературного языка и история народного словесно-художественного творчества. От разработки этих проблем зависит правильное и успешное решение ряда вопросов семасиологии, стилистики, грамматического строя, лексикологии, исторической этимологии. С решением этих вопросов связано и точное определение границ между различными лингвистическими дисциплинами. В ходе разработки этих проблем будут оттачиваться и приемы специальных лингвистических исследований, зачастую находящиеся еще в крайне неопределенном состоянии.

К разработке этих сложнейших проблем советские языковеды должны приступить смело и безотлагательно, постоянно координируя свои усилия с усилиями представителей философских и исторических дисциплин, поскольку все эти проблемы по своей сущности, природе и значению выходят далеко за пределы языкознания. Необходимо, чтобы изучение этих проблем, которое непомерно затягивается и до сих пор еще не привлекает к себе должного внимания со стороны языковедов, носило действенный характер и не велось бы в отрыве от реальных фактов языковой действительности. На XIX съезде партии со всей остротой и силой было подчеркнуто зна-

чение обобщающих работ и глубоких теоретических исследований во всех областях советской марксистской науки.

Решение всех перечисленных выше проблем советского языкознания, как и ряда других, может быть достигнуто только при условии выполнения указаний И. В. Сталина о необходимости ликвидации в органах языкознания аракчеевского режима (и его последствий), отказа от ошибок Н. Я. Марра и внедрения марксизма в языкознание, при условии широкого развертывания свободной борьбы мнений, свободы критики в лингвистической среде, при условии непримиримой борьбы со всяческими реакционно-идеалистическими течениями в зарубежном буржуазном языкознании.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1952

Р. И. АВАНЕСОВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

В своих гениальных трудах по языкознанию И. В. Сталин в качестве одного из основных положений марксистской науки о языке выдвинул положение, согласно которому «...язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка»[1]. Одновременно И. В. Сталин указал, что «главной задачей языкознания является изучение внутренних законов развития языка...»[2] Он особо подчеркнул, что эта задача остается в силе и при скрещивании языков, ибо «...скрещивание дает не какой-то новый, третий язык, а сохраняет один из языков, сохраняет его грамматический строй и основной словарный фонд и дает ему возможность развиваться по внутренним законам своего развития»[3].

Для разрешения проблемы связи между историей языка и историей народа, проблемы внутренних законов развития языка, а также до сих пор не разработанной советскими языковедами проблемы связи между этими двумя важнейшими положениями советского языкознания много ценных данных дает лингвистическая география.

I

Теория советской лингвистической географии должна строиться на незыблемом фундаменте марксизма-ленинизма, последним словом которого в применении к вопросам языкознания является классический труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».

Основополагающие сталинские указания с предельной четкостью определяют объект диалектологии и ее задачи. Диалектология — наука о местных разновидностях общенародного языка в его историческом развитии. Диалекты сочетают в себе общие признаки данного языка с частными, различительными признаками каждого из них. Таким образом, структура диалектов по отношению друг к другу, а также по отношению к нормализованному типу национального языка тождественна в одних звеньях и заключает в себе различия в других. Языковые различия, частное в языке, специфически диалектное не может быть познано вне связи с общими элементами структуры языка в его истории. Между языковыми особенностями, отличающими диалекты одного языка от диалектов другого, обычно имеются отношения строгих соответствий, благодаря которым они образуют в структуре языка так называемое соответственное явление.

[1] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 22.
[2] Там же, стр. 30.
[3] Там же.

Теория лингвистической географии состоит из двух тесно связанных друг с другом и объединяемых понятием диалектного различия отделов — картографирования и интерпретации карт.

Для интерпретации лингвистических карт важен тот факт, что по отношению к историческому развитию строя языка одна из диалектных особенностей, составляющих диалектное различие, обычно представляет собой сохранение старины (архаизм), другая (или другие) — черту новую (новообразование, иногда — заимствование). В процессе формирования норм национального языка одна из соотносительных диалектных особенностей оказывается в составе этих норм и тем самым перестает быть собственно диалектной. Естественно, что ее территория, по мере того как она укрепляется в качестве нормы национального языка, имеет тенденцию к расширению. Другие соотносительные особенности, являющиеся чисто диалектными, напротив, могут постепенно суживаться в своем территориальном распространении.

Однако длительный процесс образования норм национального языка в разные его периоды охватывал отдельные стороны языка — фонетическую систему, грамматический строй, словарный состав — неравномерно. Известно исключительное единство русского языка в целом (включая его диалекты) по грамматическому строю и основному словарному фонду. Это единство объясняется, видимо, не только общностью происхождения русских диалектов и указанной И. В. Сталиным значительной устойчивостью грамматического строя и основного словарного фонда, но также тем, что в эпоху образования национального языка процесс нормализации затронул прежде всего эти решающие стороны структуры языка, которые «...составляют основу языка, сущность его специфики»[4]. Иначе обстояло дело с фонетической системой: образование норм здесь значительно отставало, а на первых порах, возможно, и почти отсутствовало. Лишь впоследствии, по мере дальнейшего укрепления и развития норм национального языка, более заметной стала нормализация языка в отношении его фонетической системы. Но, как известно, процесс этот еще не завершился и в наши дни; этим, видимо, прежде всего объясняется сохранение до последнего времени существенных различий в фонетической системе русских говоров, благодаря чему фонетика приобретает исключительно важное значение при изучении истории отдельных диалектов, а также при сравнительно-историческом изучении диалектов и родственных языков.

Известно, что следует различать возникновение языкового явления на определенной территории и его дальнейшее распространение. Последнее, вопреки широко принятому в зарубежной лингвистической географии мнению, далеко не всегда является механическим процессом заимствования, «миграции» слов, а по отношению к фонетике — простой заменой звуков (субституцией). В близко родственных диалектах оно чаще представляет собой сложный процесс развития явления, органически связанный с развитием диалектов по их внутренним законам. Само распространение языкового явления, в особенности фонетического и морфологического, на территории близко родственных диалектов свидетельствует о единстве структуры диалектов данного языка, т. е. обусловлено единством их внутренних законов развития при наличии в них определенных частных различий.

Нередко одно и то же явление бывает представлено на разных территориях в ряде своих разновидностей. Изучение структурных соотношений последних во многих случаях свидетельствует о неодновременном возникновении явления на разных территориях, о направлении и разных этапах

[4] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 26.

развития изучаемого явления. В других случаях структурные различия данного явления в отдельных диалектах могут свидетельствовать о том, что в системе этих диалектов существовали различия до возникновения рассматриваемого явления, которые и обусловили его структурные особенности.

Отсутствие структурных различий в том или ином явлении на обширной территории не всегда свидетельствует о его возникновении на всей территории, так как в процессе своего распространения это явление может в конце концов приобрести тот вид, который оно имеет на месте своего возникновения. Иначе говоря, структурное тождество изучаемого явления в разных диалектах может оказаться результатом качественно различных и относящихся к разному времени процессов.

Только изучение явления в его развитии, в определенных конкретно-исторических условиях, с привлечением всех относящихся к нему качественно различных источников может помочь восстановить наиболее адекватно те процессы, которые имели место в действительности.

Из предыдущего вытекает, что лингвистическая география имеет хотя и весьма важное, но вспомогательное значение для истории языка. Вопреки широко распространенному в зарубежной лингвистической географии мнению, характер изоглоссы, так называемый «лингвистический ландшафт», сам по себе еще не объясняет истории явления, ибо один и тот же «ландшафт» может появиться разными путями, в результате разных процессов внутреннего развития языка и при разных исторических условиях.

И. В. Сталин учит, что язык есть продукт ряда эпох, он создан усилиями сотен поколений. Изоглосса также есть результат всего пройденного данным языком исторического пути развития. Поэтому простое сопоставление изоглосс с данными истории того или иного периода редко может помочь выяснению соответствующих явлений. Лингвистическая карта сама по себе мертва и схематична. Из нее нельзя вывести историю языковых явлений и диалектов. Но она может озарить ярким светом историю языка, может помочь установить пути развития явлений, время и первоначальную территорию их возникновения, если мы умело ею воспользуемся, если одновременно с данными лингвистической географии мы будем изучать внутреннюю историю развития языковых явлений, учитывать их относительную хронологию, данные письменных источников, если при этом мы будем рассматривать все эти языковые данные в тесной связи с данными истории, исторической географии и археологии.

Таким образом, в свете исследований советских диалектологов оказывается совершенно несостоятельным противопоставление «внешней» и «внутренней» истории языка, характерное для зарубежного языкознания, и отнесение лингвистической географии полностью к сфере первой. «Внешняя» история, территориальное распространение языкового явления, представляет собой цепь диалектных особенностей, обычно являющихся разными звеньями развития языка по его внутренним законам; с другой стороны, «внутренняя» история, развитие языкового явления, не мыслится вне реальной истории, ограниченной определенным временем и местом. «Внутреннюю» историю языкового явления нельзя себе представить вне его пространственной проекции — вне отражения на определенной территории разных звеньев процесса его внутреннего развития, относящихся нередко к разному времени.

II

Составленные атласы русских народных говоров (центральных областей к востоку от Москвы и северо-западных областей) дают много новых данных для изучения внутренних законов развития русского языка в обла-

сти фонетической системы и грамматического строя. Ценные материалы дают также данные лексики. В связи с работой над атласами не только установлены границы сотен языковых явлений, но также собраны сведения по многим, ранее мало известным или на данной территории вовсе не известным явлениям. Ниже мы кратко охарактеризуем лишь некоторые, немногие языковые явления, представляющие, по нашему мнению, существенный интерес для изучения внутренних законов развития русского языка.

Из области ударенного вокализма в говорах на территории, которая картографирована в «Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы»[5], мы отметим такие явления, как наличие особой фонемы на месте этимологического *ѣ*, различение фонем *ô* и *о*, отсутствие изменения *е* в *о*. На вышеуказанной территории обнаружено более ста населенных пунктов, в говорах которых на месте этимологического *ѣ* под ударением перед твердым согласным произносится особая фонема *ê*, или *и͡е*, или (реже) гласный *и*: *л'êс* или *л'и͡ес*; *л'êто* или *л'и͡ето*; *с'êно* или *с'и͡ено* и т. д. Такое произношение отмечено во многих южновеликорусских говорах рязанской области, в «мещерских» говорах, большей частью южновеликорусского происхождения, а также (менее компактно) — в северновеликорусских говорах смежных районов Владимирской области[6].

Установленное материалами «Атласа» сохранение особого произношения гласного на месте старого *ѣ*, ранее мало известное[7], опровергает принятое до недавнего времени большей частью историков русского языка мнение о том, что это произношение является чертой архаических северновеликорусских говоров, в отличие от южновеликорусских, которым свойственно развитие *ѣ* в *е*. Правда, известны были косвенные данные об особом произношении *ѣ* в южновеликорусских говорах по его отражению в некоторых типах диссимилятивного яканья, но они мало были приняты во внимание историками языка при изучении истории *ѣ*. Однако оказались широко представленными и прямые данные — непосредственное сохранение такого произношения в ряде южновеликорусских рязанских говоров.

В говорах, имеющих на месте *ѣ* под ударением перед твердыми согласными *ê* или *и͡е*, и перед мягкими согласными может звучать *ê*, *и͡е*, но может также звучать *и* (*в'и́т'ар*, *м'и́с'ац*); в говорах, имеющих на месте *ѣ* гласный *и* перед твердыми согласными, естественно, и перед мягкими бывает представлено *и*. Эта черта как элемент фонетической системы также была мало известна в южновеликорусских говорах, если не говорить об отдельных лексически обособленных случаях, таких, как *jис'т'* «кушать», *д'и́вер'*.

Важным для русской диалектологии оказывается также довольно широко представленное по говорам под ударением между мягкими согласными изменение в *и* не только старого *ѣ*, но также *е* (из *е* и *ь*): *д'ин'*, *п'ин'*, *пл'ет'и́н'*, *в'ир'х* и т. д. Эта особенность встречается в говорах северновеликорусских владимирского типа на северо-востоке от Москвы в пре-

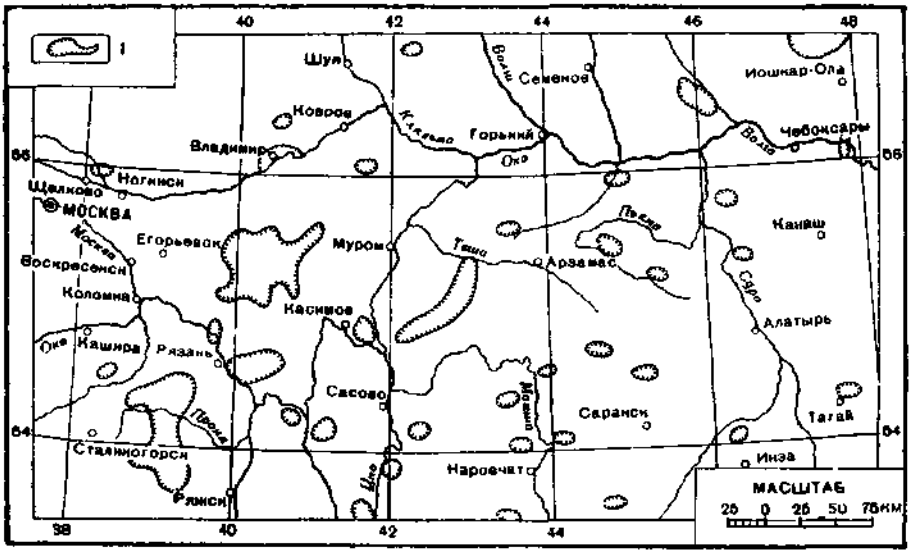
[5] В дальнейшем вплоть до стр. 35 мы будем ссылаться именно на этот «Атлас».

[6] Оно отмечено на юго-востоке картографированной части Рязанской области в Елатомском, Сасовском, Конобеевском районах: на западе — в Рыбновском, Солотчинском, Спасском; на юге — в Захаровском, Октябрьском, Пронском районах Рязанской области и Донском и Кимовском районах Московской области, на севере Рязанской области — в Клепиковском и Тумском районах и в некоторых пограничных с ними районах Московской и Владимирской областей — Коробовском и Кривандинском районах (Московской области), Гусь-Хрустальном и Курловском районах (Владимирской области), а также вокруг г. Владимира и далее на север к Иванову.

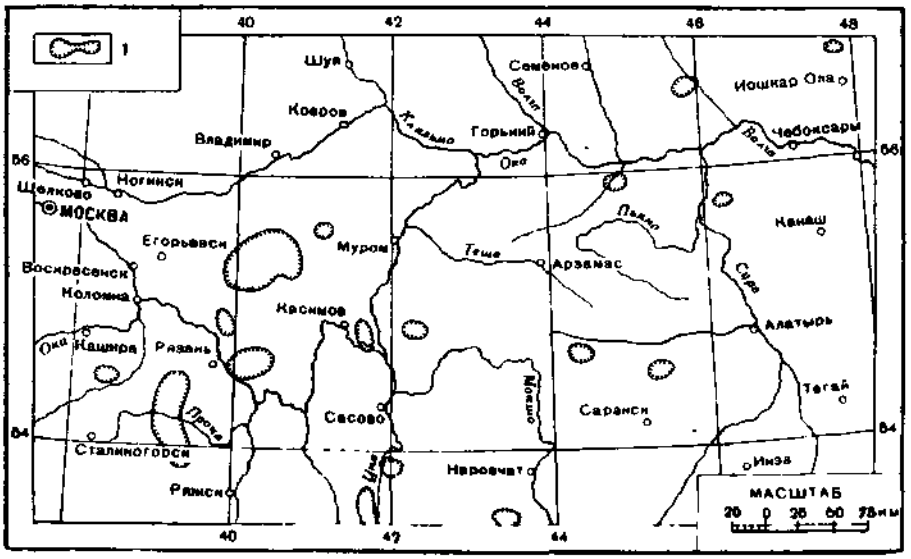
[7] См., например, сообщение Ф. М. Тоньшина в «Трудах Московской диалектологической комиссии», вып. 3, Варшава, 1914, стр. 57—59, а также статью Б. М. Соколова «К вопросу о дифтонгическом произношении *ѣ* и *о* в южновеликорусских говорах», там же, вып. 8, стр. 25—30.

делах Московской области, в ряде районов Владимирской, Ивановской и Горьковской областей[8].

Также весьма существенны материалы «Атласа» по истории гласного *о* различного происхождения. Оказалось довольно много говоров, в том



Карта № 1. *1* — гласные *ê*, *ûe*, или *u* на месте *ѣ* под ударением перед твердым согласным.



Карта № 2. *1* — гласные *ô* и *ôo* на месте старого *о* под восходящим ударением.

числе южновеликорусских, в которых различаются фонемы *ô* и *о*, причем первая употребляется на месте *о* под восходящим ударением, а вторая на месте *о* под нисходящим ударением и *ъ*. Имеющийся по указанному явлению значительный материал позволяет не только дать дотальную харак-

[8] Программа, по которой собирались материалы «Атласа», не предусматривает этого явления. Поэтому надо полагать, что имеющиеся сведения не отражают его с должной полнотой.

теристику этого явления, но также и установить процессы, ведущие к утрате различения *ô* и *о*. Материалы свидетельствуют, что рядом с фонемой *ô* в качестве ее разновидности употребляется также *уо̂*, а рядом с фонемой *о* употребляется *оу*. Отметим, что этот последний гласный ранее был мало известен и впервые подробно был описан С. С. Высотским[9]. Отсутствие позиционной обусловленности, определяющей употребление указанных разновидностей фонем (*ô* — *уо̂* и *о* — *оу*) направило внимание последующих исследователей на наблюдения над ритмико-интонационной и синтаксической сторонами диалектной речи. В результате этих наблюдений удалось установить зависимость в употреблении *уо̂* (в отличие от *ô*), а также *оу* (в отличие от *о*) от интонационных и синтаксических условий целой фразы. «Дифтонги *уо̂* и *оу* произносятся в тех словах, которые интонационно подчеркиваются в предложении, имеют логическое ударение предложения»[10].

Наблюдения над процессом утраты различения этих фонем позволили установить, что употребление гласного *о* вместо *уо̂* и *оу* и гласного *ô* вместо тех же фонем, ведущее к их неразличению, укрепляется прежде всего при отсутствии на соответствующих словах логического ударения, а также в условиях более беглой, неотчетливой речи.

Наличие особого гласного (*ô* или *уо̂*) на месте *о* под восходящим ударением на территории, картографированной в «Атласе», ранее было известно лишь для отдельных единичных пунктов (например, для с. Новоселки[11], д. Лека[12], с. Пустоша[13]). «Атлас» дает материал о различении фонем *ô* и *о* (или о наличии *ô* при развитии разного рода процессов, ведущих к неразличению *о* закрытого и открытого) для более чем 60 населенных пунктов, на территории так называемого Мещерского края — в рязанском Заочье, вокруг Рязани, на юге, востоке и юго-востоке от Рязани[14]. Подобный массовый материал, и сам по себе представляющий большую ценность для истории русского языка, в особенности становится важен, если учесть, что значительная часть говоров, имеющих *ô*, относится к южновеликорусским. Известно, что наличие *ô* еще до недавнего времени принималось в качестве особенности части северновеликорусских говоров в отличие от южновеликорусского наречия. Свидетельство о различении фонем *ô* и *о* по их неодинаковому отражению в системе диссимилятивного яканья обоянского и задонского типов мало было принято во внимание историками языка при реконструкции ударенного вокализма южновеликорусских говоров.

Исследователь ударенного вокализма русских говоров не может не обратить внимания на то, что, как правило, гласный *ô* в качестве особой фонемы встречается в тех говорах, которым свойственна фонема *ê*; однако последняя встречается шире, чем *ô*. Таким образом, речь идет не только о наличии или отсутствии тех или иных фонем, но и о системе

---

[9] См. С. С. Высотский, О говоре д. Лека, «Материалы и исследования по русской диалектологии», т. II, М. 1949; его же, Говоры восточной окраины Московской области, «Бюллетень диалектологического сектора Ин-та русского языка АН СССР», вып. 1, 1948.

[10] О. Г. Гецова, Говор села Катагощи, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, МГУ, 1952.

[11] См. Ф. М. Тоньшина, Указ. соч.

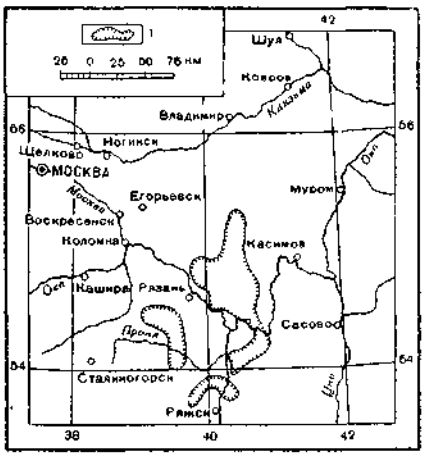
[12] См. А. А. Шахматов, Описание лекинского говора, «Известия Отд-ния русск. языка и словесности АН», т. XVIII кн. 4, 1913.

[13] См. Д. В. Бубрих, Фонетические особенности говора с. Пустошей, «Известия Отд-ния русск. языка и словесности АН», т. XVIII, кн. 4, 1913.

[14] Это явление отмечено в Клепиковском и Тумском районах Рязанской области, в Курловском районе Владимирской области, в Солотчинском, Спасском, Мервинском, Захаровском, Пронском, Елатомском районах Рязанской области, в Конобеевском и Моршанском районах Тамбовской области.

ударенного вокализма в целом: о различении четырех или трех степеней подъема, т. е. о наличии или отсутствии верхне-среднего подъема наряду с нижним, средним и верхним подъемами, общими для всех говоров русского языка.

Говоры, не изменившие *е* в *о*, обнаружены главным образом на территории Мещеры, а также и на основной рязанской территории юго-западнее, южнее и юго-восточнее Рязани [15]. До недавнего времени в научной литературе были известны лишь единичные указания на это явление, притом лишенные сколько-нибудь солидного материала. Более полные сведения имелись, пожалуй, только из с. Новоселки Рыбновского района Рязанской области [16]. В 1939 г. автором настоящей статьи это явление было обнаружено в с. Кидусово Спасского района; в 1940 г. им же — в д. Шехмине Рыбновского района, в Кортоносове и Долгинине Солотчинского района, в д. Тимохино Клепиковского района и В. Г. Орловой в Ольгине и Ювине Клепиковского района. В 1945—1950 гг. в связи с собиранием материала для «Атласа» территория говоров, не изменивших *е* в *о*, была значительно расширена. Для 45 населенных пунктов это явление может быть иллюстрировано достаточным, а в ряде случаев и значительным материалом. Кроме того, оно известно в единичных примерах еще в 37 населенных пунктах. Характерно, что за последние годы появились сведения об этом явлении и для южновеликорусских говоров за пределами территории, картографированной в «Атласе», — в Пензенской области [17] и в Тульской области [18].



Карта № 3. *1* — отсутствие изменения *е* в *о* под ударением перед твердым согласным.

Анализ материала свидетельствует о том, что ударенный гласный *е* (из *е* и *ь*) после мягкого согласного перед твердым сохраняется без изменения в *о* в корнях слов, а также и в формальных элементах, но не в падежных окончаниях и не в уменьшительном суффиксе *-ок*, а также не в суффиксе *-ов*: *п'ат' д'ен, в'ёрст, св'ёкла, кл'ен, б'ер'ёза, ав'ёс, прин'ёс, в'ес'ёлаj, ч'ер'ёмуха, зав'ёртъвът', м'ёрзла, зам'ёрс, н'идал'ёка, ут'ёнак, γалч'енак, т'ел'ёнак, з'ел'ёнаj, атвар'ёна, сал'ёнаj* и т. д. Однако в падежных окончаниях и в суффиксе *-ок* последовательно произносится *о*: *дупл'о́, нутр'о́, дупл'о́м, нутр'о́м, аγн'о́м, м'ъдв'ад'о́м; м'ъдв'ад'о́в; з'амл'о́j, на н'о́м, в маjо́м, в маjо́j, ч'joj* и т. д.; *кул'о́к, аγан'о́к, уγ ал'о́к, къвал'о́ф* (фамилия) и т. д. Нетрудно заметить, что гласный *о* произносится в таких

[15] Отсутствие изменения *е* в *о* отмечено в Клепиковском, Тумском, Рыбновском, Солотчинском, Спасском, Ижевском, Шелуховском, Захаровском районах и, несколько реже, далее на юг в Пронском, Сапожковском, Семионовском, Кораблинском, Ряжском, Ухоловском и др районах Рязанской области.

[16] См. Ф. М. Тоньшин, Указ. соч., стр. 64, а также Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII вв., Л., 1929, стр. 162—163.

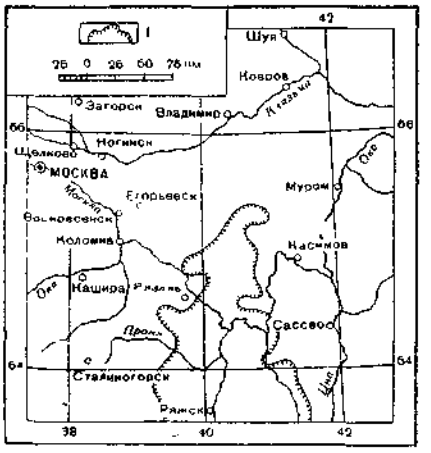
[17] См. А. Н. Гвоздев, Говор западной части Вадского района Пензенской области, «Ученые записки Куйбышевского педагогического института», вып. 5, Кафедра языкознания, Куйбышев, 1942.

[18] См. В. Н. Сидоров, Об одном тульском говоре с гласной *е*, не изменившейся в *о*, «Материалы и исследования по русской диалектологии», т. II, Изд-во АН СССР М.— Л., 1949.

формальных элементах, которые употребляются не только после мягких согласных, но также и после твердых, и что, следовательно, *о* в этих случаях появился нефонетически, по образцу соответствующих твердых основ (ср. *село, селом, столов, пилой, на том, в той, возок, дубок, Иванов* и т. д.).

Широкое распространение «неперехода» *е* в *о* опровергает принятое до сих пор в истории русского языка мнение об изменении *е* в *о* как о черте, общей для всего русского языка (разделяемой также в значительной мере белорусским языком в отличие от украинского). Изменение *е* в *о* и сейчас отсутствует во многих архаических рязанских говорах, а в прошлом, видимо, его не было и во многих других южновеликорусских.

Следует отметить, что рассмотренная черта важна не только сама по себе, но и для выяснения истории яканья. Сопоставление данных об отсутствии изменения *е* в *о* с данными об имеющихся в тех же говорах некоторых типах яканья дает важные сведения как для истории этих типов яканья, так и для истории гласного *е*.



Карта № 4. *1* — ассимилятивно-диссимилятивное яканье.

Большое значение для истории русского языка имеет установление для рязанских говоров в качестве основного типа яканья ассимилятивно-диссимилятивного яканья обеих разновидностей [19]. Этим опровергается до последнего времени принятое в русской диалектологии мнение о том, что рязанским говорам свойственно яканье сильное. Последнее встречается лишь в немногих населенных пунктах на периферии ассимилятивно-диссимилятивного яканья, причем в соседних говорах (с говорами, имеющими ассимилятивно-диссимилятивное яканье) почти всегда есть элементы перехода к сильному.

Интересно отметить, что на части территории ассимилятивно-диссимилятивного яканья [20] отмечено примерно в десятке населенных пунктов умеренно-диссимилятивное яканье с диссимилятивной основой щигровского или суджанского типов. Это подтверждает установленное С. И. Котковым положение о развитии умеренно-диссимилятивного яканья из диссимилятивного, т. е. о распространении ассимилятивности первоначально на положение перед твердым согласным (это дает умеренно-диссимилятивное яканье), а затем и на положение перед мягким согласным (это дает ассимилятивно-диссимилятивное яканье).

Таким образом, устанавливается преемственная связь между яканьем диссимилятивным, умеренно-диссимилятивным, ассимилятивно-диссимилятивным и сильным, которые в данных говорах представляют ряд звеньев единого процесса, восходящих к диссимилятивному яканью. «Атлас»

---

[19] Это яканье распространено в Клепиковском, Тумском, Солотчинском, Спасском, Ижевском, Рыбновском, Захаровском, Мервинском Рязанском, Букринском, Шелуховском, Шиловском, Пронском, Старожиловском, Семионовском, Сапожковском, Можарском, Горловском, Сковинском, Кораблинском, Ухоловском, Сараевском, Муравлянском, Желтухинском, Ряжском районах Рязанской области.

[20] В районах Спасском, Солотчинском, Захаровском, Пронском, Шелуховском, Шиловском, Можарском.

дает основания утверждать, что южновеликорусским рязанским говорам в прошлом было свойственно диссимилятивное яканье.

Следует отметить, что ассимилятивно-диссимилятивное яканье нередко сопровождается отсутствием изменения *е* в *о* под ударением. В таких говорах при наличии под ударением гласного *е*, не изменившегося в *о*, в предударном слоге произносится «не-*а*»; если же под ударением находится гласный *о* после мягкого согласного (или шипящего) аналогического происхождения в падежных окончаниях и указанных выше отдельных суффиксах, то в предударном слоге произносится *о*: *в'ис'ёл'jъ, вис'ёлъj, бир'ёза, д'ир'ёвн'а, в'ид'ём, н'ес'ём, п'ек'ём* и т. д.; но: *пл'ач'о́, б'ал'jо́, вид'ан'jо́, з'в'ар'jо́, мид'в'ад'jо́, з'амл'о́j; с'ам'jо́j* (но: *с'им'ej*), *м'ид'в'ад'о́м, р'амн'ом, гър'ач'о́, с'в'а'жо́, д'ан'о́к, п'ан'о́к, хм'ал'о́к, гр'иб'ан'о́к, с'н'ажо́к, б'ир'ажо́к, м'ашо́к, хм'ал'о́ф* (фамилия) и т. д.

В других говорах ассимилятивно-диссимилятивное (или диссимилятивное) яканье сопровождается наличием под ударением гласного *о* после мягких согласных (и шипящих) перед твердым согласным на месте *е* (из *е* и *ь*). Однако реакция системы ассимилятивно-диссимилятивного (или диссимилятивного) яканья на ударенное *о* после мягких согласных и шипящих в таких говорах оказывается двоякой — если ударенный гласный находится в падежных окончаниях и указанных выше суффиксах, то в предударном слоге звучит *а*, в остальных случаях в нем звучит «не-*а*»: *вис'ёлъj, б'ир'ёза, в'ид'ём, н'ис'ом, п'ик'ём* и т. д.; но: *з'амл'о́j, с'ам'jо́j, м'ид'в'ад'ём, гър'ач'о́, с'в'ажо́, д'ан'о́к, п'ан'о́к, с'н'ажо́к* и т. д. Итак, произносится *в'ид'ём*, но *м'ид'в'ад'ём*, причем такие отношения представлены не только в рязанских говорах, но и в других говорах с диссимилятивным яканьем (кроме жиздринского типа) [21].

Представленный материал не оставляет сомнения в том, что ударенный *о* после мягких согласных в этих двух категориях случаев возник в разное время: в падежных окончаниях и суффиксах *-ок* и *-ов* в более раннюю эпоху и при этом в эпоху, предшествующую образованию данного типа яканья, а в остальных случаях — в эпоху позднейшую, когда тип яканья не только уже сложился, но и не представлял собой живой, действующей фонетической закономерности.

В системе ассимилятивно-диссимилятивного яканья (равно как и диссимилятивного яканья щигровского и суджанского типов) при ударенном *о* в предударном слоге звучит *а*, при ударенном *е* (не из *ъ*) в предударном слоге звучит «не-*а*». Именно поэтому произносится не только *с'ало́, с'астро́j, т'ало́к*, но также и *пл'ач'о́, з'амл'о́j, п'ан'о́к*, где *о* аналогического происхождения появилось в весьма давнюю эпоху, предшествующую образованию данного типа яканья.

Таким образом, устанавливается следующая последовательность:

1. Отсутствие яканья и отсутствие *о* вместо *е*: *ведёмъ, медвъдёмъ*.

2. Отсутствие яканья и появление *о* вместо *е* в определенных элементах слов формального значения: *в'ед'ём, м'едв'ъд'о́м*.

3. Появление яканья с гласным *а* в предударном слоге при наличии под ударением *о* (вместо *е* в указанных морфемах): *в'ед'ём*, но *м'ед'в'ад'о́м*.

4. Появление *о* вместо *е* в других случаях: *в'ед'о́м, м'ед'в'ад'о́м*.

Таковы данные относительной хронологии.

Попытка представить интересующие нас процессы в их отношении

[21] Немало соответствующих примеров в качестве «исключений» для говоров б. Курской губ. с суджанским типом диссимилятивного яканья можно найти в диссертации Н. Н. Дурново «Диалектологические разыскания в области южновеликорусских говоров», ч. I, вып. I, 1917, стр. 76, 78, 83, 85 и др.

Описанные выше соотношения недавно были установлены для орловских говоров С. И. Котковым в его докторской диссертации. См. автореферат «Говоры Орловской области», Орел, 1952.

к абсолютной хронологии приводит к следующему. Взаимодействие между твердыми и мягкими основами относится к глубокой древности, к эпохе до падения редуцированных. Об этом свидетельствуют написания типа *гноимь, конымь* в памятниках XI—XII вв. Однако и после падения редуцированных это взаимодействие продолжалось (вызывая написания типа *гноемь, краемь*). Что же касается изменения *е* в *о*, то рязанские говоры его не знали в качестве фонетического процесса усвоили ударенное *о* после мягких согласных в позднейшее время под влиянием других говоров, переживших данный процесс. Этот вывод относится, видимо, и к курско-орловской группе говоров с диссимилятивным яканьем, так как различная реакция предударного гласного на ударенное *о* после мягких согласных в указанных выше двух категориях случаев имеет место и в них.

Однако имеются сведения, пока немногочисленные, о наличии таких говоров с ассимилятивно-диссимилятивным яканьем, которые реагируют одинаково на ударенное *о* после мягких согласных в любых случаях, но в то же время откликаются по-разному на этимологическое *е*, сохранившееся без изменения в *о* перед мягким согласным и, напротив, изменившееся в *о* перед твердым: 1) *б'ар'óза, в'ас'óлъj, н'ас'óм, в'ад'óм* и рядом: *пл'ач'ó, б'ал'jóм, з'амл'ój, м'ид'в'ад'óм*; 2) *в'ис'ёл'jа* (но: *в'ас'óлъj*), *д'ир'ёвн'ъ, в'из'ёш, уб'ир'ёш* (но: *н'ас'óм, в'ад'óм*). Таким образом, намечается третий тип ассимилятивно-диссимилятивного яканья, при котором «не-*а*» произносится при наличии под ударением *е* (любого происхождения, т. е. как из *ѣ*, так и из *е*, *ъ*, не изменившихся в *о*), а в остальных случаях, в том числе при наличии под ударением *о* после мягких согласных из *е* и *ъ*, в предударном слоге звучит *а*. Этот тип может быть назван култуковским, так как впервые обнаружен В. Г. Орловой в д. Култуки Тумского района Рязанской области; он найден также Н. Б. Бахилиной в с. Мещерском Сердобского района Пензенской области, а также отмечен в одном из ответов на диалектологическую программу из д. Самуси Велижского района Смоленской области.

Необходимы дополнительные поиски и более обширный материал для выяснения деталей этого типа яканья и его происхождения. Сейчас можно высказать предположение, что он образовался в говорах, уже переживших изменение *е* в *о*, т. е. что фонетическое изменение *е* в *о* в этих говорах предшествовало образованию яканья. Весьма вероятно предположение, что эти говоры находятся за пределами зоны первоначального образования аканья, так как изменение *е* в *о*, видимо, первоначально было чуждо говорам исконной территории аканья, т. е. первичным южновеликорусским говорам.

Существенными оказались данные «Атласа» для установления происхождения умеренного яканья в части говоров. В. Н. Сидоров обратил внимание на тождественность отклонений от системы предударного вокализма после мягких согласных в говорах владимиро-поволжского типа, с одной стороны, и смежных средневеликорусских — с другой: имеется в виду произношение *пекли, в ведре* с гласным *е* в предударном слоге перед группой согласных, начинающейся с твердого согласного, при ожидаемом *о* при ёканье и *а* при умеренном аканье, а также весьма частое сохранение *а* после мягких согласных в говорах обоего типа в положении перед мягким согласным (*п'ат'и́, въгл'ан'и́* и т. д.). Это дало возможность В. Н. Сидорову окончательно установить северновеликорусское происхождение данных говоров и объяснить образование в них умеренного яканья изменением *о* после мягких согласных в *а* [22].

[22] См. В. Н. Сидоров, О происхождении умеренного яканья в среднерусских говорах, «Известия АН СССР, Отд-ние лит-ры и языка», 1951, вып. 2, стр. 172—183.

Большой научный интерес представляет обнаружение в псковских говорах вблизи границы оканья-аканья некоторых ранее не известных в них типов предударного вокализма, представляющих собою разные ступени перехода от оканья к аканью [23]. Один из них заключается в аканье при наличии под ударением *а* и в оканье в остальных положениях: *вада́, стала́*, но: *воды́, воде́, водо́й, к столу́* и т. п. Этот тип (однако только после твердых согласных) был отмечен в одном из подмосковных говоров в районе г. Шатуры [24]. При другом типе, который можно назвать полновским (по Полновскому району Псковской области, где он отмечен), принцип аканья раньше всего проникает в положение перед ударенным гласным верхнего подъема при сохранении оканья перед остальными гласными: *вады, к сталу́*, но: *вода́, стола́, воде́, водо́й*. Оба эти типа, хотя и по-разному идущие к аканью, представляют собой первую ступень отхода от оканья. Следующую ступень его мы находим в третьем из вновь отмеченных новых типов предударного вокализма, который можно назвать гдовским (по Гдовскому району Псковской области, где он отмечен). Он заключается как бы в объединении двух предыдущих типов: принцип аканья проникает в положение перед ударенным слогом с гласными нижнего и верхнего подъема, а оканье сохраняется перед ударенными гласными среднего подъема: *вада́, стала́, вады, к сталу́*, но: *вод'е́, водо́й, на стол'е́, столо́м*.

Чрезвычайно важно отметить, что эти типы переходного окающе-акающего вокализма охватывают положение как после твердых согласных, так и после мягких: 1) *н'асла́*, но: *н'есу́* (*н'осу́*), *с'ело́* (*с'оло́*), *в сел'е́*; 2) *н'асу́*, но: *н'есла́* (*н'осла́*), *с'ело́* (*с'оло́*), *в с'ел'е́*; 3) *н'асла́, н'асу́*, но: *с'ело́* (*с'оло́*), *в с'ел'е́*. Параллелизм в процессе развития аканья в положении после твердых и мягких согласных в современных говорах, возможно, является одним из свидетельств его более позднего, вторичного происхождения (ср. такой параллелизм в смоленских говорах).

Эти типы предударного вокализма требуют еще специальных наблюдений на месте и уточнений. Однако не подлежит сомнению, что они, во всяком случае, имеют большое значение при изучении поздних процессов перехода от оканья к аканью.

III

Рассмотрим в свете данных лингвистической географии два важных для истории русского языка явления — аканье и образование фрикативного *г* на территории Европейской части СССР. Следует, однако, помнить, что история этих явлений может быть полностью разрешена только после составления атласов всех русских говоров Европейской части СССР, а также атласов белорусского и украинского языка.

Труднейшая проблема происхождения аканья все еще остается неразрешенной. Но она тесно связана с вопросами о времени и месте появления аканья, а история русского языка и лингвистическая география уже имеют серьезные данные для разрешения этих вопросов. Эти данные позволяют высказать предположение, что аканье есть новообразование, охватившее в разные периоды часть говоров русского языка и белорусский язык, и что, следовательно, взгляды бывших сторонников «нового учения» о языке акад. Н. Я. Марра об изначальности аканья наряду с оканьем в корне неправильны.

В свете новейших данных оказывается несостоятельной и господство-

[23] Один из этих типов кратко описан А. П. Евгеньевой в статье «Третья диалектологическая экспедиция Филологического факультета». «Доклады и сообщения Филологического факультета ЛГУ», 1949, вып. 1, стр. 209—215.

[24] См. книгу автора настоящей статьи «Очерки русской диалектологии», ч. I, М., 1949, стр. 65, § 46.

вавшая до недавнего времени теория раннего происхождения аканья (А. А. Шахматов, Н. Н. Дурново). Главным основанием для возведения аканья в доисторическую древность являлось для сторонников этого взгляда то, что оно свойственно не только южновеликорусскому наречию русского языка, но также и белорусскому языку. Упрощенное применение сравнительного метода вне учета реального исторического процесса приводило историков языка к выводу о том, что все общее, встречающееся в разных диалектах или родственных языках, относится к эпохе, предшествующей образованию этих диалектов или языков. Так и аканье было признано относящимся к эпохе, предшествующей образованию южновеликорусского наречия и белорусского языка, и возникновение его было отнесено к предположенному для этой эпохи А. А. Шахматовым восточнорусскому наречию. «Восточнорусское наречие восстанавливается путем сравнительного изучения южновеликорусского и белорусского наречий: общие тому и другому наречию явления могут быть возведены к восточнорусской эпохе»,— писал А. А. Шахматов [25]. Важнейшая черта среди этих общих явлений — аканье.

Однако где, когда и при каких исторических условиях существовало восточнорусское наречие? Разве были когда-либо объединены верховья Березины и Свислочь, верхний Днепр и Сож с верховьями Сейма и течением Оки [26]? Если говорить о племенной эпохе, то здесь обитали и дреговичи, и радимичи, и кривичи, и северяне, и вятичи. Эти племена никогда не образовали какого-либо единства. Если говорить об эпохе феодальной раздробленности, то здесь были расположены княжества Полоцкое, Смоленское, части Турово-Пинского, Черниговского, Новгород-Северского, значительная часть Рязанского. Эти территории также никогда не образовали какого-либо единства.

Антиисторизм взглядов А. А. Шахматова на происхождение аканья в его отношении к другим языковым явлениям может быть иллюстрирован его высказываниями об истории аканья в белорусском языке. По А. А. Шахматову, аканье в белорусском языке — позднейший слой, полученный, однако, уже в X в., через радимичей. Этому слою предшествовал древнейший слой, объединяющий белорусский язык с украинским, а по отношению к отдельным чертам — также с польским. Для обоснования этого утверждения А. А. Шахматову пришлось сделать совершенно произвольное предположение о том, что радимичи в древнейшую эпоху жили на Оке вместе с вятичами. В этих условиях «радимичи, воспринявши речь вятичей, усвоили себе и эту звуковую особенность — аканье... Через их посредство эта звуковая особенность проникла в современный нам белорусский язык»[27].

Не будем говорить о том, как особенность племенного диалекта радимичей вообще может проникнуть в современный белорусский язык, но посмотрим, какие же черты белорусского языка относятся, по А. А. Шахматову, к его древнейшему слою. Среди этих черт, роднящих белорусский язык с украинским, оказываются такие, как развитие *ў* из *л* на конце слова и перед согласным, развитие *ў* из *в* (*въ*, *вь*) в тех же условиях, обра-

[25] А. А. Шахматов, Очерки древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, стр. 330.

[26] По сообщению проф. Б. А. Рыбакова, так называемая «юхновская» культура, относящаяся к началу н. э., объединяла большую часть названной территории. Но историки русского языка не могут отнести образование особенностей южновеликорусских говоров к этой отдаленной эпохе.

[27] А. А. Шахматов, Введение в курс истории русского языка, ч. I, Пг., 1916, стр. 107. Критику взглядов А. А. Шахматова на образование белорусского языка см. в статье автора настоящей работы «Вопросы образования русского языка и его говорах», «Вестник Моск. ун-та», 1947, № 9, стр. 119—123.

зование дифтонгов в новых закрытых слогах и др.[28] Но известно, что эти черты могли появиться только после падения редуцированных. Среди древнейших черт, роднящих белорусский язык с польским, мы видим у А. А. Шахматова дзеканье и цеканье, шепелявое произношение мягких *с*, *з*, отвердение *р*. Однако история белорусского языка доказывает еще более позднее образование этих черт и появление их вне связи с польской языковой средой [29].

В результате всего этого, согласно «концепции» А. А. Шахматова, получается: аканье — позднейший слой в белорусском языке, но оно появилось в X в. Ему предшествовал древнейший слой: явления, роднящие белорусский язык с украинским, и явления будто бы польского происхождения. Однако первые появились главным образом после падения редуцированных, а вторые еще позднее. Как же в этих условиях белорусское аканье может быть возведено к X в.? Совершенно очевидно отсутствие каких бы то ни было данных для отнесения его в такую седую древность. История белорусского языка и данные лингвистической географии свидетельствуют о позднем появлении аканья в белорусском языке.

Историческое изучение аканья в его живом звучании и отражении в письменных памятниках в связи с данными относительной хронологии языковых явлений дает основания для утверждения о том, что аканье возникло после падения редуцированных [30].

До сих пор остается неясным вопрос о соотношении между аканьем в собственном смысле и яканьем. В то время как яканье вообще и диссимилятивное яканье, в частности, известно во многих своих структурных разновидностях, позволяющих на основе сравнительно-исторического изучения этих разновидностей в значительной мере воссоздать процесс его развития, аканье в собственном смысле известно лишь в двух разновидностях — недиссимилятивной и диссимилятивной. Является ли это результатом того, что в положении после твердых согласных структурные разновидности аканья почему-то утрачивались легче и раньше, чем в положении после мягких согласных? Или, возможно, в положении после твердых согласных и не было такого многообразия структурных разновидностей? Эти вопросы требуют еще ответа.

Однако мы должны обратить внимание на следующий факт лингвистической географии: диссимилятивное аканье обычно сопровождается совершенно аналогичным ему и параллельным диссимилятивным яканьем жиздринского типа, т. е. *въдá — вад'é* произносится рядом с *в'иснá — в'ас'н'é*; *дълá — дайý, дайбш* произносится рядом с *н'илá — н'асу, н'ас'бш*. Это может свидетельствовать о том, что наличие жиздринского типа диссимилятивного яканья задерживало утрату диссимилятивного аканья.

Данные лингвистической географии указывают и на другой факт: диссимилятивное аканье, звучащее на западе русской языковой территории и в восточных говорах белорусского языка, охватывает область, находящуюся в большей своей части за пределами территории первоначального образования аканья. Предвосхищая последующее, отметим также, что диссимилятивное яканье жиздринского типа, как показывает структурно-историческое изучение безударного вокализма, является одним из наиболее новых типов диссимилятивного яканья.

---

[28] См. А. А. Шахматов, там же, стр. 105.

[29] См. об этом П. А. Расторгуев, К вопросу о ляшских чертах в белорусской фонетике, «Труды постоянной комиссии по диалектологии русского языка», вып. 9, 1927; см. также статью Н. Войтович «Да пытання аб паходжанні беларускага дзекання і пекання», «Мінскі дзяржаўны педагогічны інстытут. Вучоные запіскі», Філалагічная серыя, вып. 1, Мінск, 1950, стр. 94—104.

[30] Аргументация этого положения была дана в упомянутой выше статье «Вопросы образования русского языка в его говорах», стр. 138—139.

В этой связи нельзя не вспомнить материалы «Атласа русских говоров северо-западных областей» (где аканье, вне всякого сомнения, появилось поздно, а в некоторых местах только в самое последнее время постепенно вытесняет собою оканье), которые указывают на параллельность в развитии предударного вокализма в положении после твердых и мягких согласных. Не указывает ли такой параллелизм на позднее образование аканья в соответствующих говорах? Однако новые материалы свидетельствуют о диссимилятивном аканье в ряде районов Курской области и притом в сочетании с иными типами диссимилятивного яканья. Выяснению происхождения диссимилятивного аканья поможет установление территории его распространения и его изучение в связи с представленными в тех же говорах типами яканья. Эти вопросы требуют дальнейшего углубленного исследования. Но история русского языка и лингвистическая география на многие другие вопросы могут дать ответ и сейчас. Исследователи безударного вокализма русского языка единодушно считают диссимилятивное яканье более древним по сравнению с другими его типами [31].

Изучение диссимилятивного яканья во всем многообразии его структурных разновидностей, а также яканья с элементами диссимилятивности свидетельствует о большей древности тех его типов, которые по-разному реагируют на ударенные гласные среднего подъема различного происхождения, по говорам сохранившиеся как гласные среднего и верхне-среднего подъема. К числу таких типов прежде всего относятся обоянский и задонский, которые в предударном слоге неодинаково реагируют на ударенные гласные из *ѣ* и *е* (*ь*), а также из *о* под восходящим и *о* под нисходящим ударением и *ъ*. Далее, к ним относится щигровский тип, который сохраняет различие только в первой паре ударенных гласных, приравнивая оба гласных второй пары к гласным верхнего подъема. Наконец, к ним можно присоединить с известными основаниями и суджанский тип. Правда, последний не реагирует на этимологически различные гласные первой и второй пары, но следы различения этих гласных он сохраняет в том, что первая пара приравнивается к гласным нижнего подъема, а вторая — к гласным верхнего подъема. Впрочем, возможно, что первоначально тут было дело не в подъеме, а в ряде (гласные типа *е* и типа *о* — передние и задние), так как исконные южновеликорусские говоры не знали, видимо, изменения *е* в *о*. Однако и в дальнейшем, когда в них появилось *о* на месте *е*, суджанский тип диссимилятивного яканья, как и все ранее упомянутые, никак не реагировал на эти позднейшие различия в ударенном гласном — *е* или *о* на месте *е*: ср. *в'ис'ёл'jъ — в'ис'бл'j*.

Различия между этими типами диссимилятивного яканья, возможно, представляют собою последовательные ступени в его развитии, появившиеся после его образования в результате постепенного процесса утраты различий между ударенными гласными среднего и верхне-среднего подъема (обоянский и задонский типы → щигровский → суджанский).

Но не исключено и предположение о том, что различия между этими типами яканья обусловлены особенностями системы ударенного вокализма в эпоху, предшествующую образованию диссимилятивного яканья. Это означало бы, что типы диссимилятивного яканья образовались в результате одного и того же процесса, но он имел место в говорах, отличавшихся по системе своего ударенного вокализма, чем и объясняются его нетождественные результаты.

Что касается других типов диссимилятивного яканья — донского и жиздринского, то в них отсутствуют какие бы то ни было указания на

[31] Если оставить в стороне некоторые не оправданные фактами попытки пересмотра этого положения со стороны бывших представителей «нового учения» о языке, вообще не признававших установленные типы яканья.

различия в предударном вокализме в зависимости от ударенных гласных среднего или среднего и верхне-среднего подъема; по отношению к гласным предударного слога все они функционируют одинаково: в донском типе — как гласные нижнего подъема, ввиду чего в предударном слоге звучит «не-*а*», в жиздринском типе — как гласные верхнего подъема, ввиду чего в предударном слоге звучит *а*. Это дает основания считать, что донской и жиздринский типы диссимилятивного яканья являются более поздними по сравнению с другими его типами.

Данные лингвистической географии целиком подтверждают результат структурно-исторического анализа диссимилятивного яканья. Оказывается, что типы его, которые можно считать более новыми, распространены на периферии территории диссимилятивного яканья — юго-восточной (по преимуществу средний и нижний Дон, нижнее течение Северного Донца, Северный Кавказ) для донского типа и северо-западной (Смоленск, Полоцк) для жиздринского (белорусского) типа. Это обстоятельство никак не может быть случайным. Средний и нижний Дон и Северный Кавказ — это территории поздней и даже позднейшей колонизации. Они были заселены главным образом в конце XVI и в XVII вв., а также в последующие эпохи из разных мест, по преимуществу южновеликорусских. Можно думать, что в эти поздние эпохи в результате взаимодействия между другими более старыми типами диссимилятивного яканья и их подравнения образовался донской тип.

Иначе обстоит дело с жиздринским типом, который распространен на территории древнейшей восточнославянской колонизации. Это главным образом территория Смоленской и Полоцкой земель, а применительно к более ранней эпохе — территория в основном кривичей. Следует подчеркнуть, что пределы распространения этого типа диссимилятивного яканья не совпадают с племенной территорией кривичей: последние жили и севернее Полоцка и Смоленска — в Псковской и Тверской землях, а также восточнее — в Ростово-Суздальской земле; между тем на этих территориях не только отсутствует диссимилятивное яканье, но известно, что на них был распространен, а частью и сейчас распространен северный окающий диалект. С другой стороны, на этой территории частично жили и представители других племен (например, радимичи — по Сожу). Все это приводит нас к выводу, что образование диссимилятивного яканья на территории его современного распространения не может быть отнесено к племенной эпохе.

Пределы распространения диссимилятивного яканья жиздринского типа ближе соответствуют территории Смоленской и Полоцкой земель, взятых вместе. Однако если бы его возникновение относилось ко времени образования этих феодальных земель как самостоятельных «полугосударств» в XII в., то осталось бы неясным, почему оно охватило оба эти «полугосударства» или, во всяком случае, почему в структуре этого типа диссимилятивного яканья на территории Смоленска и Полоцка отсутствуют сколько-нибудь заметные отличия. Наконец, почему этот тип яканья не охватил всю Смоленскую землю? А известно, что он отсутствует на востоке Смоленской земли — в юго-западном и западном Подмосковье (Протва, верховья Москвы), где распространено умеренное яканье. Жиздринский тип отсутствует и западнее этой территории — между Гжатью и Вязьмой, где распространен суджанский тип.

Все это заставляет считать, что жиздринский тип, занимающий северо-западную часть современной территории распространения диссимилятивного яканья, появился в более позднюю эпоху — в великом княжестве Литовском, в составе которого примерно в середине XIV в. оказались «Верховские княжества» (бассейн верхней Оки) и Курск. Ввиду

этого временем интенсивного распространения аканья вообще и диссимилятивного яканья в частности на территории Смоленска и Полоцка можно считать XV—XVI вв. В это и последующее время аканье распространялось и далее на запад на всю белорусскую языковую территорию. Однако, испытывая «сопротивление» местного языкового материала, оно качественно изменялось в своей структуре, перерождаясь в сильное яканье, неполное аканье и яканье и т. д., постепенно, так сказать, затухая (по всяком случае в структурном отношении) по мере приближения к украинской языковой области.

Показания письменных памятников полностью подтверждают данные истории и лингвистической географии: смоленские грамоты, известные начиная с первой трети XIII в., не дают для XIII и XIV вв. материала, который мог бы свидетельствовать о наличии в это время в Смоленской земле аканья. Первые указания на аканье и притом в виде единичных случаев мы находим в смоленских и полоцких памятниках только для XV в.

Мы разобрали вопрос о происхождении диссимилятивного яканья в смоленских говорах и южновеликорусских говорах юго-востока. Если мы оставим в стороне эти территории позднего появления диссимилятивного яканья, то южновеликорусское наречие окажется представленным тремя группами говоров, образующих сплошную территорию: курско-орловской, рязанской и тульской. Рязанская группа примыкает к курско-орловской с востока; тульская находится между ними, примыкая с севера к курско-орловской группе и с запада к рязанской. С географической точки зрения территории этих диалектных групп можно охарактеризовать как бассейн Оки (кроме низовьев) и ее правых по преимуществу притоков. В состав этой территории вполне естественно вхождение также верховьев Дона, который течет между верхней Окой на западе и одним из ее притоков — Цной — на востоке. Лишь в районе Курска эта территория выходит за пределы бассейна Оки, занимая верховья Сейма.

Между этими группами говоров имеются известные различия. Однако историческое их изучение свидетельствует о том, что эти различия носят по большей части вторичный, позднейший характер. Основной словарный фонд у них общий во всех его решающих элементах. Грамматический строй отличается лишь отдельными частными явлениями, главным образом позднего происхождения. Более заметны отличия фонетические, но и они также позднейшего происхождения. Среди последних наиболее существенно как раз отличие в типе яканья.

Курско-орловские говоры с их диссимилятивным яканьем в наибольшей степени сохранили свой исконный тип предударного вокализма. Это объясняется историей края: он не только входил в состав территории, на которой возникло аканье, но в XIV—XV вв. представлял собою окраину развивающегося русского государства, будучи оторван от него Литвой.

Рязанским южновеликорусским говорам свойственно главным образом яканье ассимилятивно-диссимилятивное. Встречается среди них также умеренно-диссимилятивное, представляющее собой как бы первый этап на пути развития диссимилятивного яканья в ассимилятивно-диссимилятивное, а затем последнего, при известных условиях, в сильное. Принимая во внимание несомненность происхождения ассимилятивно-диссимилятивного яканья из диссимилятивного, а также то обстоятельство, что и в орловских говорах наряду с диссимилятивным яканьем представлено также умеренно-диссимилятивное и ассимилятивно-диссимилятивное, можно считать установленным единство происхождения яканья в курско-орловской и рязанской группах говоров.

Тульская группа говоров во всех своих решающих чертах весьма близка как к рязанским, так и к курско-орловским. Одно из заметных

отличий ее — умеренное яканье. Чтобы понять появление умеренного яканья в тульских говорах, надо учесть историю тульского края. Последний ранее других основных южновеликорусских земель был присоединен к Москве, находясь на важнейшем стратегическом пути в «дикое поле», на линии Москва — Серпухов — Тула; он был особенно тесно связан со столицей, по нему проходила первоначальная оборонительная линия. Естественно в этих условиях сильное влияние говоров центральных районов страны — Москвы и подмосковья. В процессе этого влияния в тульских говорах появилось умеренное яканье, заменившее собою диссимилятивное, а также некоторые другие черты, по которым они отличаются от курско-орловских и рязанских говоров, сближаясь со средневеликорусскими говорами центра. Все вышесказанное приводит нас к выводу, что курско-орловская, рязанская и тульская группы говоров весьма близки, а может быть, и едины в своей исторической основе в противоположность смоленским.

В отличие от остальных групп южновеликорусских говоров смоленские говоры находятся за пределами первоначального развития аканья; они развились в южновеликорусские из старосмоленских, северных по своему характеру говоров — окающих, цокающих, а также развивших *ў* и *у* на месте *в* (*въ*, *ъ*) в известных условиях, *е* открытое на месте *ѣ*, *о* открытое на месте *о* под восходящим ударением, а также *о* после мягких согласных на месте *е* (из *е* и ь) под ударением перед твердым согласным. Состав гласных фонем смоленских говоров, отсутствие в них категории гласных верхне-среднего подъема не только в настоящее время, но и в эпоху, предшествующую появлению в них аканья, в особенности изменение *е* в *о* (не имевшее места в других южновеликорусских говорах, в качестве фонетического процесса до появления яканья) объясняют до известной степени образование именно жиздринского типа диссимилятивного яканья. Этот тип не различает в предударном слоге разных гласных (*а* и «не-*а*») в зависимости от разных по происхождению ударенных гласных среднего подъема и приравнивает все эти гласные, возможно в связи с наличием в них с давних пор *о* после мягких согласных (*плач'о́м*, *н'ас'о́м* и т. д.), к гласным верхнего подъема.

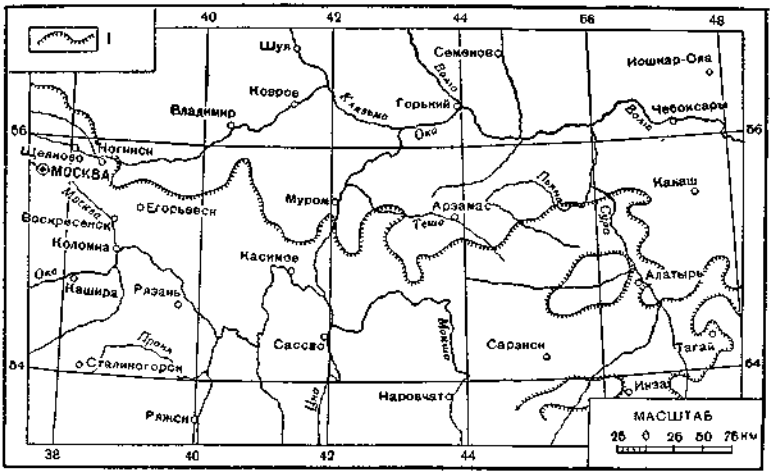
Таким образом, первоначальная территория распространения диссимилятивного яканья, а также и южновеликорусского наречия (ибо диссимилятивное яканье является одним из важных его признаков, а в прошлом было его конститутивным признаком) предположительно определяется следующим образом: верхний Сейм и бассейн Оки, кроме низовьев.

Когда же на этой первоначальной своей территории аканье могло возникнуть? Территория аканья в его современных пределах не соответствует какой-либо из племенных территорий древних восточнославянских племен или феодальных областей последующей эпохи, как не соответствует она и территории Русского государства того или иного периода. Аканье как черта, укрепившаяся в составе норм национального языка, на протяжении истории расширялось в своем территориальном распространении, а также расширяется и теперь.

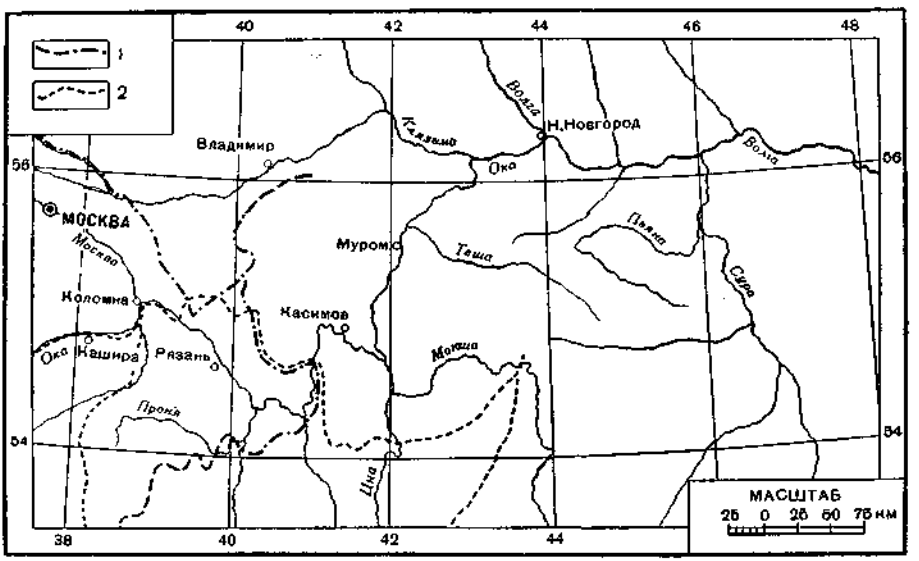
Однако изоглосса аканья-оканья в ее отношении к историческим границам дает весьма различную конфигурацию в зависимости от близости или отдаленности первоначальной территории аканья, где оно возникло. Например, в говорах центра, восточнее Москвы, изоглосса аканья-оканья проходит севернее Москвы в 60—70 км и затем следует на юго-восток. Она не повторяет границы между рязанским княжеством, входившим в состав первоначальной территории аканья, и Ростово-Суздальской Русью, так как первоначальная граница аканья значительно передвину-

лась на север [32], но она имеет что-то общее в своем направлении со старой исторической границей.

Совершенно иную картину дает «Атлас северо-западных областей». На территории кривичей и словен в древнейшую эпоху, в Псковской и



Карта № 5. *1* — северная граница аканья



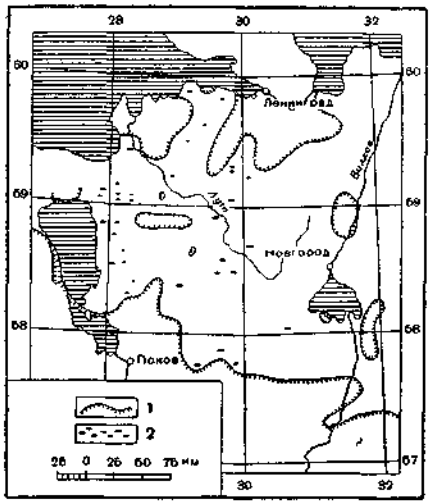
Карта № 6. *1* — вятичи и кривичи; *2* — Рязанское княжество в XIV—XV вв.

Новгородской землях — в последующую, конечно, не существовало аканья. В говорах части этой территории аканье возникло в более позднее время, после того как Псков и Новгород стали провинциями Русского государства со столицей в Москве. Именно поэтому изоглосса аканья-

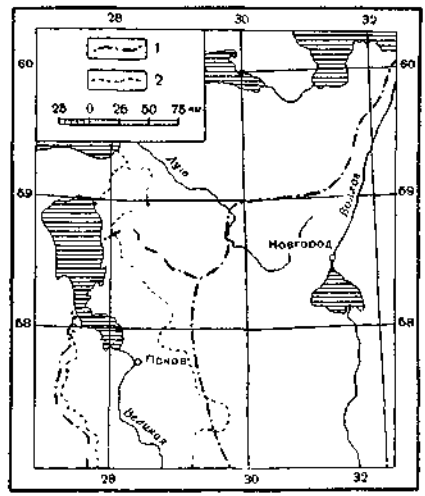
[32] Между прочим, сопоставление карт Московской диалектологической комиссии (1915) с картой аканья-оканья «Атласа русских народных говоров центральных областей» свидетельствует о заметном передвижении границы аканья на север за последние 35—40 лет.

оканья не имеет ничего общего с историческими границами древней эпохи, в том числе эпохи самостоятельности Новгорода и Пскова.

Однако и первоначальная территория распространения аканья (точнее, диссимилятивного яканья), как она определена нами предположительно, также не совпадает ни с одной племенной территорией. Правда, она включает в себя почти всю племенную область вятичей, но нам известно, что та часть ее, которая с образованием государственности вошла в состав Ростово-Суздальской Руси, имела первоначально северновеликорусский



Карта № 7. 1 — граница аканья; 2 — пункты с колебанием оканья и аканья



Карта № 8. 1 — кривичи и словене: 2 — Псковская и Новгородская земли в XV в.

характер говора (Москва). С другой стороны, в первоначальную территорию аканья входила также и часть территории северян. Однако на другой ее части впоследствии развился украинский язык. Все это свидетельствует о том, что аканье не может быть отнесено к племенной эпохе, а возникло после образования и развития государственности, не ранее начала XII в.

Естественно предположить, что общие языковые особенности на обширной территории могут возникнуть при наличии связей между частями ее, а не при их разъединенности. Поэтому можно полагать, что аканье, в том числе в виде диссимилятивного яканья, возникло не позже времени вхождения верхнего течения Оки и верхнего Сейма («Верховских княжеств» и Курска) в состав великого княжества Литовского, имевшего место, как уже упомянуто выше, в середине XIV в. К этому времени в Курско-Орловском, Тульском и Рязанском краях имело место аканье и диссимилятивное яканье, развившееся в предшествующую эпоху, т. е. уже, видимо, в XIII в. Вхождение «Верховских княжеств» и Курска с их южновеликорусским диалектом в состав Великого княжества Литовского оторвало их от южновеликорусских земель средней Оки, далее развивавшихся самостоятельно; с другой стороны, оно способствовало, вероятно, распространению аканья среди восточнославянских диалектов севера Литовского княжества в XV в. Таким образом, Рязанское, Новгород-Северское, Черниговское княжества XII—XIII вв.—вот в основном место и время образования аканья.

Неясным остается вопрос о том, при каких обстоятельствах и в какое время на части территории Новгород-Северского и Черниговского кня-

жеств мог развиться украинский язык. Ответ на этот вопрос должны дать история украинского языка и атлас украинских диалектов.

Итоги структурно-исторического изучения и данные лингвистической географии в связи с данными истории и археологии привели нас к одному и тому же выводу о месте и времени образования аканья. Это не может быть случайным, хотя, разумеется, такой вывод еще не может считаться окончательным.

IV

Сравнительно-историческое изучение славянских языков со всей непреложностью свидетельствует об исконности во всех этих языках взрывного заднеязычного образования *г*. Таким образом, фрикативное *г*, свойственное южновеликорусскому наречию, есть новообразование, охватившее в известный период часть говоров. Следует отметить, что фрикативное *г* представляет собой такое новообразование, которое оказалось за пределами норм национального языка. Поэтому его первоначальная территория, как правило, не имела данных для расширения в русском языке. С другой стороны, *г* фрикативное является весьма устойчивой диалектной чертой, которая хотя и могла в известных условиях утрачиваться на части своей территории, но весьма медленно, с большим сопротивлением. Это придает значительный интерес данным лингвистической географии о том или ином образовании *г*.

Можно утверждать с полным основанием, что южновеликорусское γ генетически связано с украинским h: *г* → γ → h являются последовательными ступенями эволюции первоначально единой взрывной заднеязычной фонемы. Образование γ из взрывного *г* объясняется слабостью взрыва при звонких согласных. Дальнейшее развитие γ в гортанное или, скорее, фарингальное образование в украинском связано с тем, что γ образуется при мало энергичном суженин, делающем эту артикуляцию очень открытой, в связи с чем преграда удаляется назад и получается глубокая артикуляция с относительно слабым фрикативным шумом.

Возможность звука *х* на месте *г* в конце слова в украинском (*pix* «рог») [33] свидетельствует об образовании h из γ и вместе с тем указывает на время этого процесса — после утраты редуцированных и оглушения γ на конце слова в части говоров. Относительно позднее время этого процесса явствует и из того, что украинские говоры сохранили многие переходные ступени между γ и h, имея еще «частью велярный фрикативный или же фрикативный гортанный с остатками велярного сужения» [34].

На наличие заднеязычной артикуляции при образовании украинского *г* указывают и современные экспериментальные исследования в области фонетики украинского языка [35]. Однако описанный Т. А. Бровченко украинский звук все же заметно отличается от типичного южновеликорусского γ, и это отличие, видимо, объясняется тем, что заднеязычная артикуляция сопровождается определенной работой в области фаринкса или гортани.

Таким образом, до образования h украинская и исконно южновеликорусская зоны [36] в равной мере характеризовались фрикативным задне-

---

[33] О. Брок утверждает, что такое произношение обычно для украинской интеллигенции. См. О. Брок, Очерк физиологии славянской речи, СПб., 1910, стр. 57.

[34] Там же.

[35] См. Т. А. Бровченко, Сравнительный анализ фонем украинского и английского языков, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, 1-й Моск. гос. педагогич. ин-т иностр. языков, 1952, стр. 13.

[36] Выше на материале аканья было обосновано, что южновеликорусский характер смоленских говоров, равно как и южновеликорусские по происхождению черты в белорусском, являются вторичными.

язычным образованием *г*. Исследователь этого явления не может пройти мимо того факта, что обе эти зоны образовали сплошную территорию: бассейн Оки (кроме низовьев) и среднее Поднепровье естественно соединялись в водоразделе верховьев Оки и верховьев рек днепровской системы — Десны и Сейма с их притоками. Именно эту область, соответствующую «Русской земле» конца XI, начала XII вв. (т. е. Киевскому, Переяславскому и Черниговскому княжествам), с некоторым расширением на северо-востоке по Оке (примерно, от Коломны до старой Рязани и еще несколько дальше), следует считать первоначальной территорией фрикативного *г*.

Нетрудно заметить, что северо-восточная часть этой области одновременно является территорией возникновения аканья (см. выше). Отсюда следует, что аканье образовалось в эпоху расчленения этой области (когда северо-восток ее, впоследствии южновеликорусский, обособился от остальной части Русской земли), т. е. с переходом к феодальной раздробленности и в период возникновения начальных процессов образования украинского языка, с одной стороны, и южновеликорусского наречия — с другой. Скорее всего это произошло в XIII в. Иными словами, здесь с другого конца и на другом материале мы приходим к тому выводу, который уже был сформулирован выше.

В противоположность этому можно считать, что *г* фрикативное, распространившееся по всей Русской земле, образовалось в более ранний период ее относительного единства, т. е. до половины XII в. Осложняющим обстоятельством является то, что *г* фрикативное на северо-востоке выходит за пределы Русской земли и охватывает Рязанскую землю. Почему же именно здесь оказывается несовпадение зоны фрикативного *г* и территории Русской земли? Ведь глухой в то время Рязанский край был достаточно обособлен от Русской земли.

Необходимо учесть, что расширение территории γ следует по течению Оки, значительная часть которого (до Коломны) входила в Русскую землю. Необходимо учесть, кроме того, что среднее течение Оки (до старой Рязани и далее) издавна было связано со средним Поднепровьем. Рязань в XI—XII вв. входила, как известно, в Черниговскую епархию: связи с Черниговом порвались лишь в XIII в. Нельзя забывать, наконец, и того, что Ока как в своей «черниговской» части, так и в «рязанской» была заселена потомками вятичей. Все это наводит на мысль о возможности более раннего образования фрикативного *г* — в эпоху, предшествующую образованию Русской земли (XI — первая половина XII вв.)

Считая безусловной генетическую связь южновеликорусского γ и украинского h и относя изменение *г* в γ в раннюю эпоху, мы вместе с тем должны подчеркнуть, что образование γ и h в древних восточнославянских диалектах, как это в свое время было доказано А. М. Селищевым [37], проходило независимо от аналогичного процесса в других славянских языках (чешском, словацком, словинском). Нужно полагать, что дальнейшее развитие γ в h на западе Русской земли относится к более поздней времени формирования украинского языка. Определить точнее время этого процесса не представляется пока возможным. Можно допустить, что он имел место в разных диалектах неодновременно и, может быть, даже не во всех диалектах, так как и сейчас он в отдельных говорах не завершен. Мы видели, что структурный анализ нас привел к этому же выводу по во-

[37] См. А. М. Селищев, Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов, «Slavia», VII, № 1, 1928, стр. 35—36.— См. также рецензию А. М. Селищева на «Очерк истории русского языка» Н. Н. Дурново в «Известиях Отд-ния русск. языка и словесности АН СССР», т. XXXII, Л. 1927, стр. 303—330.

просу о времени образования h: оно образовалось не только после падения редуцированных, но и после оглушения согласных в конце слова.

Нам остается сказать об истории *г* на территории смоленских говоров, а также белорусского языка. Южная часть территории белорусского языка входила в состав Русской земли XI — первой половины XII вв., как она была очерчена нами выше, и относится, следовательно, к первоначальной зоне развития фрикативного *г*. Впоследствии эта территория составила Турово-Пинское княжество, а также Черную Русь, затем вошедшую в состав Полоцкой земли.

Остальная часть белорусской языковой территории и территории смоленских говоров русского языка находилась за пределами Русской земли: это — Смоленская и Полоцкая земли, севернорусские по составу своего населения и близкие в этом отношении к Ростово-Суздальской земле и Пскову. На месте Ростово-Суздальской земли и до сих пор распространены главным образом северновеликорусские говоры. На месте древней Псковской земли частично распространены северновеликорусские говоры, частично — средневеликорусские северного происхождения. Ввиду всего этого можно считать, что Смоленская и Полоцкая земли были за пределами первоначальной территории фрикативного *г* и получили последнее позднéе и что в смоленских и северо-восточных и белорусских говорах невзрывное образование *г* носит вторичный характер.

Таким образом, в ту эпоху, когда уже существовало не только фрикативное *г*, но также и аканье, смоленские говоры еще имели некоторое время *г* взрывное и оканье, т. е. носили ясно выраженный северный характер. Некоторые данные позволяют предположить, что невзрывное *г* и аканье в Смоленской и Полоцкой землях появились в разное время и распространялись из разных исходных территорий.

Мы уже знаем, что аканье и в структурном отношении, и по полноте своего проявления претерпевает по направлению на запад такие изменения, которые свидетельствуют о его появлении в смоленских говорах и белорусском языке с востока, из основной, исконной южновеликорусской территории.

С другой стороны, гортанное, или фарингальное, образование *г* в белорусской языковой области, в особенности на северо-востоке и востоке, менее распространено, чем на юге (Черная Русь, Турово-Пинская земля), который входил в состав области первоначального образования γ и, надо думать, дальнейшего развития его в h. Во многих белорусских говорах (не на юге) известно заднеязычное фрикативное γ, близкое к южновеликорусскому.

При изучении древнейшего периода истории белорусского языка следует иметь в виду, что он возник на территории двух весьма различных в языковом отношении областей: с одной стороны, говоров Турово-Пинского княжества и Черной Руси, однородных с теми, которые легли впоследствии в основу говоров северноукраинских; с другой стороны, говоров Полоцкой земли, а также части Смоленской, однородных с теми говорами, на почве которых образовались соседние северновеликорусские. При этом первые имели преобладающее значение в более древнюю эпоху: черты, свойственные им, широко распространялись по территории формирующегося белорусского языка, иногда захватывая ее полностью и нередко переходя на восточную часть Смоленской земли. Можно думать, что именно с этим процессом, идущим с юга на север и северо-восток, связано первоначальное распространение невзрывного *г* на территории Полоцкой и Смоленской областей.

В более позднюю эпоху приобретают ведущее значение процессы, идущие с востока на запад и принесшие аканье. Правда, и эти процессы могли

способствовать усвоению на Смоленской и Полоцкой территории невзрывного (точнее, фрикативного) *г*. Однако данные письменных памятников свидетельствуют о том, что аканье и невзрывное *г* на территории Смоленской и Полоцкой земель появились неодновременно: смоленские и полоцкие грамоты заключают в себе указания на невзрывное *г* уже для XIV в., в то время как самые робкие элементы аканья находят в них отражение, как уже нами было выше упомянуто, только с XV в.

Более позднее появление невзрывного *г* на смоленском и полоцком северо-западе, а также взаимодействие на этой территории различных диалектов, один из которых способствовал усвоению γ и h, другой — γ, объясняют непоследовательность белорусского языка в его говорах, а также смоленских говоров в отношении этой черты — наличие в них не только h, но и γ, а также множества переходных между ними артикуляций.

*

Поставленные выше вопросы свидетельствуют о том, что лингвистическая география дает важнейший материал для истории языка в связи с историей народа, что лингвистическая география и внутренние законы развития языка не являются такими антиподами, как это обычно принято было считать, что нельзя отрывать лингвистическую географию от изучения внутренних законов развития языка. Что касается разрешения поставленных вопросов в плане конкретно-историческом, то оно, несомненно, будет уточняться и углубляться по мере обогащения советской науки новыми фактическими материалами и углубления научного анализа. Следует только отметить, что при изучении истории языков древнейших периодов нам не обойтись без научных гипотез. Нужно только, чтобы они были возможно более надежно аргументированы и оснащены фактическим материалом.

Современной постановкой всех вопросов истории языка и лингвистической географии, самым направлением своих исследований советские языковеды полностью обязаны великому корифею науки И. В. Сталину и его гениальному труду «Марксизм и вопросы языкознания», в котором изложена созданная И. В. Сталиным система марксистского языкознания.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1952

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

(СОФИЯ)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АЛФАВИТА

I. Финикийские буквы и их названия

Одним из величайших приобретений человеческой культуры является буквенное письмо, алфавит. При помощи примерно тридцати знаков мы можем передать всю нашу речь, все самые разнообразные оттенки человеческой мысли.

Слова и морфолого-синтаксические элементы всех известных языков состоят из определенного числа фонем или, очень редко, из одной фонемы. Качество фонем неодинаково в различных языках, но их число для каждого отдельного языка ограничено [1]. Следовательно, составление алфавита для любого языка представляется чем-то совсем простым: человек изобретает по одному знаку для каждой фонемы и, таким образом, создает алфавит примерно из тридцати букв, при помощи которых он может передать любой текст на соответствующем языке.

Однако история письменности показывает, что установление алфавита — совсем не такое простое дело. Напротив, чтобы постичь эту простую истину, человеку потребовались тысячелетия для постепенного накопления опыта и знаний. История человеческого общества дает нам многочисленные примеры того, что линия развития идет от психологически простого к логически простому.

Самые распространенные алфавиты нашего времени — латиница, кириллица, арабица — происходят из одного и того же источника. Происхождение алфавита представляет важную проблему не только языкознания, но и истории, психологии, археологии, этнографии. К сожалению, происхождение этих алфавитов и до наших дней еще не выяснено, несмотря на многочисленные попытки ученых разрешить эту проблему.

*

Общепринятым является мнение, что греческий алфавит, от которого происходят латиница и кириллица,— финикийского происхождения. Поэтому проблема происхождения алфавита является тесно связанной с проблемой происхождения финикийского консонантного письма.

Самые древние финикийские письменные памятники датируются временем с XI в. до середины IX в. до н. э. Это — надписи Ахирама, Аздрубала, Йехимилка, Абдо (?), надпись на стреле из Руейсе, надписи Абибаʿала, Элибаʿала, Шафатбаʿала и Меши. Убедительна датировка надписи Меши, которая относится к 842 г. до н. э. Весьма вероятна и новая датировка надписи Ахирама — около 1000 г. до н. э.[2] Вопреки мнению

---

[1] Обыкновенно около 30 фонем

[2] См. M. Dunand, Byblia grammata, 1945, стр. 177 и сл.

M. Dunand [3], нет положительных палеографических данных, которые позволяли бы считать, что надписи Абдо, Шафатба^{c}ала и Аздрубала древнее надписи Ахирама [4]. Напротив, при сравнении очертаний букв в этих надписях получается впечатление об их единстве и установленности: различия минимальны. Этот факт показывает, что разница по времени между этими надписями не может быть значительной.

Делались многочисленные попытки разрешить проблему происхождения финикийского консонантного письма, но эта проблема до сего времени оставалась неразрешенной [5]. Только теперь, благодаря дешифровке минойской письменности, можно сказать, что вопрос о происхождении финикийских буквенных знаков нашел свое разрешение Финикийское письмо — это дальнейшее развитие минойского слогового письма. Больше того, самые названия букв оказываются минойскими словами.

*

В настоящее время считается установленным, что имена греческих букв ἄλφα, βῆτα и т. д. имеют финикийское происхождение. В сущности мы не знаем финикийских названий букв. Они предполагаются на основе соответствующих греческих, еврейских или сирийских (арамейских) названий

Названия греческих букв засвидетельствованы с VI—V вв. до н. э. Еврейские названия букв известны из греческой их транскрипции в тексте Плача Иеремии из перевода LXX и из Евсевия, Praep. Ev. 10,5, а также из поздней талмудической традиции (Шаббат, 104 b) Сирийские названия букв засвидетельствованы сирийскими абецедариями VII и VIII вв. н. э.

Порядок финикийских букв устанавливается путем полного согласования между старыми этрусскими азбуками — алфавит из Марсилианы датируется приблизительно 700 г. до н. э. — и многими еврейскими стихотворениями Ветхого завета, которые представляют алфавит в акростихе.

Многие считают, что названия букв — это финикийские слова, т. е. названия предметов, обозначенных соответствующими финикийскими знаками. Другие же отрицают вообще какую-либо общность этих названий с соответствующими знаками. В сущности эти названия не имеют семитского происхождения. Только некоторые из них по народной этимологии были семитизированы. Это явствует из того факта, что одна часть этих названий не может быть истолкована с точки зрения семитских языков, а другая часть выглядит действительно как семитские слова, однако эти слова не имеют никакого отношения к соответствующим знакам. Рассмотрим тут критически названия букв, воспользовавшись критикой H. Bauer[6].

'Alef значит по-еврейски «рогатый скот», «вол», но здесь нет полного соответствия финикийской букве, в которой только народная этимология видит стилизованную воловью голову с рогами.

Bet значит по-еврейски «дом», однако финикийская буква не имеет подобия дома или плана дома.

Gimel толкуется как «верблюд»: верблюд по-еврейски gāmāl. Финикийская буква не имеет никакого сходства с верблюдом. Несерьезно объяснение, что она представляла горб верблюда или верблюжью голову с шеей.

Dalet значит по-еврейски «створ ворот», но финикийская буква не подходит для этого имени, так как створы ворот прямоугольны. Предпо-

[3] Указ. соч., стр. 146 и сл.

[4] Ср. J. Février, Histoire de l'écriture, (1948), стр. 204 и сл. См. Dunand, Указ. соч., стр. 197 и сл.

[5] См. об этом Février, Указ. соч., стр. 186 и сл.

[6] См. «Der Ursprung des Alphabets» («Der alte Orient», XXXVI, 1937, кн. 1—2), стр. 13 и сл. См. также Février, Указ. соч., стр. 223 и сл.

ложение Лидзбарского, что знак представляет женскую грудь и что dalet родственно еврейскому слову dad «грудь», совсем невероятно.

Hē не может быть истолковано с точки зрения семитских языков.

Waw значит по-еврейски «гвоздь, клин». Старая форма буквы w едва ли может быть истолкована как гвоздь или клин.

Zajin толкуется из арамейского как «оружие». Однако арамейское слово заимствовано из персидского языка и, следовательно, это объяснение невозможно. С другой стороны, и самый знак совсем не напоминает никакого «оружия». Другие пытаются толковать название как «оливковую ветвь» или «маслину (дерево)», приводя для сравнения еврейское слово zajit «масло, маслина (дерево)», но форма знака не имеет ничего общего с этим предметом.

Ḥet. Традиционная этимология «ограда» — несостоятельна, потому что основывается на арабском корне ḥwṭ, из которого нельзя вывести название ḥet Старая форма знака действительно напоминает ограду, что и дало повод для упомянутой несостоятельной этимологии. Другие ищут связь с аккадским словом ḥetu «стена», но и это объяснение неправдоподобно.

Ṭēt не может быть объяснено как слово семитского происхождения.

Jōd объясняется как диалектная форма еврейского слова jād «рука». Однако сходство финикийской буквы с рукой сомнительно

Kaf значит по-еврейски «ладонь». Но знак трудно уподобить ладони.

Lamed толкуется как «колючка, жало» (фр. aiguillon). Однако «жало» по-еврейски malmād, и, кроме того, финикийскую букву едва ли можно считать изображением жала.

Mēm значит «вода» (евр. majim). Финикийская буква может быть истолкована как идеограмма воды, если учесть, что волнообразная линия является символом воды в искусстве Древнего Востока.

Nūn значит по-арамейски «рыба». Однако финикийская буква не соответствует такому толкованию. Кроме того, весьма странно и необъяснимо, что и samech тоже толкуется как «рыба»: два различных знака, названные двумя различными словами, имеют одно и то же значение «рыба» (!).

Samech толкуется как «рыба», при помощи арабского слова samak «рыба», или как «подпорка». Форма знака не подходит для этих объяснений. Есть и другие объяснения, которые совсем неправдоподобны.

ᶜAjin значит «глаз». Знак соответствует названию.

Pē значит «рот», однако финикийская буква не имеет ничего общего с названием.

Ṣādē. Для толкования этого названия высказывались различные предположения, но ни одно из них нельзя признать правдоподобным.

Qof значит по-еврейски «обезьяна», но финикийская буква совершенно не подходит к этому названию. Другие предположения для объяснения этого названия невероятны.

Rēš значит по-арамейски «голова»; соответствующее финикийское слово было rōš. Финикийская буква может быть уподоблена изображению головы в профиль.

Šin толкуется как «зуб» при сравнении с еврейским словом šēn «зуб», которое происходит от более древнего *šinu. Однако знак не очень похож на зуб(ы). Предпринимались и другие попытки объяснить это название, но они совсем невероятны.

Taw значит «знак». Форма знака — X, +. Но это чересчур общее название для буквы.

Итак, только три или четыре знака соответствуют своему названию: mēm «вода», ᶜajin «глаз», rēš «голова», а может быть, и taw «знак».

Шесть названий не могут быть объяснены с точки зрения семитских языков: hē, zajin, ḥēt, ṭēt, lamed, ṣādē.

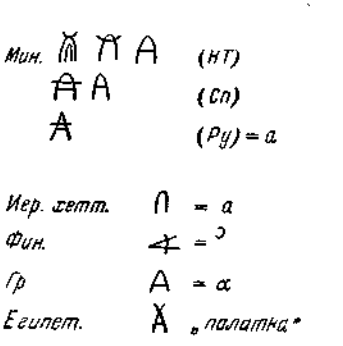
Остальные 12 названий, по большей части, действительно могут быть признаны финикийскими (семитскими) словами, но они или совсем не соответствуют своим знакам (bet, gimel, dalet, kaf, nūn, samech, pē, qof), или же сходство очень сомнительно ('alef, waw, jōd, šin).

II. Минойское происхождение финикийских букв и их названий

В 1906 г. F. Praetorius попытался доказать, что финикийское письмо происходит от кипрского силлабария [7]. Уже давно A. Evans обратил внимание на сходство между финикийскими и минойскими знаками [8]. Позднее H. Schneider [9], F. Chapouthier [10], M. Dayet [11] и другие попытались вывести финикийские буквы из минойских знаков. Dayet попытался доказать, что почти все буквы архаичного финикийского алфавита имеют соответствия в критском линеарном письме, притом специально в линеарном письме типа A. Однако этот тезис не мог считаться доказанным, пока не было дешифровано минойское письмо. Теперь ясно видно, что сопоставлялись некоторые знаки, которые не имеют между собой генетической связи и обладают различной фонетической значимостью.

Рассмотрим по порядку финикийские буквы, указав на их происхождение и возникновение их названий.

A. Финикийская буква ʾ и греческая A происходят от минойского знака *a* (см. фиг. 1). Минойский знак соответствует египетской идеограмме ПАЛАТКА (tente) [12]. Минойский знак имеет фонетическую значимость *a* по акрофоническому принципу. Это начальный слог минойского слова, который соответствует идеограмме (пиктограмме): в минойском было слово **alēwā* «убежище, шалаш, хижина, палатка», что можно заключить из гомеровского (или догреческого) слова ἀλέη «убежище (abri, refuge)», более старой формой которого было **ἀλεϝᾱ* или **ἀλῃϝᾱ* [13], и из финикийского названия 'alef. Минойский знак был заимствован финикийцами вместе с его минойским названием. Минойское слово было связано по народной этимологии с финикийским словом 'alef «рогатый скот, вол». Финикийцы начали писать знак в горизонтальном положении, толкуя его по народной этимологии в связи со своим словом 'alef как голову вола с рогами. Однако греческая и этрусская буквы сохраняют более старую форму этого знака. Об обозначении семитских ларингалов смотри ниже.



Фиг. 1

Одним из больших затруднений при прежнем понимании финикийского происхождения греческих названий букв является тот факт, что 11 из всех 22 названий кончаются на-α (ἄλφα, βῆτα, γάμμα, δέλτα, ζῆτα, ἦτα, θῆτα, ἰῶτα, κάππα, λάμβδα, σῖγμα), в то время как ни одно из знакомых еврейских и реконструированных Th. Nöldeke финикийских названий не оканчивается на -a. Février пишет: «Le cas le plus embarassant est sans

[7] «Über den Ursprung des Kanaanäischen Alphabets».

[8] «Scripta Minoa», I, стр. 77 и сл.

[9] «Der kretische Ursprung des phönikischen Alphabets», 1913.

[10] «Les écritures minoennes au palais de Mallia», 1930 стр. 62 и сл; стр. 72: «L'alphabet phénicien dériverait sans doute de l'écriture égyptienne, mais à travers les signes minoens»

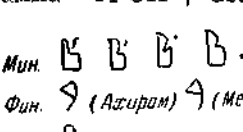
[11] «Revue archéologique», XXXIII, 1931, стр. 30 и сл: «Alphabet phénicien et caractères minoens». См. также H. Jensen, Die Schrift, 1935, стр. 186 и сл.

[12] Ср. Février, Указ. соч., стр. 126, фиг. 31.

[13] См. E. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque под этим словом; ἀλέη встречается в Илиаде [XII, 301] и у Гесиода [0.543: ἀλ. ὀετοῦ].

doute celui de la terminaison -a, qui, dans une douzaine de cas, a été accolée au nom sémitique: alpha (alef), bêta (bayit) etc...»[14]. Если же исходить из той точки зрения, что греческие названия букв заимствованы из минойских и что они только отчасти подпали под влияние (позднее) финикийских, то это затруднение исчезает, так как девять минойских названий правильно кончаются на -a: *alēwā, *bāt(t)a, *t(h)āla, *hēmā, *thēt(t)a, *kap(ph)a, *labā, *minā, *nā.

В. Финикийская буква *b*, так же как и 'alef, изменила свою форму: она была перевернута. В данном случае греческая буква В лучше сохраняет первоначальную форму минойского знака. Это — минойская пиктограмма ТРОН + СКИПЕТР = ba,pá (см. фиг. 2), которая тоже заимствована из египетского письма, где ей соответствует знак ТРОН. Три последние формы минойского знака (фиг. 2) встречаются в надписях из Пилоса[15], последняя форма минойского знака почти идентична с греческой буквой. Непосредственным развитием первого знака, но без скипетра, может считаться карийская и ликийская буква *b* (фиг. 2). Финикийская буква представляет, вероятно, именно эту форму, но перевернутую.



Фиг. 2

Пиктограмма ТРОН + СКИПЕТР — символ царской власти, царя. Этой пиктограммой обозначается понятие «царь», что по-гречески выражается словом βασιλεύς — словом догреческим, т. е. минойского происхождения. Первый член этого сложного слова стоит несомненно в связи со словом βάττος «царь», упомянутым у Геродота. Геродот нам рассказывает следующее (IV, 150 и сл.). Один из жителей острова Феры, по имени Батт, сын Полимнеста, основал на ливийском побережье против острова Крита город Кирену. В Кирене сменились один за другим шесть царей, которые носят по порядку имена Βάττος и 'Αρκεσίλεως, ср. IV, 161: διεδέξατο δὲ τὴν βασιληίην τοῦ 'Αρκεσίλεω ὁ παῖς Βάττος. В связи с этим Геродот пишет (IV, 155): Λίβυες γὰρ βασιλέα βάττον καλέουσι, καί τούτου εἵνεκα δοκέω θεσπίζουσαν τὴν Πυθίην καλέσαι μιν Λιβυκῇ γλώσσῃ, εἰδυῖαν ὡς βασιλεὺς ἔσται ἐν Λιβύῃ. Имя отца Батта и его сына, Πολύμνηστος и 'Αρκεσίλεως — греческого (эгейского) происхождения. Самое имя Βάτ(τ)ος встречается в Эгейской области: Βάττος — имя одного из коринфских полководцев (Thuc., IV, 43), одного пастуха из Мессении (Anton. Lib. 22; Ov. Met. II, 688), одного поэта (Plut. Adul. et amic. 11), одного шутника (Plut. Qu. symp. VIII, 6, 1); оно встречается и на монетах Самоса и Милета. Кроме того, встречается еще имя Βάττων того же корня. Следовательно, личное имя — эгейского (догреческого, минойского) происхождения, так же как и нарицательное βάττος, от которого происходит личное имя.

Имя Βάττος встречается на монетах Самоса и Милета, т. е. по соседству с Лидией. Вероятно, это догреческое слово сохранилось в позднейших догреческих диалектах — лидийском, ликийском, карийском, — и своим анекдотическим характером пророчество Пифии обязано смешению Λιβυκῇ γλώσσῃ с Λυδικῇ γλώσσῃ. С другой стороны, вероятно, и самое минойское (догреческое) слово βάττος «царь» было заимствовано местным языком города Кирены.

---

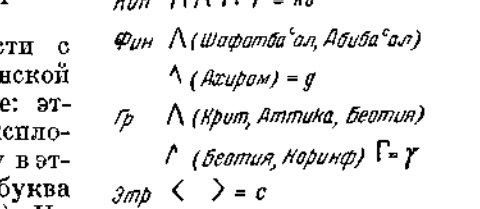
[14] Указ. соч., стр. 223.

[15] О предпоследней форме см., например, B. Hrozný, Les inscriptions crétoises, (1949), табл. XIV и XV. В некоторых случаях дополнительная черточка, остаток скипетра, отсутствует.

Минойское слово *bă̆t(t) a = βάττος «царь» происходит из ие.*bhă̆tja[16]; оно сродно с болгарскими словами *баща* «отец», *батьо, бате, батко* «старший брат», русск. *бáтя* «отец» и др., которые происходят от ие. *bhātja и *bhāten [17]. В условиях первобытно-общинного строя в минойском (догреческом) языке из более старого значения «старший (брат), отец» развилось значение «старейшина (рода)» и позднее «главарь, царь». Это та же семантическая перемена, какая наблюдается в немецком слове König «царь». Как правильно показал Энгельс, немецкое слово König «царь» (от герм.* kuningaz) является производным от герм. *kunja (> гот. kuni) «род» и означало первоначально «старейшина рода» [18]. Слово βασιλεύς «царь» происходит, следовательно, от *bhati-lau-s «отец (старейшина) народа» > «царь», которое контаминировалось с ие. *poti-lau-s «государь народа»[19].

Итак, финикийское (еврейское) название bet (bēth), будучи осмыслено по народной этимологии, отожествлено с финикийским словом «дом» (евр. bajith), несмотря на то, что самый знак не имеет подобия дома или плана дома. В сущности — это минойское *bă̆t(t)a = βάττος «царь», выраженное пиктограммой ТРОН + СКИПЕТР, которая по акрофоническому принципу обозначает слог ba (= pá).

Г. Финикийская буква g и греческая Γ происходят от минойского знака ko, go = ko (go, kho) из кипрского силлабария (см. фиг. 3). Самая старая форма финикийской и греческой буквы, следовательно, идентична с одним из вариантов слога ko кипрского силлабария и очень похожа на пилосский знак.



Фиг. 3

Относительно звуковой значимости с (=k)— соответствующей этрусско-латинской буквы—принято следующее объяснение: этрусский язык не обладал звонкими эксплозивными согласными (b, d, g) и поэтому в этрусском алфавите буквы B, D отпали, а буква C = g стала обозначать фонему = c (k). Но при таком понимании совсем неясно следующее: если буквы B и D отпали, а остались соответствующие беззвучные P и T, то почему не отпала и C = g, а стала обозначать c (=k), несмотря на то, что в этрусском алфавите есть два других знака, K и Q, которые обозначают ту же фонему?

Теперь, однако, мы устанавливаем, что первоначальной фонетической значимостью знака, от которого происходят соответствующие финикийская, греческая и этрусская буквы, является ko или go. Следовательно, есть основание предполагать, что фонетическая значимость этрусско-латинской буквы C проистекает непосредственно из минойского письма. Таким образом, проблема происхождения этрусского алфавита является

---

[16] Минойское τ(τ) = t (t) из ие. tj, как, например, в критском (ὄττος = атт. ὅσος), беотийском и отчасти аттическом (ср. μέλιττα из *melitja); см. E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, стр. 320.

[17] См. E. Berneker, Slawisches etymologisches Wörterbuch, стр. 45 и сл.

[18] См. Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Госполитиздат, 1949, стр. 140. Исходя из правильного понимания развития человеческого общества, Энгельс мог установить верное происхождение слова König, тогда как многие языковеды, исходя из ненаучных, расистских положений, утверждают, что König значило первоначально «родовитый человек, человек благородного происхождения»; ср., например, F. Kluge — A. Götze, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 11-е изд., 1934, стр. 319.

[19] См. об этом V. Georgiev, Le déchiffrement des inscriptions minoennes, 1949, стр. 17.

в новом свете и тезис E. Vetter о том, что некоторые из этрусских надписей показывают явные следы более древнего слогового письма [20], приобретает новое значение.

Минойский знак представляет пиктограмму (впоследствии упрощенную) РОГАТЫЙ СКОТ, ВОЛ, КОРОВА = мин.* gō, позднее *kō = дор. βῶς «рогатый скот, вол, корова», кар. κῶς «скот» и пр. от ие. *gʷō(u)s [21].

В греческом (преимущественно у Гомера, редко у других авторов) встречается слово κειμήλιον, которое толкуется как «имущество (живой инвентарь); драгоценность, сокровище»; этимология его неизвестна. Это слово имеет догреческое происхождение: его первоначальной формой было *κω-μηλα от ие. *gʷō(u)-mēla мн. ч. буквально «рогатый скот и овцы (козы), (крупный и мелкий) скот». Это — сложное слово типа dvandva, как, например, древнеинд. ajāvayas «козы и овцы» (*aja-avayas), gāur aśvas «рогатый скот и лошади», pitāputrās «отцы и сыновья», гр. ἀρτόκρεας «хлеб и мясо» и пр.; см. K. Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, II, 1, стр. 58 и сл. Очень давно (вероятно, еще в догреческом языке) это непонятное слово было связано по народной этимологии с глаголом κεῖμαι «лежу», ср. особенно Od. II, 75: ὑμέας ἐσθέμεναι κειμήλιά τε πρόβασίν τε, где в сочетании с πρόβασις «(мелкий) скот», которое толковалось как «то, что идет вперед = προβαῖνον», κειμήλιον осмыслено как «лежащее (= недвижимое) имущество». Ср., например, Seiler — Capelle, Wörterbuch des Homeros und der Homeriden, 9-е изд., 1889, стр. 323: «κειμήλιά τε πρόβασίς τε, liegendes und gehendes Gut. β 75». Ср. и Il. VI, 47. Od. IV, 613: κειμήλια κεῖται. В сущности κειμήλια и πρόβασις — это первоначально два синонима.

Итак, под влиянием κεῖμαι «лежу» минойское слово *κωμηλα «(крупный и мелкий) скот, имущество» изменилось в *κειμηλα «(недвижимое) имущество»; κειμήλια n. pl., κειμήλιον n. sing. есть в действительности субстантивированное прилагательное κειμήλιος, производное от *κειμηλα.

В условиях первобытно-общинного строя, когда одной из самых больших ценностей, которыми может обладать человек, был скот, слово *скот* приобрело еще значение «драгоценность, сокровище». Семантическое развитие здесь приблизительно следующее: «скот > имущество, состояние, богатство > (драго)ценность, сокровище, деньги». Точные параллели для этих семантических изменений дают: слав. *скотъ* «рогатый скот», гот. skatts, древневерхненемецкое skaz «богатство, состояние», нем. Schatz «сокровище»; древнефризское sket «скот, деньги»; лат. pecus «скот», pecunia «богатство, состояние, деньги»; англо-саксонское feoh «скот», англ. fee «такса, вознаграждение, плата».

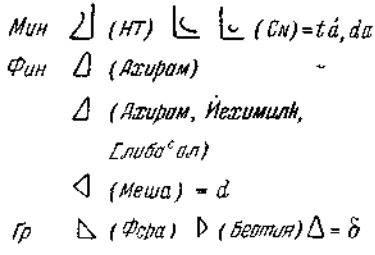
Следовательно, понятия «вол» и «скот» передавались минойскими словами *g/kō и *g/kōmēla, позднее *g/keimēla >*g/kḗmēla. Финикийцы восприняли минойский знак ВОЛ, СКОТ вместе с минойским словом, которое они осмыслили, как (евр.) gimel (gimel, gāmāl) «верблюд». Греческое название буквы γάμμα, γάμα, γέμμα, вероятно, воспринято от финикийцев.

Δ. Финикийская буква d и греческая Δ представляют дальнейшее развитие минойской пиктограммы ПЯТА (см. фиг. 4). Минойское слово звучало *tāla или *thāla; оно соответствует латинскому (этрусскому) слову tālus «пята». Финикийцы осмыслили это минойское слово в духе своего языка, изменив его в dalet (dāleth) «створка ворот». Греческое

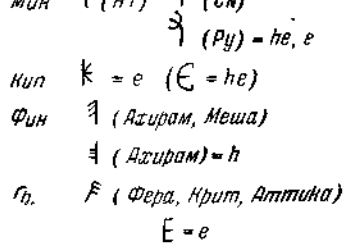
[20] «Glotta», XXIV, 1936, стр. 114 и сл. «Die Herkunft des venetischen Punktiersystems». см. особенно стр. 132 и сл.; XXVII, 1939, стр. 157 и сл.: «Etruskisches. Zur altetruskischen Silbeninterpunktion».

[21] См. Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft, 1941, стр. 90 и сл.

название δέλτα — ионийского (или ионийско-аттического) происхождения: через восстановление долгого гласного перед группой «плавный + взрывный» [22] оно восходит к более древнему * δᾱλτα < dāl(e)t.



Фиг. 4



Фиг. 5

E. Финикийская буква h и греческая E происходят от минойской пиктограммы БИЧ, КНУТ = he, e(i) = e из кипрского силлабария (см. фиг. 5)[23]. Как можно заключить из хеттского слова ishiman- «веревка» и (до)греческого ἱμάς, ἄντος «ремень, бич, кнут», соответствующее минойское слово *hēmā происходит от более древнего *hhēmā через ассимиляцию sh > hh от ие. *shei-man- (или -mon). Как хеттский, так и минойский (догреческий)[24] языки сохраняют индоевропейский ларингал, который исчез в других индоевропейских языках. Но так как в течение второй половины II тысячелетия до н. э. ларингалы начали постепенно исчезать в минойском языке, притом в различное время в разных догреческих диалектах,— *hēmā переходит в *ēmā (и *imā) и знак обладает фонетической значимостью he, e (и i). Финикийское название буквы hē представляет слоговую фонетическую значимость минойского знака. Греческое (ионийское) название εἶ = ē. В ликийском алфавите этот знак обладает фонетической значимостью i.

Y. Финикийская буква w и греческая Y представляют дальнейшее развитие минойской пиктограммы ЛЕТЯЩАЯ ПТИЦА = wa, u, в кипрском силлабарии = u (см. фиг. 6). Как можно заключить из хеттского слова wattaēs мн. ч. «птицы», минойское слово «птица» звучало *wat-. Непонятное чуждое слово было осмыслено финикийцами по народной этимологии как waw «гвоздь, клин».

Но греческая дигамма, которая стоит в алфавите на этом месте, по-видимому, не происходит от финикийской буквы, а, вероятно, заимствована прямо из минойской письменности: F = w (дальнейшее развитие минойского слогового знака ve).

Z. Финикийская буква z, греческая I, впоследствии Z = dz, zd, и этрусская z представляют упрощенные формы минойской пиктограммы ВОДА, РЕКА, ВОЛНА, МОРЕ = кипрскому знаку zo (см. фиг. 7). Минойское слово *zō «вода, река, волна, море»[25] = арм. cov «вода, море, озеро» было осмыслено по народной этимологии в zajin «оружие». Греческое название ζῆτα возникло под влиянием названий последующих букв ἦτα и θῆτα.

---

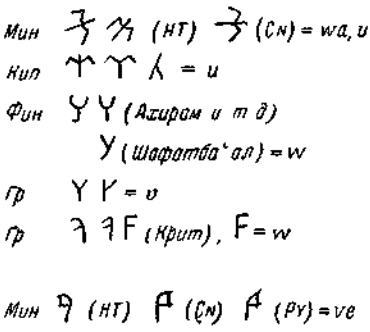
[22] См. об этом Schwyzer, Griechische Grammatik, I, стр. 279.

[23] См. G. Pugliese Carratelli, Le inscrizioni preelleniche di Haghia Triada in Creta e della Grecia peninsulare, фиг. 47, № 89.

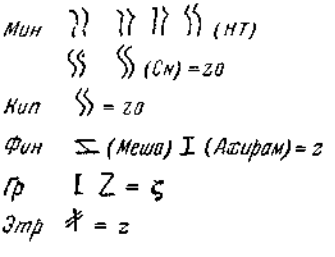
[24] Ср. догреческое слово ἰχώρ «кровь богов» = *ēhhōr, или *ehhōr, которое происходит путем ассимиляции sh > hh от ие. *ēshōr, ср. хетт. eshar «кровь».

[25] Минойское слово сродно с (до)греческим словом ζάω (Euph. fr. 3; Clem.) = ζάλη «бурное морское волнение; волна, море», см. ниже.

H. Финикийская буква ḥ и греческая H представляют минойскую пиктограмму ОГРАДА = ha (см. фиг. 8). Как можно заключить из хеттского слова ḫālis «ограда», минойское слово звучало *ḫāli «ограда». Под

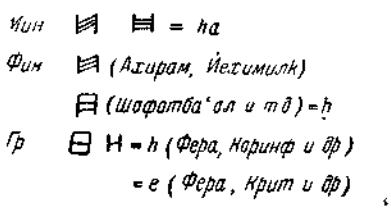


Фиг. 6

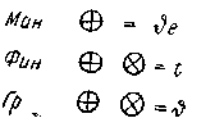


Фиг. 7

влиянием названия следующей буквы ṭēt чуждое имя было изменено финикийцами в ḥēt. То же произошло и с греческим названием ἦτα (более древнее ἥτα), которое было уподоблено θῆτα. Однако латинское ha, которое взято из этрусского, сохраняет более древнее слоговое значение минойского знака.



Фиг. 8



Фиг. 9

Θ. Финикийская буква ṭ и греческая Θ представляют минойскую пиктограмму КОЛЕСО, слоговая значимость которой — ϑe (см. фиг. 9). В финикийском и греческом названиях буквы ṭēt и θῆτα кроется минойское слово *θῆτ(τ)α = *thēt(t)a, сохранившееся в греческом религиозном языке как догреческий субстрат под ионической формой θῆσσα[26], «воз, повозка, в которой переносили статуи богов» (Plut. Cor. 25), откуда слово перешло и в латинский под формой tēnsa: tensam ait vocari Sinnius Capito vehiculum quo exuviae deorum ludicris circensibus in circum ad pulvinar vehuntur. Fuit ex ebore ut apud Titinium in Barbato, et ex argento[27]. Согласный n в латинском слове — вторичного происхождения. В (позднем) латинском часто является перед s неорганическое n, ср. надп. Onensimus = гр. Ὀνήσιμος, crenscens = crescens, mensens = menses, thensaurus = гр. θησαυρός, occansio = occasio, pariens = paries и др.[28] С другой стороны, непонятное чуждое слово *tēsa (или *tēza = *téća, если слово заимствовано из этрусского) было связано по народной этимо-

[26] От более древнего *θηΤα с Τ = c(ts) или ć.— Этим поправляю: Georgiev, Inscriptions minoennes quasi-bilingues, 1950, стр. 30 (не τροχος).

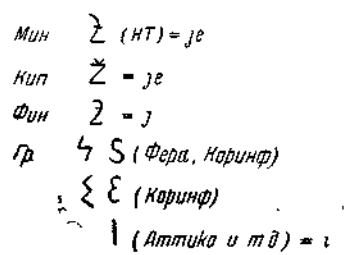
[27] Fest. 500.

[28] См. M. Leumann — J. B. Hofmann, Lateinische Grammatik. 1928, ср. 121 и сл.

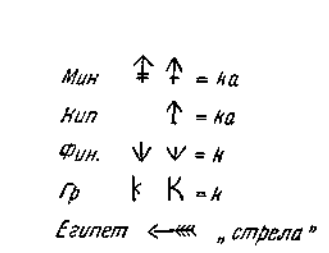
логии с латинским причастием в ж. р. tēnsa «натянутая» от глагола tendere «натягивать, (рас)простирать».

Слово *ϑῆτ(τ)α = ϑῆσσα означало «колесо», во мн. ч. «воз, колесница», как слав. *коло* «колесо» во мн. ч. *кола* «воз», лит. ratas «колесо» во мн. ч. rataĩ «воз», ср. еще лат. rota «колесо, воз», немецкое Rad «колесо» = = древнеинд. rathas, ав. raϑō «воз». Минойское слово *ϑητ(τ)α и догреческо-ионийская форма ϑῆσσα восходят через Lautverschiebung, который характерен для догреческого языка [29], к ие. *tēk-jə; kj > крит., атт. ττ, ион. σσ. Слово произведено от корня *tek- «бегу», древнеинд. takti, takati, ав. tačaiti «бежит, спешит, течет», древнеирл. techim «бегу, тороплюсь», лит. tekù «бегу, теку», древнеболг. текѫ «бегу» и др. В семантическом отношении ср. гр. τρέχω «бегу» и τροχος «колесо».

I. Финикийская буква j происходит от минойского знака je [30], которому соответствует в кипрском силлабарии знак je (см. фиг. 10). Греческая буква I в достаточной степени отличается от финикийской буквы,



Фиг. 10



Фиг. 11

но, вероятно, и она произошла от того же архетипа [31]. К сожалению, мы еще не знаем, какая пиктограмма кроется под минойским знаком. По всей вероятности, финикийское (еврейское) название jōd «рука» (и греческое ἰῶτα) есть семитизированная форма слоговой значимости знака je.

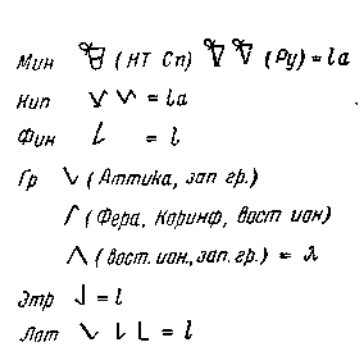
K. Финикийская буква k и греческая K происходят от минойской пиктограммы СТРЕЛА, КОПЬЕ, в кипрском силлабарии ka (см. фиг. 11). Минойский знак заимствован из египетского письма, ср. египетский знак СТРЕЛА [32]. С учетом семитизированного названия kaf «ладонь» и греческого κάππα можно заключить, что минойское слово звучало *kap(p)a или *kap(p)ha «стрела, копье»; оно произошло от ие. *kop(i)jo-m и идентично с древнеболг. *копьје* «копье» от ие. *kopijo-m, ср. и сербо-хорв. kòpljača «копье, стрела», греч. κοπίς «нож, меч» и пр. [33]

L. Финикийская буква l и греческая Λ происходят от минойской пиктограммы ВАЗА С РУЧКОЙ = в кипрском силлабарии la (см. фиг. 12). В финикийском (или еврейском) минойское слово было сближено по народной этимологии с malmad «жало». Финикийское (еврейское) название lamed и греческое λάβδα или λάμβδα происходят от минойского слова *labā = (до)греческому λαβή «ручка» (или *la(m)bad- = гр. *λαμβάς, άδ-ος, ср. λαμβάνω «беру, хватаю»).

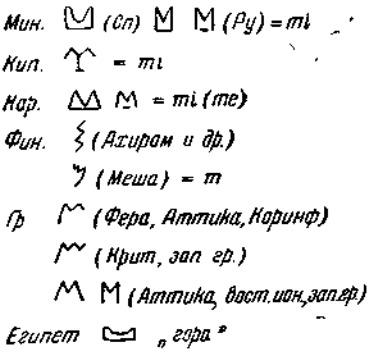
---

[29] См. об этом Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 70 и сл.
[30] См. Pugliese Carratelli, Указ. соч., фиг. 46. № 72.
[31] Хотя можно и предполагать, что греческая буква I есть упрощенная форма минойского знака i (= ER) из пилосских надписей.
[32] См. J. Sundwall, Der Ursprung der kretischen Schrift (Acta Ac. Aboensis, 1920), стр. 20.
[33] См. A. Walde — J. Pokorny, Vergleichendes Wörterbuch der idg. Sprachen, I, стр. 559 и сл.

M. Финикийская буква **m** и греческая **M** происходят от минойской пиктограммы ГОРА, ВЕРШИНА, ВЕРХ (см. фиг. 13). Минойская пиктограмма является подражанием египетской ГОРА. Минойское слово звучало



Фиг. 12

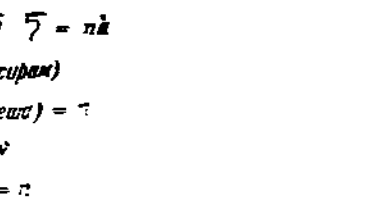


Фиг. 13

*minā от более древнего *menā[34] «вершина, гора», которое сродно с латинским (этрусским) словом minae мн. ч. «вершины» от не. *men-: лат. mōns «гора», древнебрет. monid, кимр. mynydd, корн. meneth, брет. menez «гора»[35].

Финикийцы осмыслили чуждое их языку слово по народной этимологии как mēm «вода» и поэтому знак был отчасти изменен (более близкой к первоначальной форме является буква из надписи Меши) и приближен к волнообразной линии, которая служила символом «воды» в древневосточном искусстве. Кроме того, буквы **m** и **n** оказали друг на друга взаимное влияние в отношении графики как в финикийском, так и греческом письме. Форма греческой буквы **M**, повидимому, восходит непосредственно к минойскому знаку, без влияния финикийской буквы.

N. Финикийская буква n, греческая **N** и этрусская n происходят от минойской пиктограммы НОС= nà (см. фиг. 14). В минойском слово зву-



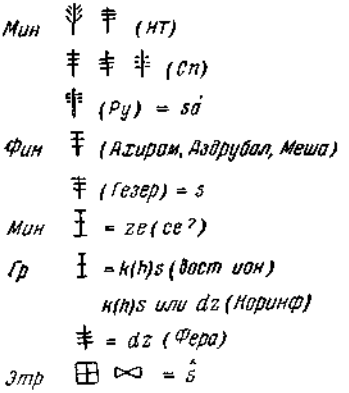
Фиг. 14

чало *nā «нос»=древнеинд. nās «нос», лат. nār-is «ноздря» и пр.[36] Минойское слово было осмыслено финикийцами (евреями) как nūn «рыба», однако соответствующее эфиопское название буквы — nahas. Греческое название νῦ, которое засвидетельствовано очень поздно, возникло, повидимому, под влиянием финикийского (еврейского?). По Евстафию II, 370, 15 и Фотию (см. под этим словом) у Демокрита название было νῶ: если допустим, что в карийском и лидийском языках долгое конечное ā изме-

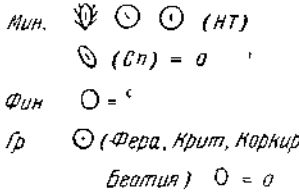
[34] Ие. en>догр. in, см. G e o r g i e v, Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 69.
[35] См. A. W a l d e — J. B. H o f f m a n n. Lateinisches etymologisches Wörterbuch, под словом mons.
[36] См. об этом ниже.

нялось в ō, как и в оско-умбрском, то ионийское название νῶ можно считать заимствованным из карийского или лидийского, где в таком случае минойское слово *nā̆ изменилось бы в *nā̆ = νῶ. Название предшествующей буквы μῦ, ион. (Демокрит) μῶ возникло под влиянием νῦ, ион. νῶ.

Ξ. Финикийская буква s (samech) происходит от минойского знака sá (см. фиг. 15). Минойский знак представляет пиктограмму ТРОСТНИК и похож на египетскую пиктограмму ТРОСТНИК. На основе финикийского (еврейского) названия буквы samech и (до) греческого слова σάμαξ, ακος «цыновка (рогожа) из тростника (natte de jonc)» [37] можно определить, что минойское слово



Фиг. 15



Фиг. 16

звучало *samak(h)- или *samek(h)- (тростник). Греческая буква имеет различную фонетическую значимость; кроме того, исключая о. Феры (=dz), везде эта буква является в форме Ξ = khs (восточноион.), = khs или dz (Коринф), в Этрурии = s̆. В сущности греческая (и этрусская) буква происходит от другого минойского знака, именно ze (će? UM; Hagia Triada, см. Pugliese Carratelli, указ. соч., фиг. 46, № 61; фиг. 61, № 37; Кносс), фонетическая значимость которого определенно не установлена. Греческое название буквы не имеет ничего общего с финикийским: ξεῖ = k(h)sē есть в сущности начальный слог минойского слова, вероятно (d)zē или ćē; в некоторых греческих областях этот знак употреблялся для обозначения k(h)s = ξ. Знак dz в надписях о. Феры — это, следовательно, только вариант Ξ, который случайно приблизился к минойскому знаку sá и финикийской букве s. Ср. также слоговой знак из карийского письма ⋕ = se.

О. Финикийская буква ʿ (ларингал) и греческая (этрусская) О происходят от минойской пиктограммы ГЛАЗ (см. фиг. 16). В минойском языке слово «глаз» звучало *ō = гр. ὄψ «глаз» от ие. *okʷs. Поскольку до сих пор считали, что греческие буквы должны выводиться из финикийских, было почти невозможно объяснить, как знак для финикийского ларингала ʿ обратился у греков в знак для гласной о. С другой стороны, ввиду того что до настоящего времени считалось, что названия греческих букв заимствованы всецело из финикийских, нельзя было дать какое-либо убедительное объяснение различию между финикийским названием ʿajin и греческим ŏ = ион. οὖ (= ō). Février пишет: «Pour une raison qu'on ignore, le O perdait son nom sémitique ʿayin»[38]. При нашем тезисе эти затруднения преодолены. Греческое название буквы ŏ (= μικρόν) [39] и ионий-

[37] Слово засвидетельствовано у Хионида (V в. до н. э.) и у Герона 1. — В семантическом отношении ср. болг. *рогоза, рогозка, рогозина* «цыновка» и русск. *рогожа*, которые происходят от *рогоз*, «Typha latifolia».

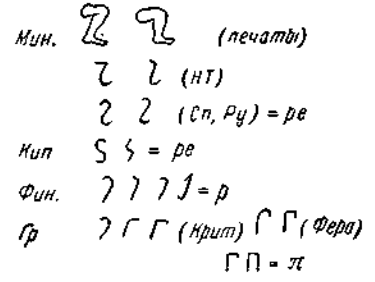
[38] Указ. соч., стр. 397.

[39] В более древних греческих надписях о означало о и ω.

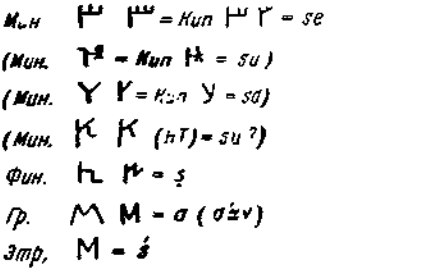
ское οὖ = ō̆ (долгое закрытое о) хорошо сохраняют минойское слово и фонетическую значимость соответствующего минойского знака. Так как «глаз» по-финикийски (по-еврейски) звучит ʿajin, то финикийцы дали знаку ГЛАЗ свое название и по принципу акрофонии он приобрел значимость ʿ (ларингал).

Итак, минойский язык имел, вероятно, только один ларингал h. Финикийский же как семитский язык имел четыре ларингала ʾ, ʿ, h и ḥ. Финикийцы использовали минойские слоговые знаки he и ha для обозначения своих ларингалов h и ḥ (последний знак служил и для обозначения семитского спиранта ḥ). Это распределение не случайно: h в he имеет более переднюю артикуляцию, чем h в ha. Для обозначения двух других финикийских ларингалов, для которых не находилось соответствия в минойском языке, были приспособлены знаки для гласных (слогов) *o* и *a*. Знак ГЛАЗ приобрел значение ларингала ʿ совсем естественно, так как финикийцы осмыслили минойское слово *ō «глаз» как ʿajin «глаз». Равным образом, и минойское слово *alēwā было осмыслено по народной этимологии как ʾalef «скот» и поэтому минойский знак для гласного *a* обозначает у финикийцев ларингал ʾ.

П. Финикийская буква p и греческая Π происходят от минойской пиктограммы НОГА[40]=pe (см. фиг. 17). Из финикийского названия pē и



Фиг. 17



Фиг. 18

греческого πσῖ (=pē) можно заключить, что минойское слово звучало *pē или *phē. Так как в минойском конечные согласные исчезали, минойское слово точно соответствует латинскому слову pēs, древнеиндийскому pāt «нога» и пр. от ие. *pēds.

М. Финикийская буква ṣ (ṣādē), из которой выводятся греческая буква σάν и этрусская ś, происходит, вероятно, от минойского знака se (более древнее śe?) = в кипрском силлабарии se (см. фиг. 18). Происхождение финикийского названия буквы не ясно ни с точки зрения семитских языков, ни с точки зрения минойского. Это не случайно, потому что ṣ представляет особую фонему, присущую семитским языкам, которая не находит соответствия в индоевропейском минойском языке. (Можно предполагать также, что финикийская буква представляет дальнейшее развитие минойского знака su из Hagia Triada[41] = в кипрском силлабарии su или же минойского знака sa = кипрскому sa. Во всяком случае мы еще не знаем значения всех минойских знаков. Так, например, в надписях из Hagia Triada встречается подобный знак[42], но мы не знаем его фоне-

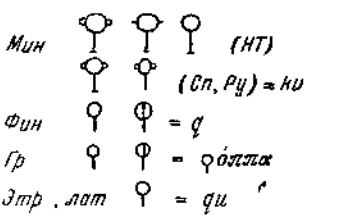
[40] См. Hrozný, Inscr. crét., стр. 49 и сл. и Pugliese Carratelli, Указ. соч., фиг. 48, № 94.

[41] См. варианты у Pugliese Carratelli, Указ. соч., фиг. 48, № 93 и фиг. 61, № 27.

[42] См. первые три знака и пятый у Pugliese Carratelli, Указ. соч., фиг. 48, № 97.

тической значимости.) Разница между финикийской и греческо-этрусской буквами большая: последняя похожа скорее на перевернутую šin = σίγμα. По тем же причинам неясно также и происхождение дорийского названия σάν [43].

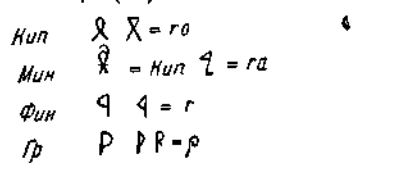
Q. Финикийская буква q и греческая ϙόππα происходят от минойской пиктограммы ГОЛОВА [44] = ku (см. фиг. 19). Из финикийского названия qof, греческого ϙόππα и латинского qu можно заключить, что минойское слово было *kuḫā или *k(h)upā = (до)греческому κύβη «голова». Финикийцы изменили минойское название по народной этимологии в qof «обезьяна».



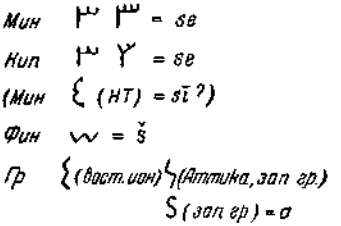
Фиг. 19

В финикийском языке было три эмфатических консонанта, которые не имеют соответствия в минойском языке, именно ṭ, q и ṣ. Для обозначения ṭ финикийцы восприняли минойский знак ϑe = the, так как th стоит ближе всего по произношению к финикийской фонеме. Для обозначения q они использовали минойский знак ku (или khu): перед u гуттуральный звук образовывался в самой задней полости рта, и эта фонема по звучанию была самой близкой к финикийской. Для обозначения ṣ они использовали минойский знак se (из более древнего ϲe?).

P. Финикийская буква *r* и греческая P происходят от минойской пиктограммы ЦАПЛЯ = в кипрском силлабарии ro (см. фиг. 20). Ср. также и минойскую пиктограмму ПТИЦА С КРИВЫМ КЛЮВОМ = в кипрском силлабарии ra. Еврейское (арамейское) название rēš, финикий-



Фиг. 20



Фиг. 21

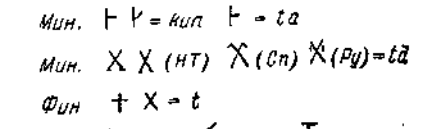
ское rōš «голова» — семитизированное имя минойского слова, которое соответствует (до)греческому ῥωιδιός «цапля». Греческое название ῥῶ — начальный слог минойского слова.

Σ. Финикийская буква š и греческая Σ происходят, вероятно, от минойского знака se = в кипрском силлабарии se (см. фиг. 21). Название šin толкуется как «зуб»: по-еврейски «зуб» — šēn, которое происходит от более древнего *šinu. Если действительно знак представляет пиктограмму ЗУБ(Ы), то можно предполагать, что минойское слово «зуб» звучало *ϲē(n) (ϲ = ts), *ϲi(n), *sē(n) или *si(n) от ие. *dēnts, *dents или *dn̥ts (ие. d > мин. t; ti, tē > мин. ϲi, ϲē, как и в хеттском языке, и позднее si, se; ие. ent > догр. inth; ие. n̥ > догр. un или in) [45], ср. лат. dēns, древнеинд. dan «зуб» и пр. Минойский знак, следовательно, имеет фонетическую значимость ϲē(ē) и ϲi и позднее sē и si. У финикийцев этот знак был использован для обозначения фонемы š по принципу акрофонии,

[43] Ср. Hdt. I, 139: τοῦτο γράμμα, τὸ Δωριέες μὲν σὰν καλέουσι, Ἴωνες δὲ σίγμα.
[44] Ср. Pugliese Carratelli, Указ. соч., стр. 472. № 62: «testa d'uomo».
[45] Об этих изменениях см. Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 59 и сл.

так как минойское слово по народной этимологии было осмыслено как šin «зуб». Однако в надписях из Hagia Triada встречается особый знак [46], фонетическая значимость которого неизвестна. Этот знак почти идентичен с греческой буквой Σ: финикийская буква находится в горизонтальном положении, так же как и мин. a = гр. A, но фин. ⊲. Упомянутый знак из Hagia Triada может иметь фонетическую значимость s- (или š-); в таком случае он является архетипом финикийской и греческой буквы.

Финикийский язык имел четыре сибилянта z, s, ṣ и š; последние два, а может быть и первый, не имели соответствия в минойском языке. Для z финикийцы использовали минойский знак zo (=dz-, ć- или z-), а греками минойский знак был использован для обозначения dz и zd=ζ. Для s финикийцы использовали минойский знак sá. Для š финикийцы использовали знак se (или sī) вследствие осмысления минойского слова šin «зуб». Минойский знак ze (= dze, će?) был использован греками для обозначения dz (Фера, Коринф) или для k(h)s (восточнопон., Коринф) = ξ; у этрусков он встречается редко для обозначения неизвестной фонемы, условно обозначенной знаком ś. Šin и ṣādē, вероятно, — варианты одного и того же минойского знака, подобно двум знакам в карийском алфавите W и Ψ, которые определяются как s и ṣ.



Фиг. 22

Т. Финикийская буква X (Ахирам, Шафатба'ал, Пехимилк, Елиба'ал, Меша), + (Ахирам, Шафатба'ал, Аздрубал) = t и греческая Τ происходят от минойского знака tà или же от минойского знака tä (см. фиг. 22). Финикийское название taw «знак» есть, вероятно, осмысленное по народной этимологии слоговое значение минойского знака. Если минойский знак надо толковать как «знак», то финикийское название taw представляет семитизированное минойское слово *t(t)āmu = гр. σῆμα «знак» от ие. *dhjāmn̥ [47], см. ниже. Греческое название ταῦ воспринято от финикийцев.

*

Из всего сказанного следуют такие результаты: все 22 финикийско-греческие буквы выводятся из минойско-кипрского силлабария (табл. I).

а) 10 финикийско-греческих букв идентичны с соответствующими минойско-кипрскими слоговыми знаками: A, B, Γ, E, H, Θ, I, Ξ, O, Q.

б) 10 финикийско-греческих букв подобны соответствующим минойско-кипрским слоговым знакам: Δ, Ϝ, Z, K, Λ, M, N, Π, P, T.

в) Только две финикийские буквы ṣādē и šin представляют известные трудности, но и они могут быть выведены из минойско-кипрских образцов. Это не случайно: они означают две фонемы, которые не существовали в минойском языке.

Но не только сами финикийско-греческие буквы, — их названия также указывают на их минойское происхождение: это имена предметов, выраженные соответствующими минойскими пиктограммами. Они были только отчасти, в большей или меньшей мере, семитизированы (табл. II, стр. 64).

а) Минойское происхождение 12 названий очевидно, так как они весьма легко определяются как минойские (= догреческие) слова и по

[46] См. Pugliese Carratelli, Указ. соч., фиг. 61, № 56 и фиг. 46, № 66.

[47] Сочетание dj переходит как в минойском, так и в критском греческом диалекте в tt = ττ; ср. крит. Ττῆνα = Ζῆνα.

ТАБЛИЦА I

Минойские знаки		Кипрские знаки		Финикийские буквы		Греческие буквы	
	a				*ɔ*	A	*α*
	ba, pá				*b*	B	*β*
	go, ko		*ka*		*g*		*γ*
	tá, da				*d*		*δ*
	he(e)		*e*		*h*		*ε*
	wa(u)		*u*		*w*		*υ*
	za		*za*		*z*	I Z	*ς*
	ha				*ḥ*	H	*η*
	ϑe				*ṭ*		*ϑ*
	je		*je*		*j*		*ι*
	ka		*ka*		*k*	K	*κ*
	la		*la*		*l*		*λ*
	mi		*mi*		*m*		*μ*
	nà				*n*	N	*ν*
	sá; ze				*s*		*ξ*
	o				*ʿ*		*o*
	pe		*pe*		*p*		*π*
;	*se, sa*	;	*se; sa*		*ṣ*		*σάν*
	ku				*q*		*κόππα*
;	*ra, ra*	;	*ra; ra*		*r*		*ρ*
;	*si*[1] *se*		*se*		*š*		*σ*
;			*ta*		*t*		*τ*

[1] Карийские знаки

своему фонетическому составу вполне соответствуют финикийско-греческим названиям:

*alĕwā = (до)гр. ἀλή, «убежище», фин. ʾalef, гр. ἄλφα.

*bāt(t)a = догр. βᾶττος «царь», фин. bēt, гр. βῆτα.

*kō или *gō = дор. βῶς «вол, корова, скот» и *g / kōmēla, *g / kē̆mēla «скот, имущество», ср. (до) гр. κειμήλιον «имущество, сокровище», фин. gimel (gīmel, gāmāl), гр. γάμμα, ион. γέμμα, этр. — лат. ce.

*tāla или * thāla = лат. tālus «пята», фин. dālet, гр. δέλτα.

*thēt(t)a = * ϑητ(τ)α = ион. (догр.) ϑῆσσα «воз», фин. ṭēt, гр. ϑῆτα.

*kap(ph)a = древнеболг. *копье* «копье», фин. kaf, гр. κάππα.

*labā = (до)гр. λαβή «ручка», фин. lamed, гр. λά(μ)βδα.

*minā или *menā = лат.(этр.) minae «вершины», фин. mēm (гр. μῦ).

ТАБЛИЦА II

Происхождение названий букв

Минойские слова	Соответствия и значения	Названия фин.-евр.	Букв. греч.
alĕwā «убежище, шалаш, хижина, палатка»	(до)гр. ἀλέη «убежище»	ʾalef	ἄλφα
bă̆t(t)a	догр. βάττος «царь»	bet (bēt)	βῆτα
gō > kō	дор. βώς «рогатый скот, вол, корова», кар. κῶς «скот» [ие. *gʷō(u)s]		
g/kōmēla	(до)гр. κειμήλιον «(скот), имущество,		
g/kḗmēla	сокровище»	gimel	γάμμα, се
t(h)āla	лат. tālus «пята»	dālet	δέλτα
hḗmā	хет. ishiman- «веревка», (до)гр. ἱμάς «ремень, бич»	hē	εἶ
wat-	хет. wattaēs мн. ч. «птицы»	waw	(ῦ)
zō	арм. cov «вода, море, озеро»	zajin	ζῆτα
hă̆li	хет. hă̆lis «ограда»	ḥēt	ἦτα, ha
thēt(t)a	догр. *θῆτ(τ)α «колесо», мн. ч. «воз» =и он. (до)гр. θῆσσα «воз»	ṭēt	θῆτα
je	?	jōd	ἰῶτα
kap(ph)a «сгрела, копье»	древнеболг. копьје «копье»	kaf	κάππα
(ие. *kopjo-m)	(ие.*kopijo-m), гр. κοπίς «нож, меч»		
labā	(до)гр. λαβή «ручка»	[illegible]	λά(μ)βδα
mīnā	лат. (этр.) mīnae мн. ч. «верхи, вершины»	mēm	μῦ, μῶ
nā	древнеинд. nā́s «нос», лат. [illegible]-ēs мн. ч. «ноздри»	nūn	νῦ, νῶ
samak(h)- «тростник»	(до)гр. σάμαξ,ακος «цыновка (рогожа) из тростника»	samech	ξεῖ
ō	гр. ὤψ «глаз»	ʿajin	ὄ, οὖ
pē > phē	лат. pēs «нога»	pē	πεῖ
s-	?	ṣādē	σάν
k(h)ubā или kup(ph)ā	(до)гр. κύβη «голова» [или лат. [illegible]ctr.) cuppa «стакан»]	qof	qόππα, qu
rō-	(до)гр. ῥωιδιός «цапля»	rēš	ῥῶ
ći(n), si(n)?	лат. dēns «зуб»	šin	σίγμα
(t)āmut?	гр. σῆμα «знак»	taw	ταῦ

*samak(h)-«тростник» = (до)гр. σάμαξ «рогожа из тростника», фин. samech.

*ō = гр. ὤψ «глаз», гр. ὄ, οὖ (= ō); фин. ʿajin (семитизированное слово).

*pē или *phē = лат. pēs «нога», фин. pē, гр. πεῖ (= pē̃).

*kubā (или *khupā) = (до)гр. κύβη «голова», фин. qof, гр. κόππα, этр.-лат. qu.

б) Также несомненно минойское происхождение шести названий, хотя фонетический состав минойских слов не соответствует полностью этим шести финикийско-греческим названиям. Нужно предполагать, что причина различий лежит в сильном семитизировании минойских слов.

*hēmā = гр. ἱμάς «ремень, бич», фин. hē, гр. (ион.) εἶ (= ē̃).

*wat- = хетт. wattaēs мн. ч. «птицы»; фин. waw.

*zō = арм. cov «вода, море, озеро»; фин. zajin, гр. ζῆτα.

*hăli = хетт. hălis «ограда»; фин. ḥēt, гр. ἦτα (ἧτα), этр.-лат. ha.

*nā = древнеинд. nās «нос»; фин. nūn, эфиоп. nahas, гр. νῦ, ион. νῶ.

*rō = (до)гр. ῥωιδιός «цапля»; фин. (арам.) rēš, гр. ῥῶ.

в) Минойское происхождение двух названий возможно, но не бесспорно:

*ćē(n), *ći(n), *sē(n) или *si(n) = лат. dēns «зуб» (?); фин. šin = = гр. σῖγμα (σίγμα).

*t(t)āmu = σῆμα «знак»; фин. taw, гр. ταῦ.

г) Остаются неизвестными минойские названия только двух букв:

фин. jōd, jaud, эфиоп. jaman, гр. ἰῶτα;

фин. ṣādē, гр. σάν.

III. Нынешнее состояние дешифровки минойских знаков

Разрешение проблемы происхождения алфавита целиком зависит от результата дешифровки минойской письменности. Именно поэтому здесь ставится вопрос: какие данные имеются для определения фонетической значимости минойских знаков? Рассмотрение этого вопроса необходимо, так как в сущности наш тезис имеет значение не только для происхождения финикийского письма, но и для окончательного установления фонетической значимости минойских знаков.

Представление о минойском языке нам дают, прежде всего, дешифрованные минойские надписи, а вместе с тем и догреческие элементы в греческом языке. Минойский язык близок к другим эгейским индоевропейским языкам — иероглифическому «хеттскому», лувийскому, клинописному хеттскому (неситскому), палайскому, этрусскому, лидийскому, ликийскому и карийскому. Следовательно, на основе данных этих языков можно до известной степени реконструировать минойский язык.

Самыми характерными чертами фонетической структуры минойского языка являются следующие:

1. Ие. ō переходит в a. Однако ие. ō сохраняется как ō (долгое закрытое o), которое близко к ū и в некоторых поздних диалектах переходит в ū. Минойский же гласный ē (долгое закрытое e) близок к ī.

2. Дифтонги монофтонгизируются: ai > ei > ē (i), au (eu) > ō (ū).

3. Ие. r̥, l̥, m̥, n̥ переходят в ur, ul, (или ru, lu, ir, il, un, um).

4. Ие. p, t, k переходят в ph, th, kh (слабо аспирированные); ие. b, d, g переходят в p, t, k; ие. bh, dh, gh переходят в b, d, g (Lautverschiebung).

5. Ие. лабиовелярные делабиализируются: ие. k^w, g^w, gh^w > kh, k, g.

6. Индоевропейский ларингал h сохраняется, но во второй половине II тысячелетия до н. э. обнаруживает тенденцию к исчезновению.

7. Конечные согласные исчезают [48].

8. Консонантные группы упрощаются через ассимиляцию (kt, pt, st > > (t) t; sh > h) или при помощи эпентетических гласных (например, ие. *tri- > *thiri-).

9. Сочетания «гласный + носовой + взрывный согласный» переходят в сочетания «носовой гласный + взрывный согласный».

Представление о минойском письме нам дает кипрский силлабарий, который представляет более позднюю ступень развития минойского письма. Минойское письмо — слоговое: каждый знак отмечает гласный или сочетание «согласный + гласный», например a, la, re, si и пр. Так как в минойском языке есть только открытые слоги, как в праславянском и долитературном армянском языке, то эта письменная система вполне подходит к этому языку.

Кипрский силлабарий не делает различия между глухими, звонкими и придыхательными взрывными согласными: знак ⊢, например, означает ta, da или tha. Причина этого следующая. В первой половине II тысячелетия в минойском языке наступает коренное изменение взрывных согласных, известное под именем Lautverschiebung: глухие согласные переходят в глухие придыхательные, звонкие в глухие, а звонкие придыхательные в звонкие приблизительно так, как в армянском и германских языках. Этот процесс совершился постепенно в течение долгого времени. В этот период обнаруживаются колебания фонетической значимости минойских знаков. Так, например, слог, выраженный пиктограммой (РОГАТЫЙ) СКОТ. звучал первоначально go, а позднее ko; слог, выраженный пиктограммой НОГА, — первоначально pe, а позднее phe. Это обстоятельство дает возможность употреблять знаки, которые обозначают «взрывный согласный + гласный» как звонкие, глухие и глухие придыхательные согласные такой же артикуляции. Такого рода явление наблюдается как в иероглифическом «хеттском» письме, так и в хеттской клинописи, а также и в письменных памятниках древневерхненемецкого языка, в котором имел место подобный Lautverschiebung [49].

Кипрское слоговое письмо, сохранившиеся памятники которого датируются с VII по IV в. до н. э., происходит от минойского слогового письма. Следовательно, самым важным аргументом фонетической значимости минойского знака является его идентичность со знаком из кипрского силлабария. Возражение, что между самыми поздними минойскими письменными памятниками, которые датируются XII—XI вв. до н. э., и самыми древними кипрскими письменными памятниками, которые датируются VII в. до. н. э., существует интервал около пяти веков, неосновательно. Нет сомнения, что в течение этих пяти веков минойское письмо претерпело известные изменения; переменился отчасти и минойский язык (или диалект), на котором написаны кипрские надписи, что получило известное отражение в фонетической значимости отдельных знаков; нужно предполагать и областные различия в употреблении известных знаков, как в отношении их графики, так и их фонетического значения. Но все же, в общей сложности, минойские знаки, которые идентичны или подобны кипрским, имеют (приблизительно) одинаковую фонетическую значимость. Ошибки, которые возможны, если мы примем это принципиальное положение, окажутся незначительными.

---

[48] Конечные согласные исчезли и в греческом языке за исключением ν, ρ и ς. Однако в кипрском греческом диалекте исчез и конечный ς (минойский субстрат!), ср. F. Bechtel, Die griechischen Dialekte, I, стр. 420 и сл.

[49] Об этом см. Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 71.

Читать минойский текст при помощи кипрского силлабария — это приблизительно то же, что читать греческий текст V в. до н. э. при помощи латинской азбуки начала императорской эпохи. Применяя такой эксперимент, устанавливаем следующее: одиннадцать греческих букв идентичны с латинскими (A, B, E, Z, I, K, M, N, O, T, Y). Три греческие буквы могут быть определены как сходные с латинскими (Σ, Δ и до некоторой степени Γ, для которой будет допущена известная ошибка: k вместо g). Три буквы могут ввести в заблуждение, так как имеют иную фонетическую значимость в греческом языке (H, P, X). Семь букв остаются неизвестными (Θ, Λ, Ξ, Π, Φ, Ψ, Ω). При таком положении, несмотря на возможность известных ошибок, нам все же удастся читать безошибочно большое число греческих слов.

Следовательно, кипрский силлабарий чрезвычайно важен для дешифровки минойских надписей. К тому же для определения фонетической значимости минойских знаков мы располагаем, кроме кипрского силлабария, еще и другими самыми разнообразными данными.

Близкую параллель развитию минойского письма представляют собой египетская и шумерская письменности, которые раскрывают наиболее типичные пути развития письменности вообще.

Египетское письмо засвидетельствовано еще с IV или даже с V тысячелетия до н. э. Первоначально оно было пиктографическим: каждый предмет представлен своим образом, каждая пиктограмма обозначает слово. Позднее из этого пиктографического письма развиваются обозначения для согласных. Осуществление передачи отдельных согласных представляет долгий процесс. В результате согласные передаются при помощи слов, корень которых содержит только одну согласную. Так, например, египетская пиктограмма ЩЕКОЛДА обозначает согласный S, потому что соответствующее египетское слово состоит из согласного S [50]. Хотя египтянам при помощи этого способа и удалось еще в начале III тысячелетия до н. э. выделить единичные согласные в словах, все же они не смогли выработать консонантное письмо, к которому пришли впоследствии другие народы. И в дальнейшем египтяне продолжают прибегать к принципу идеографии, используя сочетание истинных идеограмм (пиктограмм) и знаков для обозначения согласных.

Подобным же путем развивалась и шумерская письменность с тем отличием, что, ввиду особенностей структуры шумерского языка, этот путь развития привел к слоговому письму. Сначала шумерское письмо было пиктографическим. Впоследствии, ввиду особенностей материала, которым пользовались для писания — мягкие глиняные плитки, на которых писали острием,— пиктограммы видоизменяются в клинообразные идеограммы. В шумерском языке было много односложных слов. С течением времени идеограммы односложных слов начали постепенно обозначать уже не самые слова (понятия), а только соответствующий слог, т. е. фонетический состав слова, так они превращаются в л о г о г р а м м ы.

Таким же путем происходило и развитие минойского письма. Его начальным этапом является пиктография. Сначала оно развивается под благотворным воздействием египетской письменности. Минойские пиктограммы ГЛАЗ, ГОЛОВА, ГОРА (ВЕРШИНА), ДОМ, КОРАБЛЬ, КОСА ЛИСТ, ЛУНА, НОГА, ПТИЦА, РУКА, СКОТИНА, СОХА, СТРЕЛА, ТРОН, УБЕЖИЩЕ подобны египетским [51]. С течением времени первоначальные пиктограммы, образы предметов, постепенно упрощаются, ча-

[50] См. F é v r i e r, Указ. соч., стр. 127.

[51] См. E v a n s, Scripta Minoa, I, стр. 239 и сл.; S u n d w a l l, Der Ursprung der kretischen Schrift; C h a p o u t h i e r, Les écritures minoennes du palais de Mallia, стр. 64 и сл.

стично превращаются в идеограммы, символы предметов. Но все же минойское письмо было крайне консервативно: до конца микенской эпохи большинство знаков, несмотря на известное упрощение и стилизацию, довольно хорошо сохранило очертания первообраза. Этот факт оказывает очень существенную помощь при установлении фонетической значимости знаков.

Постепенно минойская письменность, подобно шумерской, переходит от пиктографии к слоговому письму. Этому особенно благоприятствовала фонетическая структура минойского языка. В III или в первой половине II тысячелетия до н. э. минойский язык развивается в язык открытых слогов. Это значит, что в развитии этого индоевропейского языка группы согласных были упрощены (некоторые сочетания согласных получили вставные гласные), сочетания «гласный + носовой» перед согласным или в конце слов перешли в носовой гласный, конечные согласные исчезли, дифтонги были монофтонгизированы (как и в праславянском).

Прежние пиктограммы, которые первоначально означали отдельные слова (понятия), постепенно приобрели значение слогов. К этому вели два пути: путь о д н о с л о ж н ы х слов и принцип а к р о ф о н и и.

1. Следующие о д н о с л о ж н ы е с л о в а приобрели значение слогов, превратились в л о г о г р а м м ы:

ДВОЙНАЯ СЕКИРА = e (IG) [52]. Двойная секира — символ верховного бога минойцев. Слово «бог» по-минойски первоначально звучало *ais = этр. ais, позднее eis «бог». Ввиду того что к концу III или началу II тысячелетия до н. э. конечные согласные исчезли, а в первую половину II тысячелетия до н. э. дифтонг ai перешел в ei и затем в ē (в этрусском тоже ai>ei>ē), пиктограмма ДВОЙНАЯ СЕКИРА приобретает последовательно значение ai>ei>ē [53]. К середине II тысячелетия этот знак употребляется уже и для обозначения ē.

ГЛАЗ =o (EM). «Глаз» по-минойски *ō от ие. *ōk^{w}s = гр. ὤψ «глаз».

УХО = u (UF). Слово «ухо» по-минойски звучало *ū или *u; оно происходит от более древнего *aus или *us, ср. древнеболг. uš-i дв. ч. «два уха» от *aus-ī, ав. uš-i дв. ч. «два уха» от ие. *us-ī. Пиктограмма представляет ГОЛОВУ КОШКИ С ДВУМЯ УШАМИ.

НОС = nà (OM). «Нос» по-минойски *nā = древнеиснд. nās «нос», лат. nār-ēs «ноздри» от ие. *nās.

КОРАБЛЬ = nā (IZ). «Корабль» по-минойски *nā = дор. νᾶς «корабль» от ие. *nā(u)s.

МЕСЯЦ (ЛУНА) = mē (AQ). Слово «месяц, луна» по-минойски звучало *mē = гр. μήν «месяц» от ие. *mēns.

МЫШЬ (?) = mu (ID). «Мышь» по-минойски *mū = гр. μῦς, лат. mūs «мышь». Но знак может представлять также МУХА, ср. гр. μυῖα, лат. mus-ca «муха».

НОГА = pe (AZ). Слово «нога» по-минойски звучало *pē, позднее *phē = лат. pēs «нога». Пиктограмма НОГА встречается в некоторых минойских печатях, позднее, в линеарных системах A и B она упрощена, см. выше фиг. 17.

РУКА = ke (EN). «Рука» по-минойски *gē от ие. *ghesr = гр. χείρ, хетт. kessar «рука». Относительно обозначения ke (и khe) через ge см. выше.

СКОТИНА (ВОЛ, КОРОВА) = kō (OT). Слово со значением «скотина, вол, корова» сначала звучало *gō и позднее *kō = дор. βῶς «скотина, вол,

---

[52] Транслитерация минойских знаков двумя буквами дана по системе M. V e n t r i s, The languages of the Minoan and Mycenaean civilizations, 1950; см. табл. III.

[53] См. G e o r g i e v, Inscriptions minoennes quasi-bilingues, стр. 17.

корова» от ие. *g^{w}ō(u)s. Знаки kò (OJ), ko (OU) и kó (OI) представляют упрощенные формы знака kô (OT) = СКОТИНА.

СВИНЬЯ = su (OS). «Свинья» по-минойски *sū = догреческ. σῦς, гр. ὗς, лат. sūs «свинья». Пиктограмма «свинья» выражается СВИНОЙ ГОЛОВОЙ.

ВОДА (РЕКА, ВОЛНА) = zo (EB). Слово «вода, река, (морская) волна, море», выраженное идеограммой РЕКА (ВОЛНА), звучало по-минойски *zō = арм. cov «вода, море, озеро».

II. Другой путь, которым достигается обозначение слогов, представляет акрофонический принцип. Вместо обозначения целого слова, известные пиктограммы начинают употребляться для обозначения начального слога соответствующего минойского слова. Поводом к этому послужили пиктограммы односложных слов, которые постепенно обратились в знаки соответствующих слогов. Так возникли в минойском письме следующие слоговые знаки:

a (АК) = мин. *alēwā «убежище, хижина, палатка» = догреч. ἀλέη, см. выше.

he, e (ОС = ПЛЕТЬ, БИЧ) = мин. *hēmā, позднее *ēmā, ср. догр. ἱμάς «ремень, бич», хетт. ishiman- «веревка, бечевка» от ие. *sheimon-, см. выше.

i (ER = КОЗЬЯ ГОЛОВА), ср. догр. ἴξαλος «козел, коза» (или РЫБА, ср. гр. ἰχθύς «рыба»?).

ja (Carr. B 68 = СВОДЧАТЫЙ ВХОД, ПРОХОД), ср. лат. iānus «сводчатый проход».

wa (u) (ES = ЛЕТЯЩАЯ ПТИЦА), ср. хетт. wattaēs мн. ч. «птицы».

va (OK = СНОП), мин. *wal(l)a = гр. ὄλος «сноп» от ие. *wolno-s или *wolso-s. Минойский знак подобен египетскому знаку СНОП, см. Février, цит. соч., стр. 126, фиг. 31. Минойский знак подобен также и иероглифическому «хеттскому» знаку wá, ср. P. Meriggi, Athenaeum, XXIX, 1951, стр. 32.

ve (IW = СОХА)[54] мин. *wēn(n)i «соха, лемех» от ие. *wegh-sni-s, ср. догр., ὄννις «лемех» от ие. *ughsni-s, древнепрус. wagnis «лемех» от ие. *wogh-(s)nis, лат. vōmis «лемех», гр. ὀφνίς· ὄννις, ἄροτρον (Hes.) (вместо *ὀχνις с -χν- от ghsn по ὄφατα· ἔσπροι· ἀρότρων, что происходит от ие. *wobh-n- и сродно с древнеинд. ubhnati «связывает» и пр.[55]) от ие. *wegh- «двигаю, тяну, влеку»[56].

ra (OG = ПТИЦА С КРИВЫМ КЛЮВОМ), ср. (до)гр. ῥάμφος «(кривой) клюв».

ro (EV = ЦАПЛЯ), ср. (до)гр. ῥωιδιός «цапля».

la (IL = ВАЗА С РУЧКОЙ), ср. догр. λαβή «ручка», см. выше.

ma [OH = ТОПОРИК (МОТЫГА) С БАНТИКОМ, предмет культа] ср. (до)гр. μάκελλα «мотыга», μάκελλα Διός «молния».

me (AM = МЕГАРОН), ср. (до)гр. μέγαρον «большой дом, большой зал, дворец».

mé (IF = ПЧЕЛА), ср. гр. μέλιττα «пчела».

mi (OF = ГОРА. ВЕРШИНА), ср. лат. (этр.) minae «вершины».

pa (AD = ЩЕКОЛДА), ср. мин. *pa(n)dala > гр. μάνδαλος «щеколда», см. Georgiev, Inscriptions minoennes quasi-bilingues. стр. 51 и сл.

---

[54] См. Sundwall, Über Schilf- und Baumkult in den Hagia Triada Urkunden (Acta Ac. Aboensis, 1943), стр. 5 и сл. V. Georgiev, Le déchiffrement des inscriptions minoennes, стр. 18, ошибочно отнесено к АК.

[55] См. Walde — Pokorny, Vgl. Wb., I. стр. 257: ие. *webh-.

[56] См. там же, стр. 249.

pá (IK = ТРОН + СКИПЕТР), ср. догр. βάττος «царь» и βασιλεύς «царь», см. выше.

pi (AF″ = ОТРОСТОК), ср. гр. φῖτυ «отросток».

pù (EJ, EK = ЛИРА), ср. догр. φόρμιγξ «лира».

pú (EW = ЛИСТ), ср. гр. φύλλον «лист».

pü (IN = КОСА), ср. догр. πύλιγγες· οἱ ἐν τῇι ἑδραι τρίχες· καὶ ἴουλοι, βόστρυχοι, κίκιννοι (Hes). Минойский знак идентичен с египетским знаком КОСА.

tá (IJ = ПЯТА), ср. лат. tālus «пята», см. выше.

tà (AB = ЗНАК?), мин. *t(t)āmu = гр. σῆμα «знак», см. выше.

te, té (EF, ED = ДЕРЕВО), ср. гр. δένδρον «дерево».

ϑe (AX = КОЛЕСО), ср. (до)гр. ион. ϑῆσσα «воз», см. выше.

ti (EG = ТРЕЗУБЕЦ), ср. (до)гр. ϑρῖναξ «трезубец», см. выше.

ka (AH = СТРЕЛА, КОПЬЕ), ср. древнеболг. копьје «копье», см. выше.

ku (EL = ГОЛОВА), ср. догр. κύϑη «голова», см. выше.

ha (AR = ОГРАДА), ср. хетт. ḫālis «ограда», см. выше.

В данное время остается невыясненным, какие предметы представляют следующие минойские слоги:

ru, ri (AH).

le (?) (AS).

na (AG) и ná (IS), вероятно варианты слога nà (OM).

po (AP).

pu (EH), вероятно вариант слога pù (EJ, EK).

ta (EZ).

tā (IB).

tä (EX).

ti/u (AJ).

to (OD).

tó (AG″).

tu (Carr. 82).

sa (UB).

si (AL).

so (IC).

su (IP).

he (Carr. 72).

Относительно следующих минойских знаков можно предполагать, какие предметы они представляют, но неизвестно соответствующее им минойское слово:

lu (EQ) = ПОЛОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК, ЖЕНСКИЙ ПОЛ, см. H r o z n ý, Les inscriptions crétoises, стр. 132.

ńe (ni) (AV) = ДВЕРЬ, см. S u n d w a l l, Der Ursprung der kretischen Schrift (Acta Ac. Aboensis, 1920), стр. 7 и 19, № 15.

ti/ī (IX) = ПАЛКА (с набалдашником) (?), см. S u n d w a l l, цит соч., стр. 8 и 19, № 22.

Омофония некоторых минойских знаков, примером которой могут служить четыре знака для na (na, nà, ná, nā), имеет параллели во всех подобных письменных системах. Так, например, иероглифический «хеттский» силлабарий имеет по четыре различных знака для a (a. ā, á, à) и ta (ta, tá, da, tà), по три различных знака для nu (nu, nù, nú) и si (si, śi, śi), по два различных знака для wa, ha, pa, na, la и др.[57] Гораздо реже наблюдается полифония (поливалентность) некоторых минойских знаков, например ri/u = ru и ri, ti/ī = ti и te, ti/u = ti и tu. Эти особенности минойских знаков, вероятно, вызваны такими фонетическими осо-

[57] См. P. M e r i g g i, Athenaeum, XXIX, 1951, стр. 32. Обозначения по Meriggi.

бенностями минойского языка, как, например, переход u>ü>i, ē>i, обозначение кратких и долгих гласных, носовых гласных и т. п.

Фонетическая значимость минойских знаков устанавливается на основе следующих принципов:

1. Идентичность или подобие знакам кипрского силлабария (и силлабическим знакам карийского письма).

2. Идентичность или подобие финикийско-греческим буквам.

3 Параллели из иероглифического «хеттского» силлабария и других сходных письменных систем.

4. Комбинаторные соображения на почве данных из минойских надписей.

5. Логография, т. е. идентичность фонетической значимости знака со словом, которое обозначает предмет, выраженный пиктограммой (идеограммой), например ГЛАЗ = o = мин.*ō «глаз».

6. Акрофония, т. е. идентичность фонетической значимости знака с начальным слогом слова, обозначающего предмет, выраженный пиктограммой (идеограммой), например ВАЗА С РУЧКОЙ = la = мин.*labā = = догр. λαβή «ручка».

7. Этимолого-комбинаторные соображения.

Фонетическое значение минойского знака может считаться твердо установленным только в том случае, если оно основывается по крайней мере на трех из этих принципов. Оно проверяется путем чтения разнообразных слов, смысл которых ясен [58].

Вообще на основании самых разнообразных комбинаторных и этимологических соображений до настоящего времени (1 декабря 1951 г.) положение относительно установления фонетического значения минойских слоговых знаков следующее. См. табл. III (стр. 66).

К н о с с. Согласно Ventris[59], число слоговых знаков в надписях с Кносса доходит до 81. Эти слоговые знаки по степени достоверности определенной им фонетической значимости распределяются следующим образом:

Фонетическая значимость 29 знаков достоверна или весьма вероятна: AB = tà, AC = lo, AD = pa, AF = sá, AG = na, AH, AH'' = ka, AJ = ti/u, AK = a, AL = si, AP = po, AX = ϑe, AZ = pe, EB = zo, EF = te, EJ = pù, EL = ku, EN = ke, EP, EP'' = se, ES = wa(u), IG, IG'' = e, IJ = tá, IK = pá, IL = la, IX = ti/ē, OG = ra, OJ = kò, OK = va, OM = nà, OT = kô.

б) Фонетическая значимость 29 знаков вероятна: AM = me, AN = ru/i, AR = ha, AV = ne, AW = vá, AY = mo, ED = té, EG = ti, EH = pu, EM = o, EQ = lu, ER = i, EV = ro, EW = pú, EZ = ta, IB = tă, ID = mu, IF = mé, IP = su, IQ = ró, IW = ve, IZ = nā, OC = he, e, OD = to, OF = mi. OH = ma, OI = kó, OS = sū, OU = ko.

в) Фонетическая значимость шести знаков с о м н и т е л ь н а: EX = = tā, EY = tā', IC = so, IN = pū, IS = ná, OZ = su.

г) Фонетическая значимость 17 знаков н е и з в е с т н а: AT. EC, ET, IH, IM, IR, IT, IV, IY, OB, OL, ON, OP, OQ, OR, OV, OX.

П и л о с. Согласно Bennett, насчитывается всего 78[60] слоговых знаков, употребленных в надписях из Пилоса. Эти 78 знаков относительно достоверности определенной им фонетической значимости распределяются следующим образом:

а) Фонетическая значимость 28 знаков д о с т о в е р н а или весьма в е р о я т н а: они такие же, как в надписях из Кносса, за исключением знака OT = kô, который не встречается в надписях из Пилоса.

[58] См. Вл. Г е о р г и е в. «Вестник древней истории», М.—Л., 1950, № 4, стр. 51.
[59] «Work notes», 1 апреля 1951, фиг. 6.
[60] «The Pylos tablets», 1951, стр. 82; см. также V e n t r i s, там же.

ТАБЛИЦА III

Фонетическая значимость минойских знаков

Фон. знач	Минойские знаки	Транслиттерация	Фон знач	Минойские знаки	Транслиттерация	Фон знач.	Минойские знаки	Транслиттерация
a		AK	ma		OH	ti, tē		IX
e(ei, ai)		IG	me		AM	ti, tu		AJ
é(i)		EK	mē ?		AQ	to		OD
i		ER	mé		IF	tò		AG"
o		EM	mi		OF	tu		Carr 82
u		UF	mo		AY	ka		AH
ja		Carr. 88	mu		ID	ke		EN
je(i ?)		AZ"	pa		AD	kô		OT
wa, u		ES	pá		IK	kò		OJ
va		OK	pe		AZ	ko		OU
vá		AW	pi		AF"	kó		OI
ve		IW	po		OD	[illegible]		EL
ra		OG	pu		EH	sa		UB
ro		EV	pù		EJ	sá		AB
ró		IQ	pú		EW	se		EP
ru, ri		AN	pū		IN	si		AL
la		IL	tà		AB	sī ?		YQ
le ?		AG	tá		IJ	so		IU
lo		AC	tā		IB	su		OS
lu		EQ	ta		EZ	sú		IP
na		AG	tā		EX; EY	sù ?		OZ
nà		OM	te		EF	za		EB
nā		IZ	té		ED	ze ?		UM
ne(ni)		AV	ϑe		AX	ha		AR
ná		IS	ti		EG	he ?		Carr. A72
						he, e(i)		OC

б) Фонетическая значимость 27 знаков в е р о я т н а: они соответствуют такой же группе знаков из Кносса, за исключением знаков EN = o, EV = ro, OU = ko, которые не встречаются в надписях из Пилоса, и с прибавлением знака EK = é(i), который не встречается в надписях из Кносса.

в) Фонетическая значимость пяти знаков с о м н и т е л ь н а: EX = tä, IN = pü, IS = ná, IU = so (IC), OZ = su(?).

г) Фонетическая значимость 18 знаков н е и з в е с т н а: AT, EC

ECC, EI, ESS (= ES?), ETT (= ET?), EU, IH, IM, IV, OB, OE, OL, ON, OP, OR, OV, OX.

Нужно подчеркнуть, что фонетическая значимость всех наиболее употребительных слоговых знаков из Пилоса [61], число которых, согласно Ventris,— 15, установлена положительно или с большой вероятностью. Из числа среднеупотребительных слоговых знаков из надписей Пилоса, число которых по Ventris — 26, остается неизвестной фонетическая значимость только четырех знаков (ON, OL, IH, EU). Остальные 13 слоговых знаков [62] из надписей Пилоса с неизвестной фонетической значимостью относятся к редко употребительным. В их редкой употребительности именно и состоит причина того, что еще не установлена их фонетическая значимость: они очень трудно поддаются комбинаторному методу исследования, так как не являются в достаточно разнообразных комбинациях.

IV. Достоверность фонетической значимости минойских знаков, от которых происходят финикийско-греческие буквы

Наш тезис о минойском происхождении финикийско-греческих букв и их названий зиждется на дешифровке минойского письма. Поэтому здесь особенно необходимо обратить внимание на достоверность фонетической значимости тех минойских знаков, от которых происходят финикийско-греческие буквы. Это представляет одновременно и конкретный пример использования вышеприведенных принципиальных положений в деле дешифровки минойских знаков.

А. AK = a (см. фиг. 1).

1. За совсем редкими исключениями, этот минойский знак, который является одним из самых употребительных, встречается т о л ь к о в н а ч а л е слов [63]. При силлабическом письме минойско-кипрского типа этот знак должен обозначать какой-нибудь г л а с н ы й, потому что в середине или в конце слов гласный был бы выражен другим слоговым знаком, например, ka, ta и пр. В совсем редких случаях наш знак встречается в конце или в середине слов, в сочетаниях типа ki-a, si-a.

2. Упомянутый знак является самым употребительным знаком в н а ч а л е слов. Мы видели, что он должен представлять какой-нибудь гласный. Непосредственно за ним по степени употребительности в начале слов следует знак IG[64]. Так как в н а ч а л е греческих, этрусских и хеттских слов самыми употребительными гласными являются *a* и *e* (*i*, *o*, *u* встречаются реже, а *o* вообще отсутствует в этрусском и хеттском языках)[65], минойский знак должен обозначать одну из двух гласных *a* или *e*.

3. Минойский знак идентичен с греческой буквой А и подобен соответствующей финикийской букве.

4. Начертание минойского знака подобно иероглифическому «хеттскому» знаку *a*.

5. Минойский знак подобен египетской пиктограмме ПАЛАТКА (tente). На основании названия *'alef* и греческого (или догреческого) слова *ἀλέη* «убежище», которое происходит от более древней формы **alēwā*, можно заключить, что минойское слово звучало **alēwā* «убежище, хижина, палатка», см. выше.

---

[61] Согласно таблице Ventris, Указ. соч., фиг. 7.

[62] Ventris приводит еще знак EO, который отсутствует в таблице Bennett.

[63] Ср. V e n t r i s, «Work notes», 1 мая 1951 г., стр. 22 и сл. и фиг. 7.

[64] Ср. V e n t r i s, там же.

[65] Краткое *ŏ* перешло в минойском, этрусском и хеттском в *a*; долгое *ō* сохранилось в минойском, но встречается совсем редко в начале слов в индоевропейских языках. В этрусском *ō* перешло в *u*.

6. При определении фонетической значимости этого минойского знака как *a* можно читать разнообразные минойские слова. Такая фонетическая значимость знака принята Георгиевым, Hrozný и Sittig, которые приходят к этому заключению разными путями и независимо один от другого.

Таким образом, на основании всех этих соображений фонетическая значимость минойского знака может считаться положительно установленной.

B. IK = ba, pá (см. фиг. 2).

1. Пиктограмма представляет ТРОН + СКИПЕТР, что символизирует царскую власть, царя. Слово догреческого происхождения βασιλεύς «царь» начинается слогом ba, как и слово βάττος «царь», которое сродно с βασιλεύς [66].

2. Минойский знак подобен греческой букве B.

3. На основании финикийского названия bet (bēth), греческого βῆτα и догреческого (минойского) слова βάττος «царь» можно заключить, что минойское слово звучало *bă̄t(t)a = βάττος «царь».

4. При определении фонетической значимости минойского знака как ba, pá можно читать разнообразные минойские слова. Эта фонетическая значимость знака принята Георгиевым, Peruzzi и Sittig, которые приходят к этому заключению разными путями, независимо один от другого.

Следовательно, фонетическое значение минойского знака, определенное на основании нескольких комбинаторных и этимологических соображений, может считаться достоверным.

Г. OT, OJ = go, kò (см. фиг. 3).

1. Упрощенные варианты минойского знака подобны кипрскому знаку ko (go, kho), финикийско-греческой букве g и этрусской c(= k).

2. Минойский знак kò чередуется с минойским знаком ke, фонетическая значимость которого определяется с помощью кипрского силлабария, ср. eti/ēnakò (Bennett, Pylos, Cn 13. 8, Cn 15. 9, In 03.4) и eti/ēnake (Bennett, там же, An 29.9), которые представляют две падежные формы одного и того же слова.

3. Минойский знак представляет пиктограмму СКОТИНА, ВОЛ, КОРОВА: минойское слово звучало *gō и позднее *kō от ие. *$g^{w}ō$(u)s.

4. При определении фонетической значимости минойского знака как ko, go можно читать разные минойские слова.

Δ. IJ = tá, da (см. фиг. 4).

1. Минойский знак подобен финикийскому знаку d.

2. Минойский знак tá чередуется с минойским знаком tà, фонетическая значимость которого определяется при помощи кипрского силлабария, ср. táitānà (Bennett, Pylos, An 13.2, Cn 05.4) = tàitānà (Bennett, Pylos, An 19.13).

3. Минойский знак представляет пиктограмму ПЯТА так же, как и иероглифический «хеттский» знак, который имеет фонетическую значимость da, ta.

4. На основе финикийского (еврейского) названия буквы dalet (dālet) и латинского (этрусского) слова tālus «пята» можно реконструировать минойское слово *tāla или *thāla = лат. tālus «пята».

5. При определении фонетической значимости минойского знака как tá = ta, da, tha можно читать разные минойские слова.

Следовательно, фонетическая значимость минойского знака tá, определенная с помощью нескольких комбинаторных и этимологических соображений, может считаться достоверной.

E. OC = he, e (см. фиг. 5).

[66] См. выше.

1. Минойский знак подобен кипрскому знаку e, финикийской букве h и греческой E.

2. Минойский знак представляет БИЧ; с помощью хеттского слова ishiman- «веревка», греческого ἱμάς «ремень, кнут» и финикийского названия буквы hē можно реконструировать минойское слово *hēmā, позднее (диалектно) *ēmā, см. выше.

3. При определении фонетической значимости минойского знака как he, e можно читать разные минойские слова.

Y. ES = wa, u (см. фиг. 6).

1. Минойский знак подобен кипрскому знаку u, который, в свою очередь, подобен финикийской букве w и греческой Y.

2. Минойский знак wa (u) чередуется с минойским знаком va(OK), фонетическое значение которого определяется с помощью кипрского силлабария, ср. ϑewa (Pugliese Carratelli, HT 62)=ϑeva-ti/ēke (Hrozný, Inscr. crétoises, № 97 и 98).

3. Минойский знак представляет пиктограмму (ЛЕТЯЩАЯ) ПТИЦА: хеттское слово wattaēs мн. ч. «птицы» и финикийское название буквы waw дают возможность реконструировать минойское слово *wat- «птица».

4. При определении фонетической значимости минойского знака как wa (u) можно читать разные минойские слова. Фонетическую значимость знака определили Carratelli (u), Георгиев (wa и u), Persson (u) и Peruzzi (u).

Z. EB = zo (см. фиг. 7).

1. Минойский знак идентичен с кипрским знаком zo.

2. Минойский знак представляет пиктограмму РЕКА, ВОДА, ВОЛНА, что можно сравнить с армянским словом cov «вода, море, озеро». Ср. также (до)греческое слово ζάψ «бурное морское волнение, волна, море». Это слово встречается только у Euph. fr. 3 и Clem. 673; ζάψ — вероятно позднее написание вместо *ζαυς (позднее υς>ψ): минойское слово, повидимому, звучало в им. пад. *ζω от *ζω(υ)ς, род. пад. *ζαυα с чередованием ō(u) : ŏw, ср. дор. βῶς = атт. βοῦς, род. пад. βο(F)ός; в таком случае форма ζάψ = *ζαυς вместо *ζω(ς) образована по аналогии с косвенными падежами.

3. При определении фонетической значимости минойского знака как zo можно читать разные минойские слова. Такая фонетическая значимость знака принята Carratelli (или no?), Daniel, Георгиевым, Persson, Peruzzi и Ventris (su?).

H. AR = ha (см. фиг. 8).

1. Минойский знак идентичен с финикийской буквой ḥ и с греческо-этрусской H = h, η.

2. Минойский знак представляет пиктограмму ОГРАДА; на основании хеттского слова ḫălis «ограда» и латинского (этрусского) обозначения буквы ha можно заключить, что минойское слово звучало *ḫăli.

3. Минойский знак имеет известное отдаленное сходство с иероглифическим «хеттским» знаком ha[67].

Θ. AX = ϑe (см. фиг. 9).

1. Минойский знак идентичен с финикийской буквой ṭ и греческой Θ.

2. Минойский знак представляет пиктограмму КОЛЕСО[68]; на основании финикийского названия буквы ṭēt, греческой ϑῆτα, а также ионийского (догреческого) слова ϑῆσσα = *ϑῆττα «воз», можно восстановить минойское слово *thēt(t)a = *ϑῆττα «колесо, во мн. ч. — воз, колесница», см. выше.

[67] См. Meriggi, Athenaeum, 1951, стр. 62.

[68] Колеса минойской боевой колесницы имели четыре спицы, см. Mylonas, Amer. Journal of Archaeology, 55, 1951, стр. 135, фиг. 1; стр. 136, фиг. 2; стр. 137, фиг. 3; стр. 141, фиг. 6

3. Минойский знак 𐄁e чередуется с минойским знаком tà (AB), фонетическая значимость которого определяется при помощи кипрского силлабария, ср. 𐄁eitāna (Hrozný, Inscr. crét., № 171) = tàitānà (Bennett, Pylos, An 19.13)[69].

4. При определении фонетической значимости минойского знака как 𐄁e можно читать разные минойские слова. Подобную фонетическую значимость знака принимают Hrozný (t, ṭa), Ктистопулос (ta), Sittig (te) и Ventris (𐄁a ?).

Фонетическое значение минойского знака 𐄁e, определенное на основании нескольких комбинаторных и этимологических соображений, может считаться достоверным.

I. AZ" = je (см. фиг. 10).

Минойский знак подобен кипрскому знаку je и финикийской букве j.

K. AH = ka (см. фиг. 11).

1. Минойский знак подобен кипрскому знаку ka и финикийской букве k.

2. Минойский знак представляет пиктограмму СТРЕЛА (КОПЬЕ). Из финикийского названия kaf и греческого καπα можно вывести минойское слово *kap(ph)a «стрела, копье» = древнеболг. копьје «копье» от ие. *kop(i)jo-m, см. выше.

3. При определении фонетической значимости минойского знака как ka можно читать разные минойские слова. Эта фонетическая значимость знака принята Carratelli (?), Daniel (или si ?), Георгиевым и Ктистопулосом.

A. IL = la (см. фиг. 12).

1. Минойский знак подобен кипрскому знаку la.

2. Минойский знак представляет пиктограмму ВАЗА С РУЧКОЙ; на основании еврейского названия lamed, греческого λαβδα или λαμβδα и (до)греческого слова λαβή «ручка» можно реконструировать минойское слово *labā «ручка».

3. Минойский знак la чередуется с минойским знаком lo (AC), фонетическая значимость которого определяется при помощи кипрского силлабария, ср. pásilava и pásilo (Sundwall, Altkretische Urkundenstudien, фиг. 11, № 9a и 10a), которые представляют две падежные формы одного и того же слова.

При определении фонетического значения минойского знака как la можно читать разные минойские слова. Такая фонетическая значимость знака принята Carratelli (?), Георгиевым, Ктистопулосом, Persson, Peruzzi, Ventris (или su ?); Sittig предполагает le.

Фонетическая значимость минойского знака la, определенная при помощи нескольких комбинаторных и этимологических соображений, может считаться достоверной.

M. OF = mi (см. фиг. 13).

1. Минойский знак подобен знаку кипрского силлабария mi; кроме того, минойский знак идентичен со знаком mi (или me) карийского силлабо-алфавитного письма, которое сродно с кипрским силлабарием.

2. Минойский знак, который идентичен с соответствующим египетским знаком, представляет пиктограмму ГОРА, ВЕРШИНА ГОРЫ; на основании латинского (этрусского) слова minae «вершины» и финикийского названия буквы mēm можно реконструировать минойское слово *minā из более древнего *menā «вершина», см. выше.

N. OM = nà (см. фиг. 14).

1. Минойский знак подобен финикийской букве n, см. выше.

[69] ài = ei обозначает дифтонг ai>ei (>ē).

2. Минойский знак nà чередуется с минойским знаком na (AG), фонетическое значение которого определяется на основе идентичности с кипрским знаком na, ср., например, tàitānà=ϑeitāna, см. выше.

3. В иероглифическом «хеттском» письме пиктограмма НОС выражается слогом nà[70]. Минойский знак, как хорошо явствует из некоторых вариантов, тоже представляет пиктограмму НОС. В минойском слово «нос» звучало *nā = древнеинд. nās «нос», лат. nār-ēs «ноздри» от ие. *nās. Следовательно, слоговая значимость этого знака есть не что иное, как минойское слово * nā «нос». Начертание буквы n в древнейших финикийских надписях (Ахирам, Меша) также имеет сходство с изображением носа

Знак nà представляет собой один из самых употребительных знаков, встречающихся почти исключительно в конце слов. На основании того факта, что этот знак чередуется со знаком na и часто является в окончаниях слов в дательном падеже, раньше я определял его фонетическую значимость как ni. Однако позднее я установил, что в минойском, как и в хеттском и ликийском языках, окончание дательного падежа ед. ч. было i или a, см. «Inscriptions minoennes quasi-bilingues», стр. 25. Следовательно, фонетическая значимость знака не ni, а nà.

4. При определении фонетической значимости минойского знака как nà можно читать различные минойские слова. Такая фонетическая значимость знака принята Георгиевым и Hrozný.

Ξ. AF = sá (см. фиг. 15).

1. Минойский знак sá идентичен с финикийской буквой s.

2. Минойский знак представляет пиктограмму ТРОСТНИК: он подобен египетской пиктограмме ТРОСТНИК. На основе названия финикийской буквы samech (или samak) и (до)греческого слова σάμαξ, ακος «рогожа из тростника» можно установить, что минойское слово звучало *samak(h) или *samek(h) «тростник».

3. Минойский знак sá чередуется с минойским знаком se, фонетическое значение которого определяется на основании кипрского силлабария, ср. metásá (B e n n e t t, там же, Ae 01; Ae 03) и metáse (B e n n e t t, там же, Ae 01; Ae 02; Ae 03), которые представляют две падежные формы одного и того же слова.

4. При определении фонетической значимости минойского знака как sá можно читать разные минойские слова. Фонетическая значимость минойского знака sá принята Георгиевым (sá), Hrozný (sa, s, se, si, su, z) и Кристопулосом (sa).

O. EM = o (см. фиг. 16).

1. Минойский знак ГЛАЗ подобен финикийской букве ᶜ и греческой O

2. Минойский знак представляет пиктограмму ГЛАЗ; в минойском слово «глаз» звучало *ō = гр. ωψ от ие. *ōkʷs.

Π. AZ = pe (см. фиг. 17).

1. Минойский знак идентичен с кипрским знаком pe[71].

2. Минойский знак pe чередуется с минойским знаком pù (EJ), фонетическое значение которого тоже определяется с помощью кипрского силлабария, ср. tàsápene = tàsápùne (S u n d w a l l, Altkretische Urkundenstudien, фиг. 5, № 8).

3. Минойский знак представляет пиктограмму НОГА: на основании

[70] См. M e r i g g i. Athenaeum, XXIX, 1951, стр. 86.

[71] Минойский знак отмечает слоги pe, phe, (и be). Повидимому, лидийский и этрусский знак 8= f представляет дальнейшее развитие минойского знака pe, так как в этих языках догреческое ph (от ие. p) перешло в f.

финикийского названия буквы pē и греческого πεῖ (= pē) можно установить, что минойское слово звучало *pē или *phē = лат. pēs «нога».

4. При определении фонетической значимости минойского знака как pe можно читать разнообразные минойские слова. Фонетическое значение pe для этого минойского знака принято Carratelli, Daniel, Георгиевым, Peruzzi и Ventris (или le?).

Фонетическая значимость минойского знака, установленная на основании нескольких комбинаторных и этимологических соображений, может считаться достоверной.

M. EP, EP'' = se (см. фиг. 18), см. ниже.

Q. EL = ku (см. фиг. 19).

1. Минойский знак подобен финикийской букве q и греческой, респективно латинской (этрусской) Q.

2. Минойский знак представляет пиктограмму (ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ) ГОЛОВА[72]; на основании финикийского названия буквы qof, греческого ϙόππα и этрусско-латинского qu можно определить, что минойское слово звучало *kubā (или *khubā) = (до)гр. κύβη «голова». Но минойский знак может представлять также ЧАШУ (ВАЗУ) С ДВУМЯ РУЧКАМИ [73]. В таком случае минойское слово звучало бы *kupā (или *kuphā, *kupphā), ср. (до)гр. ἀμφικύπελλον «чаша с двумя ручками», лат. cuppa «чаша». Впрочем, это, вероятно, два значения одного и того же слова; ср. лат. testa «черепок; ваза; голова», авест. taštəm «чашка»; древнеболг. *чрѣпъ* «черепок», болг. *чирен* «черепок» и *черен*; семантическое развитие: черепок> блюдо, горшок, кувшин, ваза>череп, голова; лат. cuppa «чаша»>древневерхненем. kopf, chuph, древнеанглосакс. cuppe, англ. cup «чаша», средневерхненем. Kopf «чаша, череп», нем. Kopf «голова»; древнесев. kolla «горшок» и kollr «голова».

3. При определении фонетической значимости минойского знака как ku можно читать разнообразные минойские слова. Эта фонетическая значимость знака принята Георгиевым, Hrozný и Ктистопулосом.

P. OG = ra (см. фиг. 20).

1. Минойский знак подобен кипрскому знаку ra, который в свою очередь подобен финикийской букве r.

2. Минойский знак представляет пиктограмму ПТИЦА С КРИВЫМ КЛЮВОМ, ср. (до)гр. слово ῥάμφος «кривой клюв».

3. Минойский знак ra чередуется с минойским знаком ru, ср. Iarapùna (H r o z n ý, Inscr. crét., № 152) = Iarupùna (там же, № 158).

4. При определении фонетической значимости минойского знака как ra можно читать разнообразные минойские слова. Эта фонетическая значимость знака принята Carratelli (?), Георгиевым, Ventris (или ru?); Sittig принимает re.

Фонетическая значимость знака ra, определенная на основании нескольких комбинаторных и этимологических соображений, может считаться достоверной.

P. EV, IQ = ro (см. фиг. 20).

1. Минойский знак подобен кипрскому знаку ro и финикийской букве r.

2. Минойский знак представляет пиктограмму ЦАПЛЯ, ср. (до)гр. ῥωιδιος «цапля».

Σ. EP, EP'' = se (см. фиг. 21).

---

[72] Ср. P u g l i e s e C a r r a t e l l i. Указ. соч., стр. 472, № 62: «testa d'uomo». Минойский знак подобен египетскому знаку ЛИЦО, см. S u n d w a l l, Der Ursprung der kretischen Schrift, стр. 6 и стр. 18, № 7.

[73] См. минойскую вазу (чашу) с двумя ручками, данную у S u n d w a l l, Über einige Sachzeichen in den pylischen Täfelchen (Soc. Scient. Fenn. Comment. Hum. Litt., XVII, 1951, 3), стр. 2, фиг. 1, d, h и фиг. 4.

Фонетическая значимость минойского знака определяется на основании кипрского силлабария: он идентичен с кипрским знаком se. Эта фонетическая значимость знака принята Carratelli, Cowley, Daniel, Георгиевым, Persson, Peruzzi и Ventris (se?).

T. AB = tà (см. фиг. 22).

1. Фонетическая значимость минойского знака определяется на основании кипрского силлабария: он идентичен с кипрским знаком ta.

2. При определении фонетической значимости минойского знака как tà можно читать разнообразные минойские слова. Эта фонетическая значимость знака является общепринятой: Carratelli, Cowley, Daniel, Георгиевым, Hrozný, Ктистопулосом (tta), Persson, Peruzzi, Sittig, Sundwall (?), Ventris.

T. EX = tä (см. фиг. 22).

Фонетическая значимость минойского знака определяется на основании комбинаторно-этимологических соображений, см. G e o r g i e v, Le déchiffrement des inscriptions minoennes, стр. 10. Подобная фонетическая значимость знака (t, te) принята также и Hrozný; Ventris предполагает с некоторым сомнением ϑi (или u).

Итак, в окончательном итоге относительно фонетической значимости минойских знаков приходим к следующим выводам:

1. Фонетическая значимость минойских знаков, за исключением только одного, положительно установлена или весьма вероятна: a, pá, kò, tá, he(e), wa(u), zo, ha, ϑe, je, ka, la, mi, nà, sá, o, pe, se, ku, ra, (se), tà.

2. Фонетическая значимость одного знака сомнительна: tä.

V. Заключение

Создание алфавита является продуктом коллективного творчества сотен поколений, многих народов — египтян, минойцев, финикийцев, греков. Минойское пиктографическое письмо развилось под влиянием египетской письменности. Поэтому известные сходства, которые обнаруживаются между финикийской и некоторыми другими системами письменности, как, например, египетской, протосинайской, не случайны, а основываются на факте их прямого или косвенного происхождения из одного общего источника, именно из египетского письма.

Итак, финикийское консонантное письмо происходит от минойского слогового письма. Минойское письмо было перенесено из Эгейской области на восточное побережье Средиземного моря минойскими колонистами: кафторийцами-критянами, филистимлянами-пеласгами и др.[74]

Финикийцы заимствовали не только знаки, но и их названия, которые отчасти были семитизированы по народной этимологии. Различие состоит в том, что у финикийцев минойские знаки обозначают не слоги, а лишь начальный согласный соответствующего (семитизированного) минойского слога. Следовательно, минойское слоговое письмо обратилось у финикийцев в консонантное письмо по акрофоническому принципу.

Принцип консонантного письма возник у финикийцев в силу особенной фонетической структуры семитского финикийского языка, в котором консонанты играют особенную роль и для которого слоговое письмо не подходит, и притом, несомненно, под влиянием египетского консонантного письма. Это относится как к финикийскому консонантному письму, так и к угаритскому клинообразному письму. Известно, что Финикия и

[74] См. Вл. Г е о р г и е в, «Вестник древней истории», М.—Л., 1950, № 4, стр. 67 и сл.

Сирия были в тесной связи с Египтом в течение всего II тысячелетия до н. э., а в середине того же тысячелетия они даже подпали под власть Египта[75].

Тезис о происхождении финикийского письма от минойского находит свое подтверждение в античных свидетельствах. Как сообщают Диодор и Фотий, критяне оспаривали мнение о финикийском происхождении буквенного письма. Вот соответствующие выдержки:

Diod. V, 74,1: Πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας ὅτι Σύροι μὲν εὑρεταὶ τῶν γραμμάτων εἰσί, παρὰ δὲ τούτων Φοίνικες μαθόντες τοῖς Ἕλλησιν παραδεδωκασιν, οὗτοι δ'εἰσιν οἱ μετὰ Κάδμου πλεύσαντες εἰς τὴν Εὐρωπην, καὶ διὰ τουτο τοὺς Ἕλληνας τὰ γράμματα Φοινίκεια προσαγορεύειν, φασὶ (scil. οἱ Κρῆτες) τοὺς Φοίνικας οὐκ ἐξ ἀρχῆς εὑρεῖν, ἀλλὰ τοὺς τύπους τῶν γραμμάτων μεταθεῖναι, καὶ τῇ τε γραφῇ ταύτῃ τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων χρήσασθαι καὶ διὰ τούτο τυχεῖν τῆς προειρημένης προσηγορίας.

Диодор, V, 74, 1:

«В то время как одни утверждают, что буквы были изобретены сирийцами, а у этих последних им научились финикийцы, передавшие их затем эллинам (причем передали их именно те, которые приплыли с Кадмом в Европу) и что поэтому эллины называют буквы финикийскими, другие (речь идет о критянах) говорят, что финикийцы не были первыми изобретателями букв, а только изменили форму букв, и, так как большинство людей пользуется этим письмом, то его и называют изобретенным финикийцами»[76].

Phot. s. v. Φοινικήια γράμματα: Λύδοι καὶ Ἴωνες τὰ γράμματα ἀπὸ του Φοίνικος τοῦ Ἀγήνορος εὑρόντος. Τούτοις δὲ ἀντιλέγουσι Κρῆτες, ὡς εὑρεθῆναι ἀπὸ τοῦ γράφειν ἐν φοινίκων πετάλοις.

Фотий:

«Финикийские буквы. Лидийцы и ионийцы возводят их к финикийцу Агенору. Им возражают критяне, говоря, что название происходит от писания на пальмовых листьях».

Известно, что греческое прилагательное φοινίκειος = ион. φοινικήιος двусмысленно: оно имеет значения «финикийский» и «пальмовый, финиковый».

Из этих свидетельств, в которых, впрочем, не все совсем ясно, особенно важны для нас следующие данные: «(Критяне) говорят, что финикийцы не были первыми изобретателями их (букв), а только изменили форму букв...» Это известие подтверждается результатами нашей работы: финикийцы заимствовали у минойцев письмо, которое у финикийцев подверглось известным изменениям. С другой стороны, свидетельство Фотия об использовании пальмовых листьев в качестве письменного материала — τὸ γράφειν ἐν φοινίκων πετάλοις[77] — проливает новый свет на выражение φοινικήια γράμματα. Действительно, пальмовые листья использовались в качестве материала для письма, и длинные узкие минойские плитки, употреблявшиеся для тех же целей, вероятно, и появились в результате подражания письму на пальмовых листьях[78].

По всему видно, что между XII и VII вв. до н. э. в Эгейской области, включая сюда и западную часть Малой Азии, а также на Кипре и в Финикии были в употреблении областные алфавиты или силлабо-алфавитные системы, унаследованные непосредственно из минойского письма. Однако

[75] См. В. И. Авдиев, История Древнего Востока, 1948, стр. 305 и сл.

[76] В другом месте (III, 67, 1) Диодор еще более определенно говорит, что «хотя вообще эти буквы называют финикийскими, потому что их привезли (речь идет о том же Кадме) к эллинам из страны финикийцев, они могли бы носить название пеласгических, так как пеласги раньше пользовались ими» *(Ред.)*.

[77] См. также Plin. N. H. 13, 69: in palmarum foliis primo scriptatum...

[78] Об этом см. A. Kober, Amer. Journal of Archaeology, LII, 1948, стр. 91 и сл

в течение второй половины этого периода, когда финикийское влияние было довольно сильным во всем Средиземноморье, финикийское письмо сыграло известную роль в деле унификации этих родственных письменных систем.

Следовательно, финикийский, греческий и этрусский алфавиты происходят непосредственно и независимо один от другого от минойского слогового письма. Однако позднее финикийское письмо оказало известное влияние на греческий и этрусский алфавиты, а вслед за тем и греческий алфавит, в свою очередь, воздействовал на этрусский (и латинский). Хорошую параллель этому сложному взаимодействию нам дает история русского алфавита. Нынешний русский алфавит произошел от древнеболгарской кириллицы, которая представляет дальнейшее развитие греческого алфавита. Но в течение XVII—XVIII вв. в России кириллица до некоторой степени была упрощена под влиянием латиницы. Кроме того, древнеболгарские названия букв (азъ, боукы и т. д.) были устранены, а вместо них приняты латинские названия (*а, бэ...*, *ка*, *эль*, *эм* и т. д.).

Доказательства, которые приводятся в пользу происхождения греческого и этрусского алфавита от финикийского, следующие:[79]

1) свидетельства греческих авторов,
2) форма букв,
3) фонетическая значимость знаков,
4) порядок букв в алфавите,
5) названия букв.

Мы видели, что сходство в форме букв и их фонетической значимости объясняется общим происхождением финикийского, греческого и этрусского алфавитов. То же относится и к названиям букв. Однако, в отличие от финикийско-греческих названий, за которыми скрываются минойские названия соответствующих предметов, этрусско-латинские названия букв представляют слоговые значимости (отчасти несколько измененные) минойских знаков.

Объяснение одинакового порядка букв в финикийском, греческом и этрусском алфавитах также нужно искать в общем их источнике. Во всяком случае он остается невыясненным и при обычном признании финикийского происхождения алфавита[80]. Однако если порядок букв нужно определить как финикийскую черту в генезисе алфавита, тогда его можно приписать финикийскому воздействию на другие азбуки.

Относительно традиционной греческой версии о финикийском происхождении алфавита уже было указано, что своим появлением она обязана, вероятно, толкованию выражения φοινικήια γράμματα по народной этимологии. С другой стороны, в пользу такого понимания послужило воздействие, которое оказало финикийское письмо на греческую азбуку. Но мы видели, что греческими авторами приводятся и другие мнения.

При новом разрешении проблемы происхождения финикийского консонантного письма возникают следующие вопросы:

1. Какая связь существует между карийским силлабо-алфавитным письмом и минойским силлабарием?[81] Можно ли рассматривать карийское письмо как переходное явление от слогового письма к буквенному?

---

[79] См., например, E. Kalinka. Klio, XVI, 1920, стр. 305 и сл.: H. Jensen, Die Schrift, стр. 314, и сл.: A. Rehm в Handbuch der Archäologie, I, 1929, стр. 192.

[80] Ср., например, Kalinka, там же, стр. 316 и сл.

[81] В карийских надписях, древнейшие из которых датируются с VII в. до н. э., наблюдается смешение слоговых и буквенных знаков. Слоговые знаки показывают близкое родство со знаками кипрского силлабария. См. Février, Указ. соч., стр. 400 и сл. При нашем понимании происхождения алфавита карийское силлабо-алфавитное письмо получает совсем новое освещение.

2. Существует ли генетическая связь между финикийским письмом и так называемым псевдоиероглифическим слоговым письмом из Библоса, которое обнаруживает известное родство с минойским слоговым письмом?

3. Как возникает консонантное письмо из слогового под влиянием египетского консонантного письма? Существует ли какая-нибудь связь между консонантным письмом из Угарита (Рас-Шамра) и финикийским в отношении принципов консонантного письма[82]?

4. Как и когда устанавливается порядок букв в алфавите?

5. Какое влияние оказало финикийское письмо на греческие алфавиты или, по крайней мере, на некоторые из них, в какой степени и когда именно?

6. Какая связь существует между греческими названиями букв и соответствующими им финикийскими? Как и когда устанавливаются эти названия в Греции?

7. Каково происхождение этрусского алфавита? Существует ли прямая связь между следами слогового письма в Этрурии и минойским слоговым письмом? Какое заключение нужно вывести из латинских (этрусских) названий букв, особенно ce, ha, qu?

Эти вопросы, которые относятся главным образом к происхождению греческого и этрусского алфавитов, будут рассмотрены в особой статье.

*

И. В. Сталин в своем труде «Марксизм и вопросы языкознания» показал, что при всех существенных изменениях, которые с течением времени претерпевает язык, «...переход языка от старого качества к новому происходит не путем взрыва, не путем уничтожения существующего языка и создания нового, а путем постепенного накопления элементов нового качества, следовательно, путем постепенного отмирания элементов старого качества»[83].

Близкими к этому путями осуществляется и развитие письма. Оно представляет собой длительный процесс, который охватывает несколько тысячелетий. Непрерывное развитие промышленности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, техники и науки требует все более и более широкого употребления письменности и вызывает усовершенствование ее системы. При этом новое состояние оказывается результатом медленного, постепенного накопления элементов нового качества и постепенного отмирания элементов старого качества в самой тесной связи с особенностями структуры данного языка.

Письменность начинается пиктографией: путем запечатления в рисунке образа предметов человек передает свои представления. Но при помощи таких пиктограмм чрезвычайно трудно передать письмом самую обыкновенную человеческую мысль, самые обыкновенные предложения вроде: *Этот дом большой. Сегодня — хорошая погода.* В рисунке можно представить существительное *дом*, но как выразить местоимение *этот*, существительное *погода*, прилагательные *большой*, *хорошая*, наречие *сегодня*?

Поэтому приходится прибегать к условным обозначениям. Так пиктограмма СОЛНЦЕ может быть использована для обозначения понятий «свет», «день», «хорошая погода»; пиктограмма ЛУНА или ЗВЕЗДА — для обозначения «ночи» и пр. Кроме того, наличие в самом языке омонимов или слов, близких по фонетическому составу, дает повод для разного рода условных обозначений. Так, по-египетски понятие «государь» обозначается пиктограммой — КОРЗИНА, потому что слово

[82] Несколько букв из угаритской клинописной азбуки (ǵ, ḫ, w, ẓ, ṯ, s, c, š) подобны финикийским. См. также у Ch. Virolleaud, Syria, XV, 1934, стр. 154.

[83] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 28.

nb. t «корзина» (t — признак женского рода) сходно по своему фонетическому составу со словом nb. «государь».

Таково приблизительно нынешнее китайское письмо,— правда, с той существенной разницей, что первоначальные пиктограммы, т. е. образы предметов, обратились в идеограммы, символы предметов и понятий. Такое письмо подходит для китайского языка ввиду его особенной фонетико-грамматической структуры. С другой стороны, именно особенности структуры китайского языка создают известные трудности для перехода китайского языка на буквенное письмо.

Но для языков с иной фонетико-грамматической структурой (наличие флексии, префиксов, суффиксов, многосложных слов и пр.), каковы, например, семитские и индоевропейские языки, такая система письма оказывается неподходящей. Сами особенности структуры таких языков вызывают дальнейшее развитие письменности: противоречие между пиктографическим письмом и фонетико-грамматической структурой данного языка и преодоление этого противоречия приводят к усовершенствованию письма.

Слоговое письмо представляет новое качество в развитии письменности. Это новое качество развивается постепенно, оно подготовляется особенностями пиктографического письма и стимулируется структурными особенностями данного языка. Осознание слогов в словах гораздо легче, чем осознание фонем, из которых состоят слова. Это можно наблюдать при обучении детей чтению: ребенок быстро привыкает отделять слоги в словах, но необходимо специальное обучение, чтобы приучить его сливать «буквы», т. е. фонемы, в слова. Поэтому и развитие письменности идет от пиктографии к слоговому письму, из которого развивается, как новое качество, буквенное письмо.

Итак, постепенно пиктограммы односложных слов обращаются в знаки для отдельных слогов, т. е. приобретают фонетическое значение. Таково развитие шумерской и минойской письменности. Шумерский язык обладал множеством односложных слов, а минойский — был языком открытых слогов. Для фонетико-грамматической структуры этих языков подходит слоговое письмо: самая структура этих языков дает толчок к такому развитию письма. Хорошую параллель этому развитию нам дает история японской письменности. Японский язык представляет типичный пример языка с открытыми слогами. Поэтому на основе воспринятого у китайцев идеографического письма в Японии возникает слоговое письмо (катакана, хирагана), которое по своему устройству подобно минойскому слоговому письму (знаки для гласных и сочетаний «согласный + гласный»).

В Египте же, ввиду особенной структуры египетских слов, где согласные, как носители лексического значения слов, имеют особенно важное значение, приходят постепенно к обозначению согласных. Но именно это обстоятельство и не дает достаточного повода к развитию в Египте настоящего буквенного письма: тут письмо остается сложным смешением пиктографии с консонантным письмом.

Подлинное буквенное письмо, т. е. употребление букв для обозначения согласных и гласных, осуществляется в Эгейской области, так как для такого языка, как греческий, одинаково необходимо обозначение как гласных, так и согласных.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1952

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. Д. САНЖЕЕВ

К ПРОБЛЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ*

Учение И. В. Сталина о языке указывает пути подлинно научного, марксистского разрешения вопросов грамматического строя отдельных языков на основе изучения внутренних законов их развития, что предполагает необходимость выявления специфических структурных особенностей этих языков и требует безусловного отказа от всяких попыток навязать самостоятельно развивающимся языкам черты, свойственные другим языкам. К числу вопросов, требующих возможно быстрого и неотложного разрешения в свете сталинского учения о языке, относится проблема частей речи, весьма запутанная в годы господства «нового учения» о языке.

1

В алтайских языках части речи более или менее установлены, так сказать, вчерне, хотя они еще и не подвергались достаточно детальному и научно обоснованному анализу: нет, например, какой бы то ни было ясности в классификации соответствующих групп внутри местоимений, наречий, глаголов; нет также единой точки зрения на такие категории, как основные именные части речи (существительные и прилагательные) и т. д. В настоящее время одно из главных разногласий между алтаистами возникает именно по вопросу об основных именных частях речи в монгольских, тюркских и тунгусо-маньчжурских языках. Существо этих разногласий сводится к бесконечным и, надо добавить, безрезультатным спорам о том, чем являются с лексико-грамматической точки зрения слова типа кирг. *темир* или бур. *тӯмэр* — только существительными в значении «железо» или существительными и прилагательными в значениях «железо» и «железный»? А возникают подобные споры потому, что в монгольских и тюркских языках слова приведенного типа переводятся на русский язык различно, что зависит от различного же лексико-синтаксического окружения, в которое они, эти слова, попадают, например, кирг. *темир алуу* и бур. *тӯмэр абаха* «взять железо», кирг. *темир жол* и бур. *тӯмэр харгы* «железная дорога». Ср. еще: монг. *модон хӯрз* «дере-

* Печатая в дискуссионном порядке статью Г. Д. Санжеева, редакция считает, что вопросы, поднимаемые в этой статье, заслуживают обсуждения прежде всего с таких точек зрения: 1) в каких конкретных формах должен выражаться исторический подход к проблеме определения системы частей речи в современном языке; 2) в какой мере возможно говорить о тождественной или общей системе частей речи в группе (семье) родственных языков; 3) каким должно быть соотношение морфологического, семантического и синтаксического критериев при определении системы частей речи в конкретном языке (или конкретной группе языков).

вянная лопата», *алтан зоос* «золотая монета», *мөнгөн бүлжиг* «серебряное кольцо»; каракалп. *агаш бел*, *алтын теңге* и *гумис жузик* — соответственно в буквальном переводе: «дерево лопата», «золото монета» и «серебро кольцо». Подобное определительное сочетание, осуществляемое путем простого соположения имен, в нашей тюркологической литературе принято называть первым типом изафета (о втором и третьем типах см. ниже).

Одни языковеды утверждают, что в тюркских и монгольских языках слова приведенного типа одновременно и без формального изменения являются и существительными, и прилагательными — в зависимости от различного синтаксического положения в предложении или словосочетании. Так, монголист Д. А. Алексеев пишет, что в «бурят-монгольском языке многие имена существительные именно по функции становятся прилагательными» [1]. Другие же языковеды, наоборот, полагают, что в приведенных сочетаниях имена существительные, синтаксически оказываясь определением, не становятся прилагательными,— такова, например, точка зрения А. Н. Кононова [2] и А. И. Искакова [3]. Проф. Н. К. Дмитриев по поводу этой категории пишет, что «с точки зрения морфологии, в башкирском языке (как и в других тюркских) нельзя провести твердой границы между существительными и прилагательными», что «существительные и прилагательные в тюркских языках представляют собою своего рода единую недифференцированную категорию. При квалификации каждого отдельного слова следует исходить из его семантики, или смыслового содержания. Например, слово типа *ат* (конь), взятое как исходный пункт, является прежде всего существительным и выполняет синтаксические функции существительного и только во вторую, так сказать, очередь может выполнять синтаксическую функцию прилагательного. Таким образом, слово типа *ат* можно было бы назвать условным термином „существительное-прилагательное" для того, чтобы рельефнее выразить динамику его развития. Другими словами, эту формулу можно выразить так: слово *ат* семантически является существительным, а в синтаксическом плане может быть: а) существительным, б) прилагательным» [4].

Совершенно очевидно, что споры в алтаистике по поводу этих «существительных-прилагательных» основаны на смешении понятий синтаксического и морфологического порядка и, отчасти, если не в значительной степени, связаны с тем, как соответствующие слова алтайских языков переводятся на русский язык. Понятие «определение», относящееся к синтаксису, некоторые алтаисты ошибочно подменяют понятием «прилагательное», относящимся к лексико-морфологическим категориям, следуя в этом отношении как за Н. Я. Марром, так и за Г. Паулем, утверждавшим, что «если имя поставлено как предикат или приложено к имени вещи как определение, то оно уже не может быть именем вещи и с этой точки зрения тем самым есть прилагательное» [5].

Показательно, что, исходя из указанного своеобразия в употреблении и значении имен в монгольских языках, известный русский монголист

[1] См. Д. А. Алексеев. Части речи в бурят-монгольском языке, «Записки Бурят-Монгольского гос. научно-исслед. ин-та языка, лит-ры и истории», вып. 5—6, Улан-Удэ, 1941, стр. 155.

[2] А. Н. Кононов. Грамматика узбекского языка. Ташкент, 1948, стр. 109.

[3] А. Искаков. **Наречие** в современном казахском языке. Алма-Ата, 1950, стр. 39. Ср. также И. А. Батманов, Грамматика киргизского языка, вып. 2, Фрунзе, 1940, стр. 36—43.

[4] Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.— Л., 1948, стр. 80—81. Здесь же (стр. 80) Н. К. Дмитриев пишет, что в школьной практике слова описываемого типа «надлежит рассматривать как существительные, хотя бы их синтаксическая функция и равнялась функции русского прилагательного».

[5] Цитируем в передаче В. В. Виноградова в его «Русском языке», М.— Л., 1947, стр. 419.

Алексей Бобровников более ста лет назад пришел к выводу, что в этих языках, вместо традиционных имен существительных и прилагательных, а также качественных наречий, имеются имена относительные и качественные, в разбор которых мы здесь не входим [6].

2

В данном случае важно подчеркнуть другое. От «существительных-прилагательных», или предметных имен — термин, который мы бы предпочли,— следует отличать, во-первых, имена прилагательные (о них речь будет идти ниже) и, во-вторых, собственно существительные типа монг. *нам* «партия», *эвлэл* «союз», *эрх* «право», *хувьсгал* «революция», *байгуулалга* «организация», *ухаан* «разум», *хороо* «комитет», *урасгал* «течение», *удирдлага* «руководство», *нуур* «озеро», *газар* «земля, присутственное место, учреждение, орган», *нутаг* «кочевье», *ном* «книга» и т. п. От «существительных-прилагательных» эти имена отличаются тем, что они выступают в качестве определения других имен, собственно существительных или «существительных-прилагательных», только в особой форме, чаще всего в форме родительного или совместного падежа.

Поясним это следующим образом. При переводе на монгольский язык русских относительных прилагательных необходимо либо поставить соответствующие монгольские существительные в форме родительного или совместного падежа, либо образовать от них прилагательные при помощи особых формантов: *намын* «партийный»; *намын хороо* «партийный комитет» или «комитет партии»; *эвлэлийн* «союзный»; *үйлдвэрчний эвлэлийн хурал* «профсоюзное собрание» или «собрание профсоюза»; *хувьсгалт* «революционный»; *хувьсгалт нам* «революционная партия»; *хувьсгалын зам* «революционный путь» или «путь революции»; *ухаантай* «с умом, умный»; «*ухаантай морин* «умный конь»; *саруул ухаантай хүн* «человек со светлым умом».

Подобную же картину мы находим и в тюркских языках, в которых определительное отношение между именами устанавливается при помощи так называемой изафетно-притяжательной связи. Ср. в узбекском языке: *фанлар академияси* «академия наук» (буквально — «науки академия-их»); *шахмат тахтаси* «шахматная доска» (буквально — «шахматы доска-их»); *китоб магазини* «книжный магазин» (буквально — «книга магазин-ее»); *партия комитети* «партийный комитет» (буквально — «партия комитет-ее»); *фабрика бинолари* «фабричные здания» (буквально — «фабрика здания-ее»): *агитация пункти* «агитационный пункт» (буквально — «агитация пункт-ее»); *агитация иши* «агитационная работа» (буквально — «агитация работа-ее»).

В приведенных примерах иллюстрируется второй тип изафета, характерный тем, что определительное имя ставится в форме основного или именительного падежа, а определяемое сопровождается соответствующей притяжательной частицей или аффиксом принадлежности определенному лицу [7]. Третий тип изафета отличается от второго тем, что определительное

---

[6] А. Бобровников, Грамматика монгольско-калмыцкого языка, Казань, 1849, стр. 52—76.

[7] До сих пор монголисты не устанавливали наличия второго типа изафета в монгольских языках, а между тем случаи его применения в этих языках иногда встречаются, например: *энэ модү өндөр-ин˘ нада-луга адали билэ* (Б. Я. Владимирцов, Монгольский сборник рассказов из Pañcatantra, Лгр., 1921, стр. 496) «это дерево было с меня», буквально — «это дерево высота-его со мною одинаково было» («одинакова была»?); *тэрэ-бэр күчүн-ану гайихамшиг йеке* (там же, стр. 486) «сила его (льва) замечательно велика», буквально — «он сила-его удивительно велик» («велика»?); *тогус шибагун төрику дэгулдэгэ-ану* (Улаанбаторское издание монгольского текста Викрамадитья, 1928, стр. 11) «ожидаемый птенец павлина», буквально — «павлин птица имеющий родиться птенец-его» (но не «птенец, имеющий родиться павлином»).

имя ставится в форме родительного падежа, а определяемое сопровождается притяжательной частицей, например: *колхозниҥ пахтаси* «хлопок колхоза» (буквально — «колхоза хлопок-его»); *отниҥ боши* «голова лошади» (буквально — «лошади голова-ее»).

Суть второго и третьего типов изафета заключается, следовательно, в том, что определительная связь между именами невозможна путем простого соположения этих имен, т. е. нельзя, например, вместо *китоб магазини* или *колхозниҥ пахтаси* сказать *китоб магазин* и *колхоз пахта* в значениях «книжный магазин» и «хлопок колхоза», что было бы допустимо лишь в отношении «существительных-прилагательных» и явилось бы проявлением первого типа изафета. (Ср. кирг. *темир жол* «железная дорога», буквально — «железо дорога».)

Таким образом, именами существительными в алтайских языках в отличие от предметных имен надо безоговорочно признать только такие слова, которые исключают возможность применения первого типа изафета и в отношении определения которых как имен существительных среди алтаистов не может возникать спора. Следовательно, имена существительные — это слова, которые в словосочетаниях и предложениях могут выступать в функции определения других имен, если они соответствующим образом оформлены по второму или третьему типу изафета, в лексико-семантическом отношении — это слова главным образом не вещественного характера, т. е. отвлеченного и, как говорят монголисты, процессного значения («союз», «соединение», «партия», «мысль» и т. д.).

3

От имен «существительных-прилагательных» предстоит теперь отделить также имена прилагательные, которые обозначают признак или качество предмета непосредственно или по отношению последнего к другим предметам. Эти имена прилагательные в словосочетаниях и предложениях могут выступать в качестве определения других имен (особые случаи так называемой субстантивации этих прилагательных, конечно, имеют место и в алтайских языках), но сами лишены способности обрастать своими определениями так широко и свободно, как прочие имена. Имена прилагательные — это главным образом слова, производные от других, а также «готовые» прилагательные, заимствованные из русского, арабского, персидского, таджикского и других языков.

Среди имен прилагательных надо выделить некоторые качественные, которые могут употребляться и субстантивно, и аттрибутивно, совпадая в этом отношении с предметными именами, а также обладают способностью изменяться по степени качества и, аналитически, по степеням сравнения, уподобляясь на этот раз качественным именам, о которых см. ниже. Например: монг. *бүдүүн* «толстый, толщина», узб. *узун* «долгий, долгота». Сюда же следует отнести названия цветов и мастей типа, например: кирг. *кара* «черный», *ак* «белый», *сары* «желтый», *боз* «серый», *тору* «гнедой», *буурул* «чалый» или, соответственно, монг. *хар*, *цагаан*, *шар*, *бор*, *хээр*, *буурал* и т. п. Эти прилагательные, обозначающие качество или признак предмета непосредственно или же по отношению к другим предметам, никоим образом не следует смешивать с «существительными-прилагательными», а также с качественными именами, о чем мы будем говорить в нашем дальнейшем изложении.

В большинстве своем имена прилагательные являются относительными и образуются от имен существительных и предметных. Так, в монгольском языке при помощи форманта *-ту* от слов различных типов получаются бесспорные имена прилагательные, например: *агула* «гора». *агулату*

«горный» только в смысле «имеющий горы» (о местности); *морин* «конь», *мориту* «конный» только в смысле «имеющий коня». В тюркских языках этому монгольскому форманту соответствует *-лу, -ли*, например, узб. *-ли*: *сув* «вода», *сувли* «водный» в смысле «имеющий воду».

В монгольском языке имеются и другие форманты, при помощи которых от разных частей речи образуются относительные прилагательные (примеры ради удобства даются в комбинированной транскрипции):

1) *-хи*, образующий прилагательные от имен в форме дательно-местного падежа или локальных и временных наречий, например: *гэртэ* «в юрте», *гэртэхи* «находящийся в юрте»; *эндэ* «здесь», *эндэхи* «здешний»; *маргааша* «завтра», *маргаашахи* «завтрашний».

В узбекском языке монгольскому *-хи* соответствует *-ки~ги*, например: *ёз* «лето», *ёзги* «летний»; *ич* «внутренность», *ички* «внутренний»; *кеча* «вчера», *кечаги* «вчерашний»; *шаҳарда* «в городе», *шаҳардаги* «городской, находящийся в городе»; *уйда* «в доме», *уйдаги* «домашний, находящийся в доме» и т. п.;

2) *-мал*, образующий в монгольском языке прилагательные от глагольных основ, например: *зура-* «чертить», *зурамал* «исчерченный»; *бичи-* «писать», *бичимэл* «писанный».

Изложенным далеко не исчерпывается список имеющихся в монгольских языках формантов, при помощи которых образуются разного рода прилагательные и которые достаточно хорошо известны в литературе. Аналогичные форманты имеются, конечно, и в тюркских языках, например, в узбекском языке мы находим такие, как *-сумон* (*одам* «человек» — *одамсумон* «человекообразный»; *тухум* «яйцо», *тухумсумон* «яйцевидный»; *газ* «газ», *газсумон* «газообразный»), *-чан* (*иш* «работа», *ишчан* «работящий»; *кўнгил* «сердце», *кўнгилчан* «отзывчивый»; *уят* «стыд», *уятчан* «стыдливый»), *-чил* (*эп* «ловкость», *эпчил* «ловкий, расторопный»; *из* «след», *изчил* «последовательный»; *дард* «болезнь, *дардчил* «болезненный») и некоторые другие, в том числе и заимствованные из арабского и русского языков (*марказ* «центр», *марказий* «центральный»; *объект* «объект», *объектив* «объективный»)[8].

Необходимо обратить особое внимание на то, что прилагательные приведенного типа в монгольских и тюркских языках имеют весьма суженное значение. Так, например, бур. *моритo* «конный» означает только то, что некто или нечто имеет коня, тогда как русск. *конный* включает в себя самые разнообразные понятия, передаваемые на бурятский язык различным образом: «конная армия» *моритo арми*, «конный завод» *мориной завод* (буквально — «завод коня»), «конная телега» *морин тэргэн* (буквально — «конь телега»).

Мы не можем согласиться с теми языковедами, которые склонны имена существительные в формах родительного и совместного падежей считать прилагательными.

Дело в том, что имена существительные и предметные, даже находясь в форме родительного или совместного падежа, обладают способностью широко и свободно распространяться посредством своих собственных определений, состоящих из целых причастных и иных оборотов, тогда как имена прилагательные этой способности не имеют. Ср. бур. *одоо орохон хурын уһаяа тэндэ хэзрэй!* «воду от сегодняшнего дождя поставишь туда!» (буквально — «воду дождя, теперь пошедшего, туда поставишь!»); *ород дарханай хэһэн буутай баатар* «витязь, имеющий ружье, которое сделано русским мастером» (буквально — «витязь с ружьем, русским мастером сделанным»).

[8] А. Н. Кононов, Указ. соч., стр. 111—114.

Необходимо, впрочем, учесть возможность того, что в некоторых случаях отдельные имена в форме совместного падежа, повидимому, действительно могут переходить в разряд прилагательных или качественных имен, утрачивая указанную способность широкого и свободного распространения. Это, по преимуществу, такие отвлеченные имена, как, например, монг. *үнэ* «цена», *амжилт* «успех», *уйтгар* «скука, тоска» и даже *салхи* «ветер», от которых мы имеем формы совместного падежа в виде *үнэтэй* «ценный, дорогой», *амжилттай* «успешный», *уйтгартай* «скучный, тоскливый» и *салхитай* «ветренный». Дело в том, что по-монгольски нельзя сказать *энэ гэр тэр гэрээс устай* в смысле «этот дом более водный, чем тот дом» или *энэ цэрэг тэр цэргээс зэвсэгтэй* в смысле «этот воин более вооруженный, нежели тот воин», ибо эти фразы соответственно значат: «этот дом (получает) воду из того дома» и «этот воин (получает) оружие от того воина». Но зато вполне допустимо: *энэ бараа тэр бараанаас үнэтэй* «этот товар дороже того товара»; *энэ фабрикынхан тэр фабрикынхнаас амжилттай ажиллана* «коллектив этой фабрики работает успешнее коллектива той фабрики»; *энд тэндхээс уйтгартай* «здесь скучнее или тоскливее, чем там»; *голын дэргэд уулынхиас салхитай* «у реки ветреннее, чем у горы».

4

Таким образом, в монгольских и тюркских языках, наряду с той группой имен, которые иногда условно называются «существительными-прилагательными», мы находим и такие, которые действительно являются либо существительными, либо прилагательными, грамматически вполне оформленными и отчетливо выделяемыми в особые части речи. Если имена существительные выступают только субстантивно, а прилагательные — только аттрибутивно, то предметные имена в алтайских языках, попадая в словосочетания и предложения, могут выступать как субстантивно, так и аттрибутивно без какого бы то ни было оформления по первому типу изафета; в лексико-семантическом отношении — это преимущественно слова вещественного характера, обозначающие предметы, которые могут быть материалом для создания других предметов («дерево», «железо», «золото» и т. д.).

Это как раз такие слова, которые в зависимости от своего положения в сочетаниях слов и предложениях переводятся на русский язык то именами существительными, то прилагательными, смущая тем самым многих языковедов, например: кирг. *мында темир бар*, монг. *энд төмөр бий* «здесь есть железо»; кирг. *темир жол*, монг. *төмөр зам* «железная дорога».

Нельзя, однако, закрывать глаза на те трудности, которые связаны с выделением предметных имен в особый разряд, отличный от категории имен существительных. Именно поэтому для школьной практики мы считаем целесообразным рассматривать эти имена в составе существительных, но в исследовательском плане выделить их необходимо, несмотря на все имеющиеся трудности. Отметим здесь главнейшие из этих «трудностей».

Обычные имена существительные в позиции определения других имен выступают и в форме своей основы, т. е. подобно предметным именам без всякого морфологического оформления, например: бур. *монгол хэлэн* «монгольский язык», *ород хубсаһан* «русская одежда», *боошхо сүүзэн* «толстый живот» (буквально — «бочка живот»); кирг. *орус меш* «русская печь» (но: *орус тили* «русский язык», буквально — «русский язык-его»), *ай балта* «топор в форме полумесяца» (буквально — «месяц топор»)[9]; узб. *бош иншоот* «головное сооружение», *бош сўз* «предисловие» (бук-

[9] См. Х. Карасаев. Семантика падежей в киргизском языке, «Труды Института языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР», вып. I, Фрунзе, 1944, стр. 19.

вально — «голова слово»); монг. *үхэр тэрэг* «бычья телега» (буквально — «бык телега»), *морин тармуур* «конные грабли» (буквально — «конь грабли»), *усан тээрэм* «водяная мельница», *хонин жил* «год овцы» (буквально — «овца год»), *гар буу* «пистолет» (буквально — «рука ружье») и т. п. В некоторых из этих примеров мы видим уподобительные определения (кирг. *ай балта*), в качестве которых могут выступать и предметные имена, например, бур. *шулуун зүрхэн* «каменное, жесткое сердце» (буквально — «камень-сердце»).

С другой стороны, не следует думать, что предметные имена или «существительные-прилагательные» выступают в качестве определения других имен только в форме своей основы. Если эти имена обозначают не материал, из которого сделан предмет-определяемое (бур. *модон гэр* «деревянный дом»), и не предмет, которому уподобляется по своему внешнему или внутреннему качеству другой предмет (бур. *морин пряник* «фигурный пряник», буквально — «конь пряник»), а предмет, частью которого является или к которому имеет какое-либо отношение предмет-определяемое, то они соответственно оформляются при помощи родительного падежа или второго типа изафета, например: бур. *модоной орой* «верхушка дерева», *түмэрэй баһан* «шлак» (буквально —«помёт железа»); монг. *алтны дархан* «золотых дел мастер» (буквально — «золота мастер»), *төмрийн завод* «железоделательный завод»; узб. *темир саноати* «железоделательная промышленность» (буквально — «железо промышленность-его»); кирг. *май заводу* «маслобойный завод» и т. п.

Следует учитывать и то обстоятельство, что в одном и том же языке или в разных диалектах последнего встречаются различные типы оформления словосочетаний, например: бур. *бурхан* или *бурханай тура* «церковь» [буквально — «бог- (или «бога») здание»]; *нажар* (или *нажарай*) *саг* «летнее время» (буквально «лето-время» или «лета время»); узб. *билагузук* вместо *билак узуги* «браслет» (буквально — «запястье-кольцо» вместо «запястье кольцо-его»); *қўл соат* вместо *қўл соати* «ручные часы» (буквально — «рука часы» вместо «рука часы-ее») и т. п.[10] Равным образом, необходимо обратить внимание на то, что, например, в узбекском языке одно и то же понятие выражается синонимами: «дерево» — исконно узбекским *ёғоч* и заимствованным *дарахт*, из которых первое приходится отнести к предметным именам, а второе, означающее растущее дерево, — к существительным, поскольку оно аттрибутивно не употребляется по первому типу изафета. Кроме того, необходимо иметь в виду наличие целого ряда омонимов, исторически образовавшихся от одного и того же первоначально единого слова, например, типа узб. *кўк* «синий» и *кўк* «небо». К этим омонимам близки случаи переносного употребления тех или иных слов. Ср. бур. *нюдэнэй сагаан* «белок глаза» (буквально — «гла́за белое»), о чем см. ниже на стр. 88—89.

5

Изложенные явления, которые заслуживают пристального внимания языковедов, как уже сказано, иногда сильно «затрудняют» выделение предметных имен в особую часть речи, отличную от имен существительных. Казалось бы, в силу этих «трудностей» предметные имена допустимо отнести к именам существительным, в составе которых они могли бы образовать особую группу «вещественных существительных», категорию, установленную в русистике на несколько иных основаниях [11]. Но такое

[10] См. А. Н. Кононов, Указ. соч., стр. 238.

[11] См. Грамматика русского языка, т. I, Фонетика и морфология, М., изд. АН СССР, 1952, стр. 23 и 117—118. Применительно к некоторым алтайским языкам действительно надо говорить о «вещественных существительных», а не о предметных именах.

«решение» данного вопроса не смогло бы избавить языковедов от необходимости уделять особое внимание изучению этих предметных имен.

Некоторые авторы определяли предметные имена как омонимные части речи: существительные в субстантивном употреблении (узб. *мен бу темирни олдим* или монг. *би тэр төмөрийг авав* «я взял то железо») и прилагательные — в аттрибутивном (узб. *темир йўл* или монг. *төмөр зам* «железная дорога»). Но такое определение неправомерно, так как оно основано на смешении категорий морфологического и синтаксического порядка.

Отметим, однако, одно обстоятельство, которое сближает предметные имена в их определительном употреблении с прилагательными, а именно то, что предметные имена теряют способность обрастать своими собственными определениями так широко, как это возможно при их субстантивном употреблении. Говоря по-монгольски *модон ширээ* или по-киргизски *жыгач үстөл* «деревянный стол», т. е. «стол, сделанный из дерева», мы не сможем указать, из какого же дерева сделан этот стол,— для этого мы должны изменить весь оборот в целом и сказать примерно так: по-монгольски — *сайн модоор хийсэн ширээ*, а по-киргизски — *жакшы жыгачтан жасалган үстөл* «из хорошего дерева сделанный стол», т. е. прибегнуть к причастному обороту, ибо соответственно *сайн модон ширээ* и *жакшы жыгач үстөл* означали бы «хороший деревянный стол», который может быть сделан и из плохого дерева. Ср. русск. *деревянный ящик* и *ящик из черного дерева*; *мраморный монумент* и *монумент из уральского камня, обнаруженного и доставленного неутомимыми искателями*. В некоторых случаях предметное имя, являющееся определением другого имени, получает свое определение и без причастного оборота. Но это возможно только тогда, когда предметное имя вместе со своим определением составляет неделимую лексическую единицу, нераздельную и в фонетическом отношении. Например, монг. *цагаан — тугалган юм* «белая свинцовая вещь» и *цагаан-тугалган юм* «оловянная вещь (буквально — «белосвинцовая вещь»: *цагаан-тугалган* «олово») [12]. Ср. кирг. *кара-жыгач кашаа* «карагачевый забор, забор из карагача» (*кара-жыгач* буквально — «черное дерево»), но *кара — жыгач кашаа* «черный деревянный забор» [13].

Когда по-русски говорят *принесите деревянный*, то подразумевают «принесите нечто, сделанное из дерева», но не дерево. Если же сказать по-киргизски *жыгачты алып бар*, то, конечно, принесут именно дерево. Правда, в быстрой бытовой диалогической речи по-киргизски можно сказать *жыгачын алып бар*, но только в том случае, если говорящий и слушающий одинаково знают или видят о д н о р о д н ы е предметы, сделанные из разных материалов или разного качества, причем является обязательным притяжательное оформление (кирг. *жыгач-ы-н*), которое здесь из ряда известных или видимых о д н о р о д н ы х предметов выделяет нужное и необходимое. Если же слушающий не знает или не видит этих предметов, а на письме читатель — всего контекста, то выражения типа кирг. *жыгачын алып бар* могут быть поняты только в том смысле, что из ряда р а з н о р о д н ы х предметов, принадлежащих какому-то лицу, нужно принести именно дерево, а не что-то деревянное.

Иногда в поисках выхода из этих лингвистических «трудностей» некоторые языковеды предлагали все подобные определительные сочетания типа монг. *модон хашаа* и кирг. *жыгач кашаа* «деревянный забор» или

---

[12] Знаком «дефис» обозначаем слитное произношение или отсутствие паузы, а знаком тире — раздельное произношение или наличие паузы, т. е. интонационное членение.

[13] Указанием на эти факты мы обязаны А. И. Ишиеву. В киргизском языке *карагжыгач*, повидимому, контаминационно образовалось из другого сочетания, ср. узб. *қайрағоч* «карагач».

монг. *төмөр зам* и кирг. *темир жол* «железная дорога» считать неделимыми лексическими единицами, составные компоненты которых поэтому якобы не подлежат самостоятельному лексико-грамматическому разбору. На критике подобного «решения» данного вопроса можно, конечно, не останавливаться.

6

Если выделение предметных имен в особую часть речи, отличную от категории имен существительных, сопряжено с некоторыми «трудностями», а в ряде алтайских языков вообще невозможно, то выделение в особый разряд качественных имен, отличающихся и от качественных прилагательных, и от качественных наречий, не встречает никаких трудностей почти во всех этих языках.

Уже давно было замечено, что в алтайских языках определенная группа имен, в зависимости от своего положения в словосочетаниях и предложениях, соответствует то прилагательным, то качественным наречиям, иногда же отвлеченным существительным «качества» (типа русск. *красота, длина, глубина, быстрота* и т. п.) индоевропейских и других языков. Например: узб. *чуқур ўйлади* «глубоко думал», *чуқур денгиз* «глубокое море», *денгизнинг чуқури* «глубина моря» и, переносно, *чуқурга йиқилди* «упал в яму»; кирг. *жакшы ат* «хорошая лошадь», *жакшы жаз-* «хорошо писать»; монг. *хурдан морь* «быстрая лошадь», *хурдан явна* «быстро идет», *морины хурдан* «быстрота лошади»; бур. *муу газар* «плохое место». *муу ябана* «плохо идет, плохо живет», *минии мууе бү дурда*! «не касайся (в разговоре) моего изъяна!»; казах. *ұзақ жер* «далекое место», *ол ұзақ сөйледі* «он долго говорил».

В этих примерах узб. *чуқур* означает «глубокий», «глубоко», «глубина» и, субстантивно, «яма»; кирг. *жакшы* — «хороший» и «хорошо»; монг. *хурдан* — «быстрый», «быстро» и «быстрота»; бур. *муу* — «плохой», «плохо» и «изъян» или, так сказать, «плохость»; каз. *ұзақ* — «далекий» и «долго».

Насчет узб. *чуқур*, судя по данным некоторых других тюркских языков, где оно не имеет значения «глубоко, глубокий, глубина», можно предположить, что его значение «яма, впадина» является более первичным. Но для нашего анализа важно отметить, что это слово в своих различных значениях грамматически ведет себя различным образом.

В алтаистической литературе имеется бесконечное количество разных мнений относительно подобных слов, и определяются они то как прилагательные, то как наречия, то, наконец, как «прилагательные-наречия» [14].

Автор настоящей статьи в своей «Грамматике бурят-монгольского языка» употребил термин «качественные имена», характерная особенность которых заключается в том, что они обозначают признак предмета и действия, тогда как прилагательные выражают признак только предмета, а качественные наречия — только действия [15]. Таким образом, термин «качественное имя» был использован нами в совершенно ином значении, нежели то, в котором он впервые был введен в научный оборот более ста лет назад А. Бобровниковым без учета приглагольного употребления описываемой части речи в монгольских языках.

В 1941 г. мы указывали, что почти у всех алтаистов фигурирует формулировка: «прилагательные в большинстве случаев могут употребляться как качественные наречия»—и что они, алтаисты, не подозревают возмож-

[14] См. А. Исаков, Указ. соч., в котором дается также краткий обзор тюркологической литературы по вопросу о «прилагательных наречиях».

[15] См. Г. Д. Санжеев, Грамматика бурят-монгольского языка, М.— Л., 1941, стр. 31—41.

ности обратной перестановки их формулировки: «почти все наречия образа действия могут употребляться как прилагательные» [16]. Но такой возможностью в то время уже воспользовался проф. С. К. Кенесбаев, который писал: «Отдельные наречия в казахском языке, в зависимости от словосочетаний в предложении (от контекста), могут играть роль и прилагательных, т. е. разница между такими наречиями и прилагательными носит чисто синтаксический характер. Например, *мен бір жақсы кітап сатып алдым* «я купил одну хорошую книгу» и *мен мектепте жақсы оқыймын* «я в школе хорошо учусь» [17]. Однако в другом месте проф. С. К. Кенесбаев писал следующее: «... казахские прилагательные (качественные) употребляются в значении наречия — обстоятельства образа действия, когда они находятся перед глаголом — сказуемым в предложении. Например: *...ол кітапты жақсы оқыды* «он книгу хорошо читал» [18].

Читатель, конечно, в недоумении: что же такое *жақсы*? Наречие, которое играет роль прилагательного, или же прилагательное, которое употребляется в значении наречия? На этот вопрос многие языковеды отвечают: прилагательное, когда оно оказывается перед именем, и наречие, когда оно находится перед глаголом, так же, как, например, кирг. *темир* — существительное в сочетании *темир бар* «имеется железо» и прилагательное в сочетании *темир жол* «железная дорога».

7

Не приводим здесь также и всех теоретических высказываний по поводу качественных имен в тунгусо-маньчжуроведении, столь же запутанных, как и в монголистике или тюркологии. Отметим только правильную точку зрения В. А. Аврорина, который, подробно исследовав эти имена по данным нанайского языка, писал следующее: «Какое же название может быть дано этой лексико-грамматической категории? Мне кажется, что наиболее приемлемым, хотя, понятно, и условным, следует считать термин «имя качества» [19]. В. А. Аврорин совершенно правильно подчеркивает, что недопустимо «смешение и даже отождествление частей речи и членов предложения», и иллюстрирует категорию «имени качества» такими примерами из нанайского языка: *улэн сингактани* «хорошего меха»; *сингактани улэн* «мех хорош»; *улэн ярсиру* «хорошо рассмотри!»; (*сингактани мэнэ*) *улэмби хуэдэйни* «(мех-ее) свою хорошесть (т. е. высокое качество) теряет»; (*сингакта*) *улэни манга* «(меха) хорошесть высока»; *улэмбэ таорива мурчиси-ну*? «хорошее (нечто) сделать думаешь?» [20] и т. п.

Далее В. А. Аврорин замечает: «...если одно и то же слово становится в различных синтаксических функциях чем-то напоминающим то прилагательное, то наречие, то существительное, это свидетельствует о том, что в действительности оно, не является ни тем, ни другим, ни третьим, а чем-то совершенно особым, представителем самостоятельной лексико-грамматической кате-

---

[16] См. там же, стр. 33.
[17] С. Кенесбаев, Грамматика казахского языка, Алма-Ата, 1941, стр. 96.
[18] Там же, стр. 41.
[19] В. А. Аврорин, Очерки по синтаксису нанайского языка, Л., 1948, стр. 37—38. Ср. О. П. Суник, Очерки по синтаксису тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1947, стр. 102—112.
[20] Там же, стр. 36.

гории, полного соответствия которой не следует и пытаться найти в языках индоевропейской системы» [21].

Из всего вышесказанного видно, что качественные имена алтайских языков соответствуют различным категориям других языков, а именно:

1) будучи употреблены не в синтаксической функции определения имени или глагола [22], они соответствуют отвлеченным именам существительным «качества», чаще всего производным от качественных прилагательных, например: узб. *денгизнинг чуқурига* «в глубину моря»; монг. *морины хурданыг яах вэ*! (из песни) «что же поделаешь с быстротой коня!»;

2) в функции определения других имен или в позиции сказуемого они соответствуют качественным прилагательным, например: узб. *чуқур денгиз* «глубокое море»; монг. *хурдан морь* «быстрый конь», *энэ морь хурдан болов* «этот конь сделался быстрым»;

3) в функции обстоятельства образа действия или вообще находясь перед глаголом — качественным наречиям, например: узб. *чуқур ўйлади* «глубоко думал», монг. *хурдан явна* «быстро идет», *хурдан явсан нь цагтаа хүрнэ* «быстро пошедший во-время достигнет».

Таким образом, те алтаисты, которые в отношении предметных имен пользуются термином «существительные-прилагательные», должны были бы назвать качественные имена не «прилагательными-наречиями», а «существительными-прилагательными-наречиями».

Качественные имена в алтайских языках обладают способностью изменяться по степени качества и, аналитически — по степеням сравнения [23]. В этом отношении к качественным именам примыкают и качественные прилагательные, за исключением некоторых названий мастей животных. В описательных грамматиках алтайских языков достаточно подробно, хотя и не всегда точно, излагаются разные формы и способы выражения этих степеней качества и сравнения, между которыми, однако, иногда не проводится необходимое различие [24].

Итак, качественные имена в алтайских языках — это особая категория таких имен, которые обозначают признак как предмета, так и действия. Этого нельзя сказать ни об именах прилагательных вообще, обозначающих только признак предмета и потому способных быть лишь определителями имен, ни о качественных наречиях, обозначающих только признак действия и выступающих лишь в функции определителей глагола. Поэтому качественные имена нельзя смешивать ни с прилагательными, ни с качественными наречиями.

[21] В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 37 (разрядка наша.—*Г. С.*). Здесь мы не касаемся взглядов В. А. Аврорина на другие части речи и их подгруппы в нанайском языке—местоимения, глаголы, в том числе—причастия, числительные и т. д. Не останавливаемся мы также и на ошибках В. А. Аврорина марровского характера, особенно обильно представленных во введении. Однако подобные ошибки В. А. Аврорина ни в какой степени не должны заслонять собою те весьма ценные наблюдения и правильные выводы, которые в его работе теперь очень легко могут быть освобождены от марровской шелухи.

[22] Качественные имена со значением, соответствующим значению отвлеченных имен существительных «качества», в разных алтайских языках или в разных стилях последних представлены далеко не одинаково; в некоторых из этих языков, главным образом в научно-публицистическом стиле, от качественных имен и прилагательных образуются особые имена с отвлеченным значением, например, узб. *узунлиқ* «долгота» от *узун* «долгий» и, в обычной речи, «долгота»; *яхшилиқ* «доброта» от *яхши* «добрый, хороший, хорошо». Подобные новообразования имеются и в других алтайских языках. Надо заметить, что практически не каждое качественное имя употребляется во всех трех указанных положениях, как в русском языке не каждый глагол имеет формы всех видов, залогов и т. д.

[23] О степенях качества и сравнения в русском языке см. В. В. Виноградов, Указ. соч., 236—261.

[24] Это хорошо показано в работе Г. Г. Мусабаева «Степени сравнения в казахском языке», Алма-Ата, 1951. Эта работа опубликована, к сожалению, только на казахском языке.

8

Остается сказать несколько слов по поводу так называемой субстантивации качественных имен (и прилагательных) в алтайских языках. В употреблении этих имен можно отметить следующие случаи:

1) переносное употребление, допустимое только в определенных лексических сочетаниях типа бур. *нюдэнэй сагаан* «белок» (буквально — «глáза белое»), кирг. *кара сана-* «думать плохое, затаить злобу» или бур. (диалектн.) *хурдан хара* «водка» (буквально — «быстрое черное»).

2) образование омонимов от первоначально одного и того же слова, например, узб. *кўк* «синий» и *кўк* «небо» (первоначально *кўк* значило только «синий»); как уже говорилось, явления омонимии не следует смешивать с переносным употреблением соответствующих слов, особенно «цветовых» прилагательных;

3) обычное употребление, которое не приводит к образованию омонимов; так, например, в узб. *чуқур ўйлади* «глубоко думал», *чуқур денгиз* «глубокое море» и *денгизнинг чуқури* «глубина моря» слово *чуқур* во всех этих случаях относится к одной и той же части речи, к категории качественных имен.

Но это же узб. *чуқур* в значении «яма» (*чуқурга йиқилди* «упал в яму») образовало омоним и из разряда качественных имен перешло в разряд существительных, если это значение не является первоначальным. Стало быть, нельзя ставить на одну доску *чуқур* «глубина» и *чуқур* «яма», ибо первое не является проявлением субстантивации и не может быть смешиваемо с субстантивацией в собственном смысле этого термина. Здесь мы имеем в виду также явления типа кирг. *бозго жакындадык* «мы приблизились к серому» (т. е. коню) или *ак* «молоко, молочные продукты» (буквально — «белое») и бур. *манай hайхан нааданда гараа* «наша красавица ушла на игрище», *энэ бүдүүн хэзээ ерээб?* «когда пришел этот толстяк?» и *хурдан хараа унаад ябаарай* «поедешь на быстром вороном». В этих фразах качественное имя *hайхан* «красота, красивый, красиво» и качественные прилагательные *боз* — «серый», *бүдүүн* «толстый» и *хара* «черный» явно субстантивированы в значения «серый», «красавица» (а может быть, и «красавец»), «толстяк» и «вороной».

Эти имена мы не могли бы считать субстантивированными, если бы они были употреблены соответственно в значениях «серость», «красота», «толщина» и «чернота», иллюстрирующих обычное употребление данных слов: бур. *энэ басаганай hайханиие харыш!* «посмотри на красоту этой девушки», *тэрэ модоной бүдүүнинь гайхалтай* «толщина того дерева удивительна» и *хөөгэй хара* «чернота угля».

Дело в том, что качественные имена, подвергшись субстантивации и переходя тем самым в разряд существительных, обозначают уже не какие-либо качества, а предметы, обладающие данными качествами. Например, бур. *манай hайхан наадanda гараа* «наша красавица ушла на игрище» (конечно, не «наша красота ушла на игрище»!). Ср. бурятское же *энэ басаганай hайхандань хэншхи дуралаха даа!* «в красоту этой девушки влюбится каждый!» (смысл: «в эту девушку каждый влюбится по причине ее красоты!»). Кроме того, подобные субстантивированные прилагательные и качественные имена типа кирг. *ак* «молоко, молочные продукты» уже не могут участвовать в конструкциях со степенями сравнения, что очень важно в грамматическом отношении. Например, узб. *чуқур* «яма, впадина» не может быть употреблено в обороте типа *бу йўл бизнинг йўлдан чуқур* «эта дорога более «ямистая», нежели наша дорога». Именно поэтому *чуқур* «глубокий, глубоко, глубина» и *чуқур* «яма, впадина» грамматически оказываются в составе разных частей речи, тогда как в русском языке *юношество* «юность» и *юношество* «юноши» — одно и то же слово с раз-

ными значениями (в первом — качество, а во втором — лица, обладающие данным качеством), но не два разных слова; ср. *молодость* и *молодежь*.

И. В. Сталин пишет: «Отличительная черта грамматики состоит в том, что она дает правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности; она дает правила для составления предложений, имея в виду не какие-либо конкретные предложения, скажем, конкретное подлежащее, конкретное сказуемое и т. п., а вообще всякие предложения, безотносительно к конкретной форме того или иного предложения. Следовательно, абстрагируясь от частного и конкретного, как в словах, так и в предложениях, грамматика берет то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях, и строит из него грамматические правила, грамматические законы. Грамматика есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления» [25]. В свете этого указания ясно, что узб. *чуқур* в значениях «глубокий, глубоко, глубина» подчинено тем грамматическим правилам, которые имеют в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности, тогда как употребление *чуқур* в значении «яма» опирается на другие правила, правила изменения значения слова, которые подлежат конкретному изучению в историко-этимологическом и лексико-семасиологическом планах и могут давать в разных языках одной и той же родственной группы совершенно различные результаты.

Свойство качественных имен выступать в различных лексических значениях и их склоняемость по падежам можно проиллюстрировать следующими примерами из фольклора: 1) в одной монгольской песне в уста волка, гонимого охотниками, вкладывается такое выражение: *морины хурданыг яах вэ!* «что же поделаешь с быстротой лошади!», т. е. «что же поделаешь, если лошадь так быстра!»; 2) в бурятских былинах, обычно — в концовках, встречается выражение: «*Үнэгэнэй хурдание үлдэжэ яажа хүсэхэб!* «как бы догнать, гонясь, из лисиц быструю!» В этих примерах при абсолютно одинаковом оформлении одного и того же качественного имени *хурдан* — винительный падеж и препозиция родительного падежа *морины* «лошади» и *үнэгэнэй* «лисицы» — данное имя получает различное значение, поскольку в первом примере речь идет о быстроте лошади, а во втором — не о быстроте лисицы, а о быстрой из лисиц! То же самое мы увидим в монгольских фольклорных выражениях *эрийн сайн* «лучший из мужей» и *эрийн сайныг эрдмээр нь* «качество мужа (познается) по его способностям»: точный смысл устанавливается по контексту речи и обстановке собеседования. Ср. кирг. *аттын жакшысы* «лучший из коней»; *аргымактын жакшысы чапса күлүк, сатса бул* «аргамак тем хорош, что в езде — скакун, в продаже — деньги», буквально — «аргамака хорошесть (в том, что) если ездить — скакун, если продать — деньги» [26].

То же самое надо сказать и о причастиях в монгольском языке: 1) *тэдгээрийн урьд явсан нь гайхмаар* «странно, что они пошли впереди» и 2) *урьд явсан нь далайн ус шавхав, хойно явсан нь хоосоор хоцров* «шедший впереди выпил всю воду у моря, шедший позади голодный остался» (так много было скота!). В первом примере причастие *явсан* означает действие, а во втором — то же причастие означает уже не действие, а исполнителя действия.

---

[25] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 24.

[26] К. К. Юдахин, Киргизско-русский словарь, М., 1940, стр. 46.

Качественные имена, как и прилагательные и причастия, не имеют формы множественного числа, а будучи поставлены в этой форме, превращаются в имена существительные, например: монг. *сайн*, узб. *яхши* «хороший, хорошо, качество», но монг. *сайд* «лучшие люди» (ныне «министр»,— ед. число!), узб. *яхшилар* «лучшие люди». Ср. также причастия монг. *явсан* «ушедший», *явсад* «ушедшие» (о живых существах и лишь субстантивно); *ирсэн* «пришедший», *ирсэд* «пришедшие, прибывшие» (только о людях). В старомонгольском и современном бурят-монгольском языках причастия и качественные имена иногда согласуются в числе с определяемым, например: старомонг. *ирэгсэд кümüс* «прибывшие люди»; бур. *багануud гэрнүүд* «маленькие юрты». Любопытно, что в бурят-монгольском языке при наличии определения, поставленного в форме множественного числа, определяемое часто остается в форме единственного числа: *багануud гэр* «маленькие юрты», буквально — «маленькие юрта» (по аналогии с *арбан гэр* «десять юрт», буквально — «десять юрта»).

9

Кратко остановимся теперь на вопросе о качественных наречиях или наречиях образа действия. В алтайских языках они должны быть определены как особая группа слов (в составе наречий вообще), которые обозначают только признак действия и поэтому выступают в соединениях слов лишь определителями глагола или — в предложениях — обстоятельствами образа действия [27].

Таковы в монгольском языке слова типа *хага* «пополам», *бут* «вдребезги», *эгшинээ* «моментально», *даруй* «немедленно, непосредственно, сразу же» и т. п., например: *хага цавчих* «расколоть», т. е. «пополам колоть» *бут унагаах* «разбить вдребезги»; *даруй яв!* «отправляйся немедленно!». Таковы же в казахском языке слова типа *жорта* «умышленно, нарочно», *олай* «так», *зорға* «насилу, едва-едва», *жатқа* «наизусть», *бірден* «сразу», *балаша* «по-детски» (и вообще многие производные слова с формантом *-ша*), *қуана-қуана* «с радостью, радостно», *сөзбе-сөз* «дословно, точно, слово в слово» и т. п., например: *Асқар жеті күнде зорға жетті* «Аскар насилу доехал в семь дней»: *Шашубай білетін еді жатқа бәрін* «Шашубай все знал наизусть»: *ол Сақыбың жолым үйіне бірден бармады* «она в скромную юрту Сакия не сразу поехала»; *Хасен балаша жылады* «Хасен плакал по-детски, как дитя»: *қыз қуана-қуана арбаға мінді* «девушка с радостью села на телегу»: *Асқар Андрейдің сөзін сөзбе-сөз аударды* «Аскар перевел слова Андрея дословно» [28]. Подобные же наречия имеются и в узбекском языке: *югурганича* «бегом», *шошилганича* «торопливо», *бирга* «вместе» и многие другие, образованные как морфологически, так и лексико-синтаксически [29].

Качественные наречия, как и многие наречия вообще, в алтайских языках в большинстве случаев являются производными от других частей речи, т. е. словами, которые закрепили за собою определенные лексико-грамматические свойства и функции, как это на материале казахского языка хорошо показано, например, в работе А. Искакова о наречиях

---

[27] Неправ Д. А. Алексеев (Указ. соч., стр. 157), когда он замечает: «...зачем же Г. Д. Санжеев выделяет наречие как самостоятельную часть речи, если оно является составным элементом качественного имени? Здесь он противоречит самому себе... С одной стороны, у него качественное имя точно соответствует наречию образа действия, а с другой,— наречие образа действия отличается от тех же качественных имен». Читатель, конечно, уже заметил, что на самом деле в нашем изложении наречие не является «составным элементом качественного имени», а образует в алтайских языках особую категорию.

[28] А. Искаков, Указ. соч., стр. 26—32.

[29] А. Н. Кононов, Указ. соч., стр. 215—216.

в современном казахском языке [30]. Понятно, что производный характер большинства качественных наречий алтайских языков совершенно не меняет современной природы и сущности этих наречий.

Таким образом, в алтайских языках мы находим следующие пять частей речи (кроме глаголов, местоимений, числительных, наречий вообще и других частей речи, оставшихся за рамками нашего обозрения): 1) имена существительные, 2) предметные имена, 3) имена прилагательные, 4) качественные имена и 5) качественные наречия, которые входят в более обширный разряд наречий вообще.

Но своеобразие каждого из алтайских языков таково, что изучение одного из них ни в какой степени не может дать нам полного представления о другом языке. Так, например, в некоторых алтайских языках предметные имена не образуют особой части речи, а составляют лишь группу «вещественных существительных», категорию, установленную в русистике, как уже говорилось, на несколько иных основаниях. Существенные различия между алтайскими языками становятся особенно заметными тогда, когда мы подходим к определенным группам слов. Так, например, если монг. *күчүн* «сила» является именем существительным, то в горноалтайском языке *куч* оказывается уже качественным именем в значении «сила, сильный, сильно».

10

В алтайских языках все слова могут быть подразделены на производные и непроизводные. Последние можно считать в известном смысле коренными, так как их составные части обнаруживаются только в результате историко-этимологического анализа. Так, например, монг. *цасан* «снег» исторически состоит из словообразующего суффикса *-сан* <*-сун*, ныне почти непродуктивного, и омертвелого корня *ца-*, наличного в составе таких слов, как *цагаан* (<*ца-* + *-ган* <*гаан*) «белый» и *цай-* (<*ца-* + + *-й* <*-йи*) «белеть, светать»; этот корень *ца-* в современном монгольском языке не имеет никакого значения, а потому слова *цасан*, *цагаан* и *цай-* не осознаются как производные от корня *ца-* и генетически связанные друг с другом.

При установлении критериев определения принадлежности тех или иных слов к соответствующим частям речи алтаистам целесообразнее идти по линии наибольшего сопротивления, т. е. иметь дело со словами, состоящими из одного корня, из одной корневой морфемы, а также со словами, образованными из сложения только корневых слов. Что касается производных слов, то их лексико-грамматическая природа легко устанавливается по их словообразующим морфемам, которые почти всегда могут служить отчетливыми показателями принадлежности соответствующих слов к той или иной части речи. Поскольку части речи представляют собою лексико-грамматические категории, то критерии эти должны быть и лексическими, или семасиологическими, и грамматическими, точнее — синтаксическими. Это не значит, что в данном случае мы можем части речи механически уподоблять членам предложения, т. е. смешивать одни категории с другими. Ведь всякое именное слово может выступать в ка-

[30] Мы только не можем согласиться с утверждением А. Искакова о том, что в казахском языке имена существительные *жаз* «лето», *қыс* «зима» и *күз* «осень» превратились в наречия времени во фразах типа *жаз шанаңды сайла, қыс арбаңды сайла* «летом готовь сани, а зимою — телегу» и *шалдың қызы күз қалаға оқуға кетті* «дочь старика осенью поехала в город на учебу», ибо в таком случае придется считать наречиями и слова типа кирг. *базар* «базар» (*базар бар* вместо *базарга бар* «иди на базар») или узб. имени собственного *Тошкент* (*Тошкентга борди* вместо *Тошкентга борди* «отправился в Ташкент»), ведь это — явления одного и того же порядка: пропуск окончания дательно-направительного и винительного падежей.

честве любого из членов предложения без какого бы то ни было изменения своей лексико-грамматической природы, т. е. не переставая быть самим собою и не переходя из одной части речи в другую. Так, например, монг. *сайн* «хорошо, хороший, добрый, доброта, добротность» не перестает быть качественным именем во всех тех синтаксических положениях, в которых оно в других языках будет соответствовать словам из разных частей речи: *танай сайн мэдээтэй* «ваша доброта известна»; *энэ бол сайн морь* «это хорошая лошадь»; *энэ морь сайн болов* «эта лошадь стала хорошей»; *энэ сурагч сайн уншина* «этот ученик хорошо читает»; *эрийн сайныг эрдмээр нь* «качество мужа (познается) по его способностям».

Сказанное означает, что при определении лексико-грамматической природы того или иного слова мы не можем идти как по пути Ф. Ф. Фортунатова, так и по пути Г. Пауля, сторонников «нового учения» о языке Н. Я. Марра и других, смешивающих части речи с членами предложения. При определении принадлежности того или иного слова к той или иной части речи мы должны учитывать, во-первых, лексико-семасиологическую природу (лексическое значение) данного слова, и, во-вторых, как и каким образом оно ведет себя в том или ином синтаксическом положении [31]. Конечно, не малое значение имеет и то, какими морфологическими категориями обладает соответствующее слово. Это означает, что данное слово должно изучаться в совокупности всех своих форм, которыми оно обладает как представитель определенного разряда слов. Так, например, для выделения имен числительных в монгольских языках в особую часть речи имеется то основание, что только они имеют категории или формы порядковости, разделительности и собирательности (кроме количественности): *тав* «пять», *тавдугаар* «пятый», *таваад* «по пять» и *тавуулан* «впятером». Качественные имена в монгольском языке, морфологически никак не выделяясь (речь здесь идет о корневых словах), характеризуются, в частности, тем, что только они могут иметь формы степеней качества и, аналитически, степеней сравнения (*энэ морь тэр мориноос хурдан* «эта лошадь быстрее той лошади»). То же самое нужно сказать и о качественных прилагательных (*хар* «черный», *харавтар* «черноватый». *энэ самбар тэр самбараас хар* «эта доска чернее той доски»).

Категория падежа свойственна всем именам, а равно и причастиям: склоняемость слова по падежам говорит только о принадлежности его к имени вообще. Именно поэтому в алтайских языках имена по типам своего склонения подразделяются на определенные группы только по фонетическому признаку, но ни в коем случае не в зависимости от своей принадлежности к той или иной части речи или к определенным группам внутри последней. Так называемая несклоняемость имен зависит только от того синтаксического положения, в которое они попадают: даже существительное остается в своей нулевой форме (иначе говоря, в форме основного или именительного падежа, т. е. в так называемой словарной форме), если оно не является поссессивным определением, обстоятельством или дополнением, последним в ряду однородных членов предложения, на-

[31] Ср. А. Искаков. О классификации частей речи в казахском языке (Сб. «Вопросы изучения языков народов Средней Азии и Казахстана в свете учения И. В. Сталина о языке». Ташкент. 1952, стр. 126): «Однако в тюркских языках при отнесении какого-либо слова к определенной части речи мы должны принимать во внимание прежде всего лексико-семантическое значение слова и его морфологический показатель, а не синтаксическую функцию слова, роль которой чересчур преувеличивалась до сих пор и преувеличивается сейчас». Но дело в том, что корневые или непроизводные слова морфологического показателя не имеют: синтаксическая же функция слова должна учитываться, но лишь в плане изучения того, как она выполняется теми или иными разрядами слов, ибо, например, имена существительные и качественные в положении подлежащего часто ведут себя совершенно различно.

пример: монг. *гар үйлдвэр* «кустарное производство», буквально — «рука производство», *гар хөлөөр нь* «по рукам и ногам» (буквально — «рука ногою»), узб. *қўл соат* «ручные часы» (буквально — «рука часы»), *Тошкент, Самарқанд, Бухорода мактаблар кўп* «в Ташкенте, Самарканде и Бухаре много школ» (буквально — «Ташкент, Самарканд, Бухаре много школ»); *шахмат тахтаси* «шахматная доска» (буквально — «шахматы доска -их»).

Таким образом, в алтайских языках нельзя определить части речи, если подходить к ним только семасиологически или только грамматически. Грамматический же аспект определения частей речи оказывается весьма различным от языка к языку: в одном языке может превалировать морфологическая сторона, в другом — синтаксическая, а в третьем — обе эти стороны могут быть представлены в более или менее одинаковой степени. Более того, в одном и том же языке морфологическая и синтаксическая стороны грамматического аспекта в определении частей речи могут оказаться различными в отношении разных частей речи или разных групп в составе одной и той же части речи, например, в отношении имен производных и непроизводных, как это мы видим в алтайских языках.

«Всякое слово оформлено уже тем,— пишет В. В. Виноградов,— что оно несет известные грамматические функции, занимает определенное место в грамматической системе языка, подводится под ту или иную грамматическую категорию» [32], в силу, добавим мы от себя, своей особой лексико-семасиологической природы, формирующей в каждом данном языке соответствующие грамматические категории. В этом плане нельзя не согласиться с В. В. Виноградовым, когда он пишет, что «целесообразнее вместо употребления термина форма в этом значении пользоваться термином формальный признак, или внешний выразитель грамматической категории» [33]. Этот «внешний выразитель грамматической категории» представлен не только суффиксами и окончаниями, но и той или иной способностью данного слова вступать в определенные сочетания с другими словами в определенных же категориальных значениях и функциях, вступать в эти сочетания свойственным только данной группе слов способом, что позволяет говорить о той или иной части речи конкретного языка в полной зависимости от специфики его грамматической системы. Ведь «внешний выразитель» и есть та материальная языковая оболочка, в которую облекается та или иная грамматическая категория. «...именно благодаря грамматике язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку» [34].

Таким образом, концепция «нового учения» о языке об односторонней зависимости частей речи от членов предложения оказывается явно несостоятельной и в свете материалов алтайских языков. Когда мы указываем определенные синтаксические пометы той или иной части речи, то этим самым вовсе не утверждается, что синтаксис односторонне определяет оформление частей речи. Дело здесь обстоит примерно так же, как с определением удельного веса того или иного тела: дерево не потому легче воды, что оно не тонет; скорее наоборот: дерево потому не тонет, что оно легче воды. Л. В. Щерба, как известно, говорил, что слова *стол, медведь* и т. п. не потому считаются существительными, что они склоняются; скорее, потому их склоняют, что они существительные [35].

Лексико-грамматические или лексико-семасиологические свойства данного слова вовсе не создаются его синтаксическим отношением к дру-

[32] В. В. Виноградов, Указ. соч., стр. 33.
[33] Там же, стр. 32.
[34] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 24.
[35] Ср. В. В. Виноградов, Учение академика А. А. Шахматова о грамматических формах слов и о частях речи в современном русском языке, «Доклады и сообщения» Ин-та языкознания АН СССР, I, М., 1952, стр. 47.

гим словам, а лишь обнаруживаются в таком отношении [36]. Так, например, узб. *кўк* «синий», монг. *эрдэмт* «образованный, ученый» и русск. *рабочий* (прилагательное!) соответственно в значениях «небо», «знаток, ученый» и «труженик промышленности» переходят в разряд существительных вовсе не потому, что изменяется их синтаксическое отношение к другим словам, а потому, что изменяются их лексико-семасиологические свойства. Последние не создаются в определенном синтаксическом отношении соответствующих слов к другим словам, но лишь обнаруживаются и формируются. Не обнаруживаться и не формироваться в сочетаниях слов эти свойства не могут. «Форма существенна. Сущность формирована. Так или иначе в зависимости и от сущности...» [37].

Сторонники так называемого «нового учения» о языке совершенно не понимали подлинного значения семасиологии и надлежащим образом не использовали и не могли использовать ее данных, так как, злоупотребляя ею и истолковывая ее в вульгарно-социологическом плане, попали в болото идеализма. И. В. Сталин учит: «Семантика (семасиология) является одной из важных частей языкознания. Смысловая сторона слов и выражений имеет серьезное значение в деле изучения языка. Поэтому семантике (семасиологии) должно быть обеспечено в языкознании подобающее ей место» [38]. Далее И. В. Сталин пишет: «Однако, разрабатывая вопросы семантики и используя ее данные, никоим образом нельзя переоценивать ее значение, и тем более — нельзя злоупотреблять ею» [39].

Поэтому части речи должны изучаться и определяться как семасиологически, так и грамматически. «Материя не суть *основание* формы, а единство основания и обоснованного. Материя есть *пассивное*, форма— *активное*... „Материя должна быть оформлена, а форма должна материализоваться"...» [40].

Результаты подобного изучения помогли бы понять, как сам язык распределяет и формирует свой словарный состав по определенным классам, частям речи, и положили бы конец попыткам произвольно навязать изучаемому языку то, что обнаружено в других языках, попыткам, которые поддерживаются смешением одних категорий с другими, а также неверным истолкованием переводов соответствующих тюркских или монгольских слов и выражений на какой-либо другой язык, т. е. все теми же односторонними семантическими увлечениями и злоупотреблениями. Эти же результаты помогли бы нам полностью отрешиться от того неверного, антинаучного взгляда, что будто бы алтайским языкам свойственны «недифференцированность» частей речи и отсутствие грамматической четкости в оформлении последних,— взгляда, основанного на непонимании того, что в этих языках мы находим иную систему грамматических категорий, нежели, например, в индоевропейских языках.

Специфические особенности алтайских языков не могут служить основанием для поисков в этих языках «архаических» черт, по которым якобы можно восстановить или истолковать далекое прошлое других, иноструктурных языков; такими поисками занимались сторонники порочной теории Н. Я. Марра о стадиальном развитии языков, объективно смыкавшейся с буржуазными, идеалистическими домыслами о «неравноценности» раз-

---

[36] См. К. Маркс. **Капитал**, Госполитиздат, 1950, т. I, стр. 64: «...свойства данной вещи не создаются ее отношением к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении...»

[37] В. И. Ленин. **Философские тетради**, М., 1947, стр. 119.

[38] И. Сталин, **Марксизм и вопросы языкознания**, стр. 37—38.

[39] Там же, стр. 38.

[40] В. И. Ленин. **Философские тетради**, стр. 120. (Конспект кн. Гегеля «Наука логики».)

личных языков. При наличии в каком-либо языке форм и категорий, отсутствующих в «избранных» языках, любители антиисторических стадиальных сопоставлений, не понимающие и игнорирующие внутренние законы развития и национальную самобытность языка, сочиняли всяческие домыслы об излишней громоздкости, ненужной конкретности и неупорядоченности в структуре данного языка, об отсутствии в нем настоящей грамматической абстракции, а с другой стороны, этому же самому языку приписывали «недифференцированность», «неразвитость» и «аморфность» грамматических категорий, если в нем не обнаруживалось то, что привычно и знакомо по «избранным» языкам и что вполне закономерно может отсутствовать в «неизбранных». Необходимо понять, что конкретный язык создает свои категории и формы для самого себя по внутренним законам своего развития и в меру необходимости, а не для того, чтобы облегчить языковедам определение принадлежности того или иного слова к тому или иному разряду: если, например, киргиз знает, что *жол* значит «дорога», а *узун* — «длинный, длина», то он не испытывает никакого неудобства из-за того, что на этих словах нет каких-либо этикеток, указывающих, к какой части речи они относятся.

Тщательное изучение грамматического строя алтайских языков поможет глубоко понять те процессы и изменения, которые постепенно происходили и происходят в этих языках. Но чтобы понять эти процессы и изменения, необходимо предварительно выяснить, что же подвергается изменениям, откуда и куда направлены эти изменения. Это значит, что лексико-грамматическому анализу в этих языках в первую очередь должны быть подвергнуты корневые слова.

Сталинское учение о языке, требующее изучения языка и законов его развития «...в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка» [41], обеспечивает полную возможность успешного и плодотворного разрешения всех задач, стоящих перед нами в области исследования грамматического строя алтайских языков.

---

[41] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 22.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1952

П. Н. ПЕРЕВОЩИКОВ

(ИЖЕВСК)

О НЕКОТОРЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

I

Вопросами языкознания интересуются широкие слои трудящихся нашей страны. Этот интерес особенно сильно возрос после опубликования гениальных произведений И. В. Сталина, заложивших основы марксистского языкознания.

Работники советских и партийных организаций, журналисты, переводчики, студенты, рабочие и рядовые труженики колхозов Удмуртской АССР в своих письмах задают лингвистам вопросы, касающиеся теории и практики развития национальных языков. Они интересуются грамматическим строем и лексическим составом удмуртского языка, влиянием языка великого русского народа на удмуртский. Исходя из задач совершенствования последовательно развивающегося переводческого дела, работники печати ставят перед лингвистами вопросы о соответствиях и несоответствиях между грамматическими нормами национальных языков, с одной стороны, и русского языка — с другой.

Грамматический строй удмуртского языка имеет много общего с грамматическим строем коми-зырянского, коми-пермяцкого, марийского и других финно-угорских языков. Это объясняется происхождением данных языков из одного, финно-угорского, языка-основы. Но есть в синтаксисе удмуртского языка и черты, общие с русским языком. Они, очевидно, обусловлены теми свойствами, которые являются общими для всех языковых систем, для каждого языка как общественного явления особого порядка. Кроме того, эти общие черты в синтаксисе в некоторой мере объясняются прогрессивным влиянием русского языка на удмуртский вследствие непосредственного территориального, экономического и культурного общения и содружества удмуртского народа с великим русским народом на протяжении веков.

При всем этом в грамматическом строе удмуртского языка, разумеется, преобладают свои характерные особенности, самобытные национальные черты. В числе особенно характерных черт можно назвать переходные конструкции, совмещающие в своем строении и качества оборотов, и качества предложений; пассивные обороты, выражающие различные чувства и переживания; обилие оборотов, построенных на основе различных отглагольных слов; оформление имен притяжательными аффиксами; специфическое строение отдельных групп сложных предложений; богатую систему деепричастий, в том числе и деепричастий, принимающих личные формы; наличие морфологически недифференцированных групп слов в лексическом составе языка и ряд других специфических явлений.

Кроме простых и сложных предложений, в удмуртском языке имеют широкое распространение предложения, осложненные развернутыми

оборотами. Такие предложения в известной мере близки к сложным предложениям. Эта близость выражается в том, что предложение с оборотом, как и сложное предложение, обычно имеет более значительное и принципиально иное развитие, чем простое предложение. Составные части предложения с оборотом взаимосвязаны между собой, как и части сложного предложения. Предложение с оборотом, как и сложное предложение, выражает определенное внутреннее единство взаимосвязанных и взаимообусловленных мыслей. Тем не менее нельзя поставить знак равенства между сложным предложением, с одной стороны, и предложением с оборотом — с другой, если рассматривать развитие синтаксических конструкций не только с точки зрения выражаемого ими содержания, но и с точки зрения их грамматических форм. Части сложного предложения имеют внешнее строение предложений, грамматически оформлены как предложения. Такая форма их свидетельствует о том, что большинство сложных предложений в удмуртском языке исторически образовалось путем объединения самостоятельных простых предложений. В составе же предложения с оборотом лишь основная часть имеет внешнюю форму предложения, а другая часть, зависимая, не обладает формой строения предложения. Предложения с развернутыми оборотами исторически образованы в удмуртском языке не из двух самостоятельных предложений путем объединения их в сложное построение, а на основе одного простого предложения путем расширения его грамматических возможностей.

Как известно, предложение строится на базе сочетания подлежащего со сказуемым. Оборот же имеет другую базу. Он строится на основе отглагольных слов (причастия, деепричастия и т. д.), которые могут выступать в составе оборота лишь в роли второстепенного сказуемого, но не в роли главных членов предложения. Таким образом, предложения с развернутыми оборотами являются, в противоположность простым предложениям, осложненными конструкциями. Они имеют некоторые общие черты со сложными предложениями, но отличаются от последних структурными признаками, отражающими свою историю развития, отличную от истории образования сложных предложений.

Данная статья имеет своей задачей в соответствии с запросами учителей и студентов показать специфику сложных предложений с союзом *малы ке шуоно* и конструкций со служебными словами *бере* и *дыръя*.

II

Как простые, так и сложные предложения удмуртского языка имеют элементы общих свойств в своем строении с соответствующими предложениями других языков. Но, как уже указано, в грамматическом строе удмуртского языка есть свои особенности, ряд специфических конструкций. К числу таких конструкций относятся, например, сложные предложения, построенные посредством выражения *малы ке шуоно*.

1. *Войнатэк улонэз утён понна нюръяськистёс одно их вормовы, малы ке шуоно, та нюръяськонэн кивалтэ азьмынйсь человечествоэн вождез но дышетйсез, асьмелэн яратоно атаймы И. В. Сталин* (Из газеты «Советской Удмуртия»).

2. *Асьме революция мукет кунъёсысь капиталистъёсты но кушетскытйз, малы ке шуоно, отысь рабочийёс но бугыръяськыны кутскизы, асьмеос сооспы буржуйёсын нюръяськыны пример вовьматйм* (М. Ляминн, Шудбур понна).

1. «Борцы за мир непременно победят, потому что этой борьбой руководит вождь и учитель передового человечества, наш любимый отец И. В. Сталин».

2. «Наша революция всполошила и капиталистов других стран, потому что рабочие и там начали бастовать, волноваться, мы показали им пример борьбы с буржуями».

3. *Рудаысь кортэз уг адскы, малы ке шуоно, отын корт сяна мукет веществоос но вань* (М. Скаткин, Улэптэм природа).

3. «В руде железо не видно, потому что в ней содержатся кроме железа и другие вещества».

4. *Страус лобаны уг быгаты, малы ке шуоно, солэн бурдъёсыз вакчиесь* (Е. Соловьева но мукет, «Родной кыл», 1950).

4. «Страус летать не умеет, потому что у него крылья короткие».

5. *Нош империалистъёс уг пӧрмытэ та сьод малпаньессэс уж выле вуттыны. Малы ке шуоно, война ӟутӥсьёслы пумит ӟутске ужаса улӥсь калыклэн бадӟым кужымез* (Из газеты «Советской Удмуртия»).

5. «Но империалисты не сумеют осуществить свои грязные помыслы, потому что против поджигателей войны поднимается большая сила трудящегося народа». Буквально: «Но империалисты не сумеют осуществить свои грязные помыслы. Почему если сказать надо, против поджигателей войны поднимется большая сила трудящегося народа».

6. *Скалэз кунян ваӟнэз авгын шутэтскон вакытаз клеверен яке возь турынэн сюдоно, малы ке шуоно, та турыньёсын минеральной сылалъёсыз трос* (А. Волков, Трос йӧл понна).

6. «Корову во время ее отдыха перед отелом надо кормить клевером или луговой травой, потому что в этих кормах содержится много минеральных солей».

7. *Калык оске со бадӟым хозяйственной планлэм уж выдын быдэмезлы, малы ке шуоно, большевистской партия, Советской правительство, Сталин эш ялан сюлмасько страна мылэсь кужимэз ӟутон сярысь, калыклэсь улон-вылонлэ умоятон сярысь* (Из газеты «Советской Удмуртия»).

7. «Народ верит выполнению этого большого хозяйственного плана, потому что большевистская партия, Советское правительство, товарищ Сталин постоянно заботятся об усилении мощи нашей страны, об улучшении жизни народа».

Эти примеры относятся к предложениям одного типа [1]. Составные части таких сложных построений тесно связаны между собой по смыслу (вторая часть раскрывает причину того, о чем говорится в первой) и обычно имеют структурные формы простых личных предложений со сказуемыми, которые бывают выражены как спрягаемыми формами глаголов, так и сочетанием неспрягаемых частей речи с соответствующими глаголами (составное сказуемое).

Однако в ряде случаев первая или вторая составная часть указанных сложных предложений может иметь и строение простого безличного предложения со сказуемым, выраженным глаголом в безличной форме (6) [2].

Все эти факты указывают на то, что рассматриваемые сложные предложения образованы из таких простых предложений, которые в своем строении не отличаются чем-либо необычным. Специфичным в этих сложных построениях является то, что составные их части связаны между собой не обычными союзами или союзными словами, а целым выражением *малы ке шуоно*, соответствующим союзам русского языка *потому что* и *так как*. Буквально это выражение означает «почему если сказать надо».

В сложных предложениях выражение *малы ке шуоно* употребляется в служебной функции союза, но в нем сохранилось, хотя и в слабой степени, первоначальное лексическое содержание, и легко вскрываются грамматические отношения между составными его частями.

По своему происхождению *малы ке шуоно* является своеобразным предложением. Своеобразие его состоит, во-первых, в том, что в составе сложного предложения оно появилось как вводное предложение, содержащее добавочное замечание говорящего о связи одной мысли с другой.

[1] Лишь пример пятый оформлен не как сложное предложение. См. о нем ниже.
[2] Здесь и в дальнейшем цифры в скобках указывают на № примера.

Во-вторых, оно не употребляется в качестве отдельного самостоятельного предложения. Как по своему строению, так и по содержанию выражение *малы ке шуоно* представляет нечто незаконченное в речи и требующее последующего высказывания.

Отдельные слова в выражении *малы ке шуоно* грамматически организованы по типу односоставного (не имеющего подлежащего) безличного предложения. В роли сказуемого выступал в нем глагол *шуыны* «сказать» в безличной форме *шуоно* со значением «сказать надо». С ним сочеталось обстоятельство причины, выраженное наречием *малы* «почему», в основе которого лежит вопросительное местоимение *ма(р)* «что» в форме дательного падежа. У частицы *ке* «если», следующей за словом *малы*, нетрудно обнаружить былую функцию союза, соединявшего *малы шуоно* с последующим предложением. Таким образом, сочетание *малы ке шуоно* и по происхождению не было настоящим предложением. От обычных предложений оно отличалось структурой и смысловой несамостоятельностью и незаконченностью, тем, что содержало намек на необходимость последующего высказывания.

Для выяснения конкретного значения *малы ке шуоно* в современном его употреблении в составе сложных предложений разберем первый пример. Этот пример — сложное предложение, образованное из двух простых присоединением к первому предложению второго посредством выражения *малы ке шуоно*. Сложное построение здесь оказалось возможным благодаря тому, что части предложения связаны между собой по смыслу: в первой сообщается о твердой уверенности в победе борцов за мир, а во второй дается объяснение причины этой уверенности. Поэтому рассматриваемое сложное предложение, как и подобные ему, может быть построено и без *малы ке шуоно*, т. е. по принципу бессоюзной связи:

Войнатэк улонэз утен понна нюрьяськисьес одно ик вормозы: та нюрьяськонэн кивалтэ азьмынйсь человечестволэн вождез но дышетйсез асьмелэн яратоно атаймы И. В. Сталин.	«Борцы за мир непременно победят: этой борьбой руководит вождь и учитель передового человечества, наш любимый отец И. В. Сталин».

Однако возможность образования бессоюзных сложных предложений не исключает необходимости употребления *малы ке шуоно* в качестве грамматического средства связи частей сложного построения. Сложные предложения, образованные при помощи особых грамматических средств связи, отличаются от соответствующих бессоюзных предложений прочным грамматическим сцеплением своих составных частей и ярко выраженной смысловой основой этого сцепления. *Малы ке шуоно*, благодаря модальному оттенку в своем значении, показывая связь составных частей сложного предложения, особо подчеркивает конкретную смысловую сущность этой связи и поясняющую роль второй части по отношению к первой.

Малы ке шуоно совмещает в себе грамматическое значение союза с оттенком значения вводного предложения. Этим обусловлено то обстоятельство, что в системе сложного предложения *малы ке шуоно* не входит в состав какого-либо из соединяемых предложений и поэтому выделяется особой интонацией в произношении и запятыми в написании. Встречающиеся в печати случаи постановки точки перед союзом *малы ке шуоно* (5) являются в языковом отношении ничем не обоснованными, так как смысловая связь предложений здесь налицо.

Конструкции с *малы ке шуоно* возникли сравнительно недавно. Их сложение и систематическое употребление в речи вызвано интенсивным развитием удмуртской письменности. Расцвет национальной по форме и социалистической по содержанию культуры удмуртского народа, рост печати на родном языке, развитие переводческой работы обусловили

постепенное расширение лексических и структурных возможностей удмуртского языка, появление в нем новых грамматических средств связи и конструкций, к числу которых относятся и сложные предложения с *малы ке шуоно.*

Следует сказать, что выражение *малы ке шуоно*, которое соединяет, как мы уже указывали, составные части сложных предложений, не превратилось еще в настоящий союз. Оно не достигло еще той степени абстракции значения, которая присуща союзу. Выполняя роль союза, *малы ке шуоно* совмещает союзное значение с первоначальным, правда ослабленным, значением модального выражения, в котором ощущаются еще прежние отношения и грамматические связи слов между собой. В *малы ке шуоно* еще не в полной мере установилась смысловая неразложимость, «идиоматичность» союзного речения. Однако это обстоятельство не мешает указанному выражению выполнять функцию союза, обозначающего совершенно определенную связь составных частей сложного предложения.

Изменения в грамматическом строе языка, как учит И. В. Сталин, происходят не вдруг, не путем внезапного взрыва и ломки старой основы, а в течение очень долгого времени, путем постепенного накопления элементов нового качества. Сложные предложения с союзом *малы ке шуоно* образовались в результате постепенного развития и расширения синтаксических возможностей удмуртского языка.

Источником образования и дальнейшего развития рассматриваемых предложений является разговорный язык, язык устного народного творчества удмуртов. В настоящее время они широко распространены в газетах и журналах, в научных произведениях и в массовой политической литературе. Вместе с тем конструкции с *малы ке шуоно* все чаще встречаются и в художественной литературе.

Из изложенного необходимо сделать следующие общие выводы. Рассмотренные сложные построения выделяются из общей массы сложных предложений в удмуртском языке особым способом выражения грамматической связи их составных частей. Выражение *малы ке шуоно*, посредством которого соединяются составные части сложного предложения, совмещает в себе противоречивые свойства. По выполняемой функции в составе сложных предложений оно является союзом. Но в противоположность другим союзам, имеющим лишь грамматическое значение, *малы ке шуоно* не полностью утратило еще и предметное содержание вводного выражения, что указывает на особое положение *малы ке шуоно* как союза.

III

Существенные особенности имеют в удмуртском языке также конструкции с грамматически недифференцированными именами действия и со служебным словом *бере*, выступающим в одном и том же звучании в функции послелога со значением «после» и союза, соответствующего русскому союзу «после того как». Вот отдельные примеры, на анализе которых можно показать специфику указанных конструкций:

8. *Ваљ кизем сезьы сузм бере, соос араны кутскиллям* (Удмуртские сказки).	8. «После того как овес раннего сева созрел (после созревания раннего сева овса), они начали жать».
9. *Зичы мукет* [illegible] *кошкем бере, атасэз лудкеч ӧтем но, соос ӵош улыны кутскиллям* (Удмуртские сказки).	9. «После того как лиса ушла в другой лес (после ухода лисы в другой лес), заяц позвал петуха, и они начали вместе жить».
10. *Шунды пуксем бере, Ува сьӧрысь шукырес ыбылӥськем кылӥськиз* М. Лямин, Шудбур понна).	10. «После того как солнце зашло (после захода солнца), из-за реки Увы послышалась сильная стрельба».

Каждое предложение в этой группе примеров состоит из двух взаимосвязанных частей, выражающих единую сложную мысль [3]. Одна из частей воспринимается в качестве главной, выражающей основное содержание: сообщение о том или ином действии, событии или явлении. Другая часть, зависимая, сообщает о том, что было, что происходило непосредственно перед событием или явлением, о котором говорится в главной части. Таким образом, зависимая часть выступает в пояснительной функции, она поясняет главную часть с точки зрения времени, указывая на то, что сообщаемое в главной части предложения совершилось после конкретного обстоятельства, являющегося содержанием зависимой части построения.

Такой связи двух мыслей соответствует и грамматическое строение рассматриваемых предложений. Составные части указанных предложений связаны между собой при помощи служебного слова *бере*.

Какова грамматическая природа этих частей? Главная часть обладает всеми признаками обычного предложения: а) такой формой строения, которая присуща не только той или иной составной части сложного предложения, но и простому самостоятельному предложению, выражающему относительно законченную мысль, б) синтаксической цельностью и полнотой построения, благодаря наличию главных членов предложения и обычной форме связи их (т. е. связи согласования). Таким образом, главная часть рассматриваемых предложений по своим признакам не может быть воспринята в качестве оборота. Она имеет совершенно определенную форму строения предложения.

Нельзя этого сказать о зависимой части. В предложениях, приведенных в качестве примеров, и в других подобных зависимая часть имеет нерасчлененную (неопределенную) форму строения. Поэтому она может быть воспринята и как предложение, на основе связи которого с другим предложечием образуется сложное построение, и как оборот, являющийся развитием, расширением простого предложения.

В основе зависимой части лежит словосочетание, первым компонентом которого является слово, выражающее субъект действия, а вторым — морфологически недифференцированное имя действия, которое может выступать и в роли сказуемого. Такое словосочетание может восприниматься как сочетание подлежащего со сказуемым, т. е. как организующее ядро предложения, как остов его структуры: *сезьы вуэм* «овес созрел» (8), *ӟичы кошкем* «лиса ушла» (9), *шунды пуксем* «солнце зашло» (10). Указанными обстоятельствами и обусловлена возможность воспринимать в речи рассматриваемые конструкции как сложные предложения, образованные на основе взаимной связи простых предложений.

Необходимо отметить, что эти конструкции при любых средствах связи (союзных и бессоюзных) своих составных частей не теряют грамматических качеств сложной синтаксической единицы. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно заменить союз *бере* в любом из приведенных примеров другим средством связи, например сочинительным союзом *но* «и»: *Вазь кизем сезьы вуэм но, соос араны кутскиллям* «Овес раннего сева созрел, и они начали жать».

Это сложное предложение представляет собой частичное видоизменение приведенного выше предложения, выразившееся в замене союза *бере* союзом *но* и подчинительной связи составных частей сочинительною. Но указанная замена ни в какой мере не ослабила тех грамматических признаков, которые характеризуют данную конструкцию как сложную, образованную в результате взаимной связи простых предложений: *Вазь кизем сезьы вуэм* и *соос араны кутскиллям*.

[3] Лишь пример под номером 9 составляет исключение. Он показывает сложное предложение, состоящее из трех частей.

Следовательно, определять рассматриваемые конструкции со служебным словом *бере* как сложные предложения, образованные взаимной связью простых предложений, можно по тем соображениям, что в основе каждой части сложного образования лежит сочетание подлежащего со сказуемым, являющееся организующим ядром предложения.

Тем не менее нельзя ставить эти сложные построения в один ряд с обычными сложными предложениями. Одно то обстоятельство, что зависимая часть этих конструкций, как уже указано, может восприниматься и в качестве оборота, ставит их в особое положение. Конструкции, подобные *сезьы вуэм* «овес созрел», *шунды пуксем* «солнце зашло», необычны по форме своего сказуемого и по форме связи подлежащего со сказуемым. Сказуемое в удмуртском языке, как и в ряде других языков, обычно согласуется с подлежащим в лице и числе. Такая связь обеспечивается тем, что сказуемое выражается спрягаемым глаголом, способным принимать в зависимости от содержания предложения и формы подлежащего соответствующую форму лица и числа.

Связь же подлежащего и сказуемого зависимой части рассматриваемых сложных предложений имеет оформление грамматически неопределенного качества. Она (связь) может быть воспринята и как связь согласования глагола с существительным в форме третьего лица единственного числа, и как связь примыкания в определительном сочетании имен.

Эта неопределенность вытекает из того, что слова *вуэм* (8), *кошкем* (9), *пуксем* (10) и другие с формой *-эм* (*-ем*), *-м* являются грамматически недифференцированными именами действия. Они не входят ни в одну из частей речи: находятся как бы между частями речи и, в зависимости от места и роли в предложении, выступают то в значении одной части речи, то в значении другой.

Если недифференцированные имена действия являются вторым компонентом сочетания и могут выступать, как уже указано, в роли сказуемого-глагола[4] (*сезьым вуэм* «овес созрел», *шунды пуксем* «солнце зашло»), то, кроме того, они могут восприниматься и в роли определяемого существительного (*сезьы вуэм* «созревание овса», *шунды пуксем* «заход солнца»).

Вследствие этого одна и та же группа слов, организованная на грамматической основе сочетания имен действия со словом, выражающим субъект действия, может восприниматься и в качестве составной части сложного предложения, и в качестве оборота. Так, сложная конструкция: *Шунды пуксем бере, Ува сьӧрысь шукырес ыбылӥсьем кылӥськиз* — может осознаваться и как сложноподчиненное предложение со значением: «После того как солнце зашло, из-за реки Увы послышалась сильная стрельба»,— и как предложение с оборотом: «После заката солнца послышалась из-за реки Увы сильная стрельба».

Таким образом, причина сходства форм составной части сложного предложения, именуемой придаточным предложением времени, и соответствующих оборотов заключается в совпадении форм связи сказуемого с подлежащим и форм связи имен в определительном сочетании, составляющем грамматическую основу оборота. Это совпадение объясняется в свою очередь тем, что грамматически недифференцированные имена действия на *-эм* (*-ем*), *-м*, употребленные как второй компонент сочетания, могут выступать в одной и той же форме и в роли сказуемого, и в роли определяемого второстепенного члена предложения. По сравнению с установившимися конструкциями сложных предложений с союзом *бере* рассматриваемые предложения представляют собой конструкции переходного типа.

[4] В этом случае имя действия имеет значение глагола неочевидной формы прошедшего времени.

К сожалению, особенности конструкций со служебным словом *бере* не всегда учитываются. Отдельные исследователи удмуртского языка склонны считать, что в удмуртском языке совсем нет сложных предложений, зависимая часть которых вместе с союзом *бере* выражает отношения времени, и признают наличие только простых предложений с оборотами. Так, А. В. Конюхова без всяких доказательств утверждает, что «в удмуртском языке отсутствуют придаточные предложения времени с союзом *бере*»[5]. Иначе говоря, она отрицает наличие в удмуртском языке сложноподчиненных предложений, зависимая часть которых вместе с союзом *бере* показывает отношения времени.

Однако это утверждение лишено оснований, оно противоречит языковой действительности, живым, употребляющимся в речи конструкциям. В удмуртском языке имеется целая система построений со служебным словом *бере*, которая показывает путь развития от простых предложений с оборотами через промежуточные, синтаксически не расчлененные конструкции к установившимся формам сложных предложений с союзом *бере*, имеющим значение времени. Рассмотрим сначала конструкции, являющиеся простыми предложениями, осложненными типичными оборотами.

11. *Пумиськисьёслэн ортчемвы бере Деми ялан Пашалэсь юалляз: «Кинъёс соос, Паша? Нош кызьы соос тонэ тодо? Оло тонэ городысь вань калык тодэ?»* (П. Блинов, Улэм потэ).

11. «После ухода встретившихся Деми постоянно спрашивал у Паши: «Кто они, Паша? А как знают они тебя? Разве тебя весь народ из города знает?»

12. *«Луч» колхозлэн бадӟым электростанция лэсьтэмез бере колхозникъёслы уката азинэс ужаны но улонэзс югыт, шулдыр карыны электро кужсым но юрттыны кутскиз.* (Из экспедиц. материалов Удм. НИИ).

12. После постройки колхозом «Луч» большой электростанции колхозникам еще успешнее работать и жизнь свою украшать начала помогать и электросила».

13. *Пӧсь парысь со (ву) пӧрмиз парлэн кезьыт пиала борды йӧтскемез бере* (М. Скаткин, Улэитэм природа).

13. «Она (вода) образовалась из горячего пара после соприкосновения пара с холодным стеклом».

В этих примерах мы находим предложения, которые осложнены оборотами, построенными на грамматической основе определительного сочетания имен с послелогом *бере*. Названные обороты, как и зависимая часть сложных предложений с союзом *бере*, поясняют главную часть предложения с точки зрения времени, указывая на то, что действие или событие, о котором сообщает главная часть, происходило после конкретного обстоятельства, являющегося содержанием оборота.

Своей формой строения рассматриваемые простые предложения с оборотами ясно отличаются от соответствующих сложных предложений с союзом *бере*. Основой оборотов является не сочетание сказуемого с подлежащим, а определительное сочетание, в котором в качестве второстепенного определяемого члена выступает имя действия, а в качестве определяющего — имя субъекта действия.

Смысловая связь определения с определяемым именем здесь выражена формами притяжательности, составляющими одну из особенностей грамматического строя удмуртского языка.

Этот особый вид определительной связи слов в удмуртском языке, исходя из наличия специальных оформителей его, можно назвать «притяжательной связью». Для того чтобы разобраться в существе названной связи слов, необходимо учитывать двусторонний характер ее: отношение определяемого к определению и отношение определения к определяемому.

[5] См. ее статью «Удмурт кыллы дышетонысь кудог ужпумъёс» в газете «Советской Удмуртия» от 25 марта 1951 г.

Как показывают примеры, отношение определяемого имени к определению выражается аффиксом принадлежности, в рассматриваемых случаях — аффиксом принадлежности 3-го лица мн. числа *-зы* (*ортчемзы* «уход + их», *ужамзы* «работа + их») и аффиксом принадлежности 3-го лица ед. числа *-эз* (*-ез*) (*йӧтскемез* «соприкосновение + его»). А отношение определения к определяемому имени выражается аффиксом притяжательного падежа (адессив) *-лэн*, выражающего принадлежность конкретному лицу (*пумиськисьёслэн ортчемзы* «уход встретившихся», *вуослэн ужамзы* «работа вод», *парлэн йӧтскемез* «соприкосновение пара»).

Как известно, члены определительного сочетания, связанные способом примыкания, обычно стоят рядом: определение располагается непосредственно перед определяемым именем. Несоблюдение этого правила словорасположения нарушает структуру определительного сочетания. Но это правило не распространяется на определительные сочетания, оформленные притяжательной связью. Благодаря специальным оформителям этой связи, между определением и определяемым именем, располагающимся после определения, могут находиться и другие слова (см. 12 и 13), и, несмотря на это, определительное сочетание не только сохраняет свою структуру, но и приобретает более полную форму.

Таким образом, эту группу предложений (11, 12, 13) мы рассматриваем как простые предложения с обстоятельственными оборотами, выражающими отношения времени. В основе строения этих оборотов лежит определительное сочетание имен, связанных между собой специальными оформителями — аффиксами принадлежности.

Рассмотренным предложениям, осложненным оборотами с послелогом *бере*, противостоят сложные предложения с союзом времени *бере*, имеющие типичное для сложных предложений оформление, — такое оформление, которое отличает сложные предложения от простых с оборотами. Вот отдельные примеры, свидетельствующие об этом:

14. *Ми машинаез тупатъям бере, кутсаськисьёс жоген вуизы* (Из газеты «Советской Удмуртии»).

14. «После того как мы отремонтировали машину, вскоре пришли молотильщики».

15. *1817 арын, войскоос родинае берытскемзы бере, эксэйлэн приказэзъя та войскоослэсь военной поселениос кылдытэмын вал* (Сб. «Родной кыл», 4 кл., 1949).

15. «В 1817 г., после того как войска возвратились на родину, по приказу царя из этих войск были созданы военные поселения».

В этих примерах мы находим сложные предложения, имеющие в своем составе зависимую часть с союзом *бере*. Указанные предложения отличаются не только от простых предложений с оборотами (ср. 11, 12, 13), соответствующих им по содержанию, но и от недифференцированных конструкций со служебным словом *бере*. От простых предложений с оборотами они отличаются всем тем, что характеризует строение сложного предложения. От недифференцированных же конструкций, т. е. от построений, которые могут быть воспринимаемы и в качестве простых предложений с оборотами, и в качестве сложных предложений (см. 8, 9, 10), они отличаются тем, что являются обыкновенными сложными предложениями.

Как видно из 14 примера, сказуемое зависимой части сложного предложения, имеющей форму строения обычного предложения, выражено спрягаемой формой глагола. Поэтому оно согласуется с подлежащим в форме лица и числа, в данном случае в форме 1-го лица мн. числа: *ми тупатъям* «мы отремонтировали». Такой связи, как указывалось выше, не имеют подлежащее и сказуемое в недифференцированных конструкциях.

В лице и числе может согласоваться с подлежащим и такое сказуемое, которое выражено глаголом в форме прошедшего (неочевидного) времени (см. в 18 примере *войскоос берытскемзы* «войска возвратились»).

Союз *бере* в противоположность союзам в других языках, например в русском, ставится не в начале зависимого предложения, а в конце его как замыкающее слово.

Таким образом, предложения, превратившиеся в составную часть сложных построений с союзом времени *бере*, отличаются от соответствующих им по содержанию недифференцированных построений со служебным словом *бере* такой формой связи главных членов предложения, которая не позволяет воспринимать сочетание подлежащего со сказуемым в качестве сочетания определения с определяемым словом.

Внешние различия между сложными предложениями, с одной стороны, и соответствующими им недифференцированными построениями, а также простыми предложениями с оборотами — с другой, находятся в тесной связи с их различиями по смысловым оттенкам. Оборот, покоящийся на грамматической основе определительного сочетания, второй компонент которого обычно не имеет уточнителей (т. е. поясняющих слов, кроме непосредственно предшествующего определения), естественно, не может выразить тех смысловых деталей, которые выражаются предложением благодаря наличию пояснительных слов при подлежащем и сказуемом.

Богатство конструкций, в основе которых лежат недифференцированные имена действия на *-эм* (*-ем*), *-м*, сопровождаемые служебным словом *бере*, не укладывается ни в одну из обычных схем. Имеется еще ряд построений, тяготеющих по тем или иным своим качествам к оборотам. Например:

16. *Сюрес вылысен егит политрукез висен погыртэ сое госпитале кельто. Йонатскем берав сое Москвае келяло* (Сб. «Кизили», 1948).	16. «По дороге молодой политрук заболел. Его устраивают в госпиталь. После выздоровления отправляют его в Москву».
17. *Та бригадаысь колхозникъёс асьсэлэн участокъесысьтызы ужзэс быдэстэм бере мукет бригадаослы араны но етӥнаны юрттӥзы* (Из газеты «Советской Удмуртия»).	17. «Колхозники этой бригады после завершения работы на своих участках помогли другим бригадам жать и лен убирать».
18. *Пичиесь артельесты бадӟымесь колхозъёсы огазеям бере социалистической сельской хозяйствоез укатаэӝог азинтыны луонлыкъёс кылдӥзы* (Там же).	18. «После объединения мелких артелей в крупные колхозы появились возможности еще для более быстрого развития социалистического сельского хозяйства».
19. *Правленилэн членъёсыз вуэм бере колхозысь партийной организацилэн кивалтӥсез Николай Семенович вакчияк вераз районысь адямилэн лыктэм мугез сярысь* (Сб. «Кизили», 1950).	19. «После прихода членов правления руководитель партийной организации колхоза Николай Семенович кратко сообщил о цели приезда человека из района».

В этой группе примеров нет сложных предложений, образованных взаимной связью простых предложений. Каждый пример представляет собой простое предложение с оборотом, построенным на определительном сочетании, сопровождаемом послелогом.

Названные обороты, как и ранее рассмотренные (см. примеры 11, 12, 13), поясняют главную часть предложения с точки зрения времени, указывая на то, что действие или событие, о котором сообщает главная часть, происходило после определенного обстоятельства, являющегося содержанием оборота. В основе и этих оборотов лежит недифференцированное имя действия на *-эм* (*-ем*), *-м*, сопровождаемое послелогом *бере*.

Однако в оборотах последней группы предложений (примеры 16, 17, 18, 19) имеются и некоторые особенности. В этом отношении заслуживает внимания первое предложение (пример 16). В нем мы видим не обычный оборот с полной структурной основой — определительным сочетанием имен, сопровождаемым послелогом *бере*, а оборот, который состоит лишь из морфологически недифференцированного имени *йонатскем* (являющегося вторым членом определительного сочетания) и послелога *бераз*. Первый же член названного сочетания опущен. Пропуск его обусловлен и компенсирован наличием притяжательного аффикса при послелоге, сопровождающем указанное определяемое имя. В удмуртском языке притяжательный аффикс при определяемом имени, выражая отношения принадлежности, как бы повторяет определяющее слово. Так, сочетание *солэн пиез* означает «его сына + его». Равным образом, выражение *Иванлэн нылыз* означает «Ивана дочь+его», т. е. Ивана.

Такая семантика притяжательного аффикса, присоединяемого ко второму члену определительного сочетания (или к служебному слову при нем), дает возможность в большинстве подобных случаев опускать первый член сочетания при благоприятных условиях контекста. Именно по этой причине опущено определение *политруклэн* «политрука» из сочетания *политруклэн йонатскем бераз*[6] (16) «после выздоровления политрука». Но эта особенность оборотов (неполнота структурной основы) не мешает отличать их от соответствующих по содержанию зависимых частей сложных предложений.

Сочетание, выступающее в качестве основы оборота, можно отличить от сочетания главных членов предложения и по другим признакам. Сочетание, в котором нельзя выделить особого подлежащего (кроме подлежащего в главной части предложения), может быть только основой оборота (18).

Однако наличие в сочетании слова, выражающего субъект действия, еще не делает это слово подлежащим, если оно грамматически не связано с именем действия как подлежащее со сказуемым. Так, например, нельзя считать подлежащим такое слово в сочетании, которое, являясь названием субъекта действия, имеет форму множественного числа, тогда как сочетающееся с ним имя действия оформлено в единственном числе (см. в 19 примере *правленилэн членъёсыз вуэм бере* «после прихода членов правления»).

В моей статье «Функции и происхождение подчинительного союза *бере* в удмуртском языке», опубликованной в 1949 г. в сб. «Советское финно-угроведение» (т. IV), не совсем четко показано отличие недифференцированных конструкций от обычных сложных предложений с союзом *бере*, с одной стороны, и от оборотов с послелогом *бере* — с другой. Поэтому в этой работе мы стараемся особо подчеркнуть признаки отличия одних построений от других.

В указанной статье допущена и другая ошибка. Без всякой необходимости и некритично в ней цитируется высказывание Н. Я. Марра по вопросу о происхождении одинакового обозначения в языке понятий пространства и времени (стр. 17). После четких высказываний В. И. Ленина о категории пространства и времени, приведенных на стр. 16 этой же статьи, не было никакой нужды обращаться к скользким рассуждениям Н. Я. Марра по этому вопросу.

На основании изложенного необходимо сделать следующие выводы. В удмуртском языке широко распространены конструкции со служебным словом *бере*. Эти конструкции делятся по своему строению на сложные

[6] В ряде случаев притяжательным аффиксом оформляется не само определяемое имя, а сопровождающий его послелог. В этом примере притяжательным аффиксом оформлен послелог *б-ре* (*бераз*).

предложения с союзом времени *бере* и простые предложения с оборотом, сопровождаемым послелогом *бере*.

Грамматической основой структуры предложения, связью которого с другим предложением образуется сложное построение, является сочетание сказуемого с подлежащим, а основой оборота — сочетание второстепенных членов предложения. По этим признакам отличаются сложные предложения с союзом времени *бере* от соответствующих простых предложений с оборотами. Наряду с четким делением рассматриваемых конструкций на предложения и обороты, в удмуртском языке имеются построения промежуточного типа, воспринимаемые и в качестве оборотов, и в качестве предложений.

Такой характер названных конструкций объясняется тем, что в основе их лежат сочетания морфологически недифференцированных имен действия на *-эм* (*-ем*), *-м* со словами, обозначающими субъект действия, такие сочетания, которые могут восприниматься и в качестве связи главных членов предложения, и в качестве связи определения с определяемым именем.

IV

В удмуртском языке выделяются своими особенностями и конструкции, построенные на сочетаниях морфологически недифференцированных имен *вань* и *ӧвӧл* с другими именами. Эти сочетания сопровождаются служебным словом *дыръя*, выступающим в функциях послелога и союза. Например:

20. *Академик В. Р. Вильямс гожъя вал: «Трос пайда сётйись пудо вордонэз умой радъяны луэ, вож сион вань дыръя гинэ»* (Из газеты «Советской Удмуртия»).

20. «Академик В. Р. Вильямс писал: «Высокопродуктивное животноводство можно организовать только при наличии зеленого корма» («только когда имеется зеленый корм»).

21. *Гуреэь бамын лысо нюлэс, тӧл ӧвӧл дыръя, ныруlыса кадь сыля* (П Чайников, Удмурт литература хрестоматия).

21. «На склоне горы стоящий хвойный лес при отсутствии ветра (когда нет ветра) как будто дремлет».

22. *Со егит пизы, калык отын ӧвӧл дыръя, гуысь лушкем потэм но пегӥем* (Удмуртские сказки).

22. «Тот молодой их парень, когда там не было народа (при отсутствии там народа), скрытно вышел из ямы и убежал».

Мы даем двоякий перевод зависимой части каждой конструкции для того, чтобы показать специфику ее строения. Благодаря особенностям в своем строении, эта зависимая часть может осознаваться и как оборот (*вож сион вань дыръя гинэ* «только при наличии зеленого корма», *тӧл ӧвӧл дыръя* «при отсутствии ветра), *калык отын ӧвӧл дыръя* «при отсутствии народа»), и как предложение (*вож сион вань дыръя гинэ* «только когда имеется (есть) зеленый корм», *тӧл ӧвӧл дыръя* «когда отсутствует ветер), *калык отын ӧвӧл дыръя* «когда там не было народа»). В связи с этим и служебное слово *дыръя* воспринимается то в роли послелога со значением «при» и «во время», то в роли союза со значением «когда», «пока».

Чем объясняется такая двойственность рассматриваемых конструкций? Это явление объясняется морфологической недифференцированностью слов *вань* и *ӧвӧл* — ведущих слов этих построений.

Слово *вань*, являясь грамматически недифференцированным именем, может выступать в значениях разных частей речи, в том числе и склоняемых, например:

23. *«Нош тон сыче сыномем ведраен ю тырисько д,— лек вазиз со — Ванез ӧвӧл кариськод»* (Сб. «Кизили», 1950).

23. «А ты таким заржавленным ведром зерно пересыпаешь,— сердито сказал он.— Портишь добро» (буквально: «есть превращаешь в нет»).

24. *Ваньлы шумпото, ӧвӧллэсь кышкало* (Удмуртский фольклор).

24. «Наличию (т. е. тому, что имеется) радуются, нужды (т. е. недостатка) боятся».

Эти примеры показывают употребление слова *вань* в разных падежах в значении имени существительного. В роли сказуемого *вань* семантически приближается к глаголу[7], и в зависимости от связи с другими словами предложения его лексическое содержание как сказуемого может варьироваться в пределах значений: «есть», «имеется», «существует», «находится в наличии». Например:

25. *Котькинлэн аслаз сюлмаськонэз но, шумпотонэз но вань* (Сб. «Кизили», 1950).

25. «У каждого есть своя забота и радость».

26. *Табере унояз колхозъёсын сыче садъёссы вань ини* (Там же).

26. «Теперь во многих колхозах такие сады имеются уже».

Овӧл, противоположное *вань* своим отрицательным содержанием, тоже может употребляться в значениях разных частей речи, в том числе и склоняемых (23 и 24). Кроме того, широко используется *ӧвӧл* в значении отрицательной частицы, соответствующей русской частице *не*. Например:

27. *Музъем татын урод ӧвӧл* (Сб. «Родной литература», 5 кл., 1949).

27. «Земля здесь не плохая».

28. *Нош асьме советской адямиос басьтэм вормонъёсын буйгатскыны дышемын ӧвӧл. Советской калык нуналлы быдэ выль вормонъёс басьтон понна тырше* (Из газеты «Советской Удмуртия»).

28. «А наши советские люди не привыкли (буквально: «не привычны») успокаиваться достигнутыми успехами. Советский народ ежедневно старается добиваться новых побед».

29. *Асьмеос одйг ар но бере ӧм кыльылэ на, туэ но кылёно ӧвол* (Сб. «Кизили», 1950).

29. «Мы ни один год не отставали еще и ныне отставать не надо».

В этих предложениях *ӧвӧл* употреблен в значении отрицания *не* при прилагательном (27), при причастии (28) и при глаголе (29).

В роли сказуемого *ӧвӧл*, как и слово *вань*, семантически приближается к глаголу[8] и в зависимости от связи с другими словами предложения может выступать в следующих конкретных значениях: «нет», «не есть», «не имеется налицо», «не существует», «отсутствует». Например:

30. *Котырак тузон, пӧсь, шунды туж кужмо пыже, нош солэсь сайулскыны инты ӧвӧл* (Сб. «Родной кыл», 4 кл., 1949).

30. «Кругом пыль, жара, солнце печет очень сильно, а укрыться от него нет места».

31. *Пеймыт но луэ ни, нош пиналъёс ялан овӧл* (Удмуртские сказки).

31. «Темно становится уже, а детей все нет».

В предикативных сочетаниях связь слова *вань*, как и *ӧвӧл*, с другим компонентом сочетания имеет такую же форму грамматически неопределенного качества, какую имеет связь этих слов с другими компонентами в определительных сочетаниях. Это обстоятельство, т. е. совпадение форм *вань* и *ӧвӧл* в роли определяемого члена с формами этих же слов в роли

[7] Морфологическими признаками настоящего глагола слово *вань* не располагает. Оно не принимает форм глагольного словоизменения.

[8] Слово *ӧвӧл*, как и *вань*, морфологическими признаками настоящего глагола не располагает. Оно не принимает форм глагольного словоизменения.

сказуемого, и является причиной наличия в удмуртском языке недифференцированных построений с *вань* и *ӧвӧл*, сопровождаемых служебным словом *дыръя*.

Указанные конструкции, входя в состав сложных предложений в качестве их зависимой части, служат пояснением главной части. Они указывают на то, что действие или событие, о котором сообщается в главной части, происходит при определенных обстоятельствах, а именно: одновременно с действием или событием, о котором говорится в зависимой части сложного предложения. Таким образом, недифференцированные конструкции поясняют главные части сложного предложения с точки зрения отношений времени, показывая одновременность действий или событий. Но в ряде случаев они выражают не столько время действия, сколько условия действия. С этой точки зрения заслуживает внимания вышеприведенный пример 20.

В этом сложном построении зависимая часть его *вож сион вань дыръя гинэ* «только при наличии зеленого корма» («только когда имеется зеленый корм») дает пояснение относительно содержания главной части построения, отвечая на вопрос, когда можно организовать высокопродуктивное животноводство. Однако это пояснение указывает главным образом на конкретное условие осуществления названного мероприятия, а не на время. Стало быть, недифференцированными конструкциями, в основе которых лежит сочетание *вань дыръя* или *ӧвӧл дыръя* с другими словами, можно выражать и иные отношения, например отношения условные.

В удмуртском языке имеются и другие конструкции, которые также совмещают разное содержание, например содержат указания на наличие временных и условных или временных и причинных отношений. Указанное совмещение объясняется тем, что выражаемые средствами языка многие понятия тесно связаны между собой и, изменяясь, могут переходить друг в друга вследствие того, что отображают сложные и многогранные связи предметов, явлений и процессов материальной действительности, их изменения и взаимопереходы. Как учит В. И. Ленин, «...человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, переходят друг в друга, переливают одно в другое, без этого они не отражают живой жизни. Анализ понятий, изучение их... требует всегда изучения *движения* понятий, их связи, их взаимопереходов»[9].

Конструкции с именами *вань* и *ӧвӧл*, выражающие одновременность действий, не укладываются в пределах недифференцированных построений. Среди них есть и построения с совершенно определенными грамматическими качествами.

Выше мы рассмотрели обороты, построенные на основе определительного сочетания имен, оформленных аффиксами принадлежности. Теоретически возможны, внутренне оправданы и такие обороты, основой которых являются определительные сочетания имен *вань* и *ӧвӧл* с другими именами, оформленными притяжательными аффиксами. Развернутые предложения с такими оборотами вполне допустимы по нормам грамматики удмуртского языка. Например: *Гурезь бамын лысо нюлес ныруlыса кадь сылэ тӧллэн ӧвӧлэз дыръя* «На склоне горы стоящий хвойный лес при отсутствии ветра как будто дремлет».

Это предложение представляет собой частичную реконструкцию приведенного выше примера. Недифференцированная конструкция *тӧл ӧвӧл дыръя* «при отсутствии ветра» («когда нет ветра») заменена здесь конструкцией *тӧллэн ӧвӧлэз дыръя* «при отсутствии ветра» (буквально: «ветра отсутствие + его во время»), воспринимаемой только в качестве оборота.

[9] Ленинский сборник, XII, М.—Л., MCMXXXI, стр. 181—182.

Конструкции, подобные *тöллэн öвöлэз дыръя* (при отсутствии ветра), четко разграничены от соответствующих недифференцированных конструкций и обычных предложений тем, что построены на определительном сочетании имен, оформленных аффиксами принадлежности. А имена, соединенные в определительном сочетании при помощи аффиксов принадлежности, как уже отмечалось, являются грамматической основой оборотов, но не могут служить основой ни предложений, ни недифференцированных построений.

Однако в современном удмуртском литературном языке очень редко встречаются обороты, построенные на определительных сочетаниях, в которых определяемые имена *вань* и *öвöл* соединяются с другими именами при помощи аффиксов принадлежности. Ограничены в своем распространении эти обороты и в фольклоре. Предложения, подобные: *Зорлэн ванез дыръя турын будэ, зорлэн öвöлэз дыръя чиедоме* (Удмуртский фольклор) «При наличии дождя трава растет, при отсутствии дождя увядает» — представляют не массовое явление, а исключение.

Таким образом, возможность существования в удмуртском языке четко оформленных оборотов с именами *вань* и *öвöл*, т. е. таких оборотов, которые ясно отличаются от соответствующих недифференцированных построений, теоретически оправдана, так как указанные обороты в своем строении не имеют таких свойств, которые были бы чужды грамматическому строю удмуртского языка. Но, несмотря на это, данные обороты не нашли в удмуртском языке широкого распространения.

Если от недифференцированных построений ясно отличаются простые предложения с оборотами, имеющими специальное оформление, то в не меньшей мере отличаются от них и сложные предложения. Наряду с простыми самостоятельными предложениями со сказуемыми, выраженными словами *вань* и *öвöл*, в удмуртском языке широко распространены такие конструкции и в качестве зависимых частей в составе сложных синтаксических образований. Например:

32. *Дасо вамыш мынэ но дугдэ. «Ма бен кароно? — малпа.— Каллен кыстйсько,* ***кужымe*** *вань на дыръя»* (Л. **Толстой**, Кавказский пленник, перевод Ф. Савинова).

32. «Пройдет шагов десять и остановится. «Что же делать? — думает. — Буду тащиться, пока сила есть».

В этом примере конструкция *кужыме вань на дыръя* является не оборотом, а придаточным предложением, т. е. зависимой частью сложного предложения, соединенною с основной его частью при помощи союза *дыръя* «пока». В рассматриваемом сложном предложении зависимая часть поясняет главную с точки зрения времени, указывая на то, что действие, о котором говорится в главной части, совершилось одновременно с действием, являющимся содержанием зависимой части.

Какое основание имеется считать конструкцию *кужыме вань на дыръя* (буквально — «сила у меня есть еще пока») зависимой частью сложного предложения, а не оборотом? Для этого имеются следующие основания.

Если бы эта конструкция имела качество оборота, то основой ее строения было бы определительное сочетание. Но сочетание *кужыме вань* является сочетанием главных членов предложения, т. е. таким сочетанием, на основе которого строится предложение, а не оборот.

Совершенно конкретные признаки определяют связь *кужыме* и *вань* как связь главных членов предложения, но не как определительное сочетание. Каковы эти признаки? Слово *вань* сопровождается здесь частицей *на* «еще». Как правило, эта частица уточняет лексическое содержание предшествующего слова, особо подчеркивая его сказуемостную

функцию. Поэтому *вань на* «есть еще» здесь может восприниматься в противоположность *вань* только в роли сказуемого. С такой ролью *вань на* находится в полном соответствии семантика и форма подлежащего *кужыме* «сила моя» («у меня»), выраженного существительным в именительном падеже с притяжательным аффиксом. Благодаря этим признакам *кужыме вань на* выступает как сочетание подлежащего со сказуемым, но не как сочетание определения с определяемым именем.

Таким образом, в сложных предложениях их зависимые части со сказуемыми *вань* и *ӧвӧл*, сопровождаемыми союзом *дыръя*, отличаются от соответствующих недифференцированных конструкций тем, что построены на грамматической основе сочетания главных членов предложения, отличающегося от сочетания второстепенных членов предложения соответствующими грамматическими признаками.

Но наиболее резко выраженное отличие от недифференцированных конструкций, показывающих одновременность действия, имеют такие построения с союзом *дыръя*, в которых сказуемое выражено спрягаемыми или другими формами глаголов. Например:

33. *Алексей уг малпа ни, кылдов на-а солы асьме адямиос доры вуыны. Нош со тодэ, мугорыз кызгы ке но мыныны быгатэ на дыръя, со ялан нюжтӥськоз, погыльскоз шуыса* (Сб. «Родной кыл», 4 кл., 1949).

33. «Алексей уже не думает, удастся ли ему добраться до наших людей. Но он знает, что будет ползти, катиться, пока тело его в состоянии двигаться».

34 *Дасяське но сӥо-дано ортчытэ корка пырондэс, аран вуымтэ на дырья* (Из экспедиц. материалов Удм. НИИ).

34. «Подготовьтесь и с почестями проводите свое новоселье, пока не наступила еще жатва».

Эти примеры представляют собой сложные построения. В составе каждого из них имеется конструкция, соединенная с другой частью сложного предложения при помощи союза *дыръя*. Указанные конструкции располагают такими качествами, благодаря которым они ясно отличаются как составные части сложного предложения от оборотов и недифференцированных построений. В основе строения каждого из них лежит сочетание подлежащего и сказуемого, имеющих такие формы выражения, благодаря которым исключается возможность воспринимать их в роли других членов предложения.

Союз *дыръя*, как и союз *бере*, располагается не в начале зависимого предложения, а в конце его. Все конструкции с союзом *дыръя*, как и ранее рассмотренные, служат пояснением главной части сложных предложений с точки зрения отношений времени: они показывают, что действие или событие, о котором говорится в главной части, происходит в то же время, когда совершается действие, указанное в зависимой части.

Приведенная нами характеристика смысловых отношений частей сложных предложений с союзом *дыръя* будет недостаточной, если не указать на то, что здесь временная связь дается с оттенком условной связи. Предложения с союзом *дыръя*, указывая на время действия, тем самым выражают и условия осуществления этого действия. Таким образом, конструкции времени с союзом *дыръя* могут выражать и такие временные отношения, которые в какой-то мере переходят в отношения условные.

*

В заключение в настоящем очерке необходимо указать, что в удмуртском языке имеется ряд конструкций, которые по своим особым признакам не укладываются в общепринятую схему грамматической классификации. Как показывают материалы исследования, сложные предложения

в удмуртском языке в истории своего образования имеют разные пути развития. Одни из них образовались путем слияния простых предложений. Таковы, например, сложные предложения, составные части которых соединены при помощи речения *малы ке шуоно*. Другие же сложные предложения возникли на основе простых предложений с оборотами, на основе количественного и качественного развития и переосмысления оборотов. Таким путем образовались, например, предложения времени с союзами *бере* и *дыръя*, причем для последних характерна неопределенность их грамматического качества. В одном и том же оформлении они могут выступать и как обороты, и как составная часть сложного предложения. Такое положение объясняется тем, что в основе недифференцированных построений лежат такие сочетания слов, которые могут восприниматься и в качестве определительных сочетаний, и в качестве сочетаний главных членов предложения вследствие того, что вторым компонентом в указанных сочетаниях являются морфологически недифференцированные слова. Эти конструкции в силу указанных особенностей занимают как бы промежуточное положение между простыми предложениями с оборотами и настоящими сложными предложениями: они являются конструкциями переходного типа.

Товарищ Сталин учит, что язык развивается по внутренним законам своего развития. Конструкции, которые в настоящей статье были подвергнуты анализу, являются конкретным проявлением своеобразных законов развития удмуртского языка, его грамматического строя.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

В. И. ПАНОВ
(СТАЛИНСК)

ОБ ОТЛИЧИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ОТ ЯЗЫКА НАРОДНОСТИ

(Критический разбор взглядов проф. Г. Д. Санжеева)

Поскольку национальный язык развивается из языка народности и, таким образом, исторически следует за ним, поскольку эти два вида языка возникают и существуют в разные эпохи истории общества, очевидно, что национальный язык и язык народности должны отличаться друг от друга и несомненно отличаются. В чем, однако, состоят эти отличия?

После раскрытия И. В. Сталиным философской и исторической несостоятельности учения акад. Н. Я. Марра, не признававшего единых и общих языка народности и национальности, вопрос об отличиях национального языка от языка народности впервые широко поставлен в статье проф. Г. Д. Санжеева «Образование и развитие национальных языков в свете учения И. В. Сталина» [1].

Проф. Г. Д. Санжеев с полным основанием рассматривает, с одной стороны, состав языка, именно его основной словарный фонд и грамматический строй, а с другой — объем общественных функций языка, сферу применения его в обществе, иными словами, отдельно разбирает и решает вопрос, отличается ли национальный язык от соответствующего языка народности, во-первых, по своему составу и, во-вторых, по объему общественных функций.

Однако удовлетворительного ответа на поставленный вопрос проф. Г. Д. Санжеев в своей статье, к сожалению, не дал, и ряд положений его статьи вызывает существенные возражения. Критически рассмотреть, как в статье Г. Д. Санжеева освещается вопрос об отличиях национального языка от языка народности, важно уже по одному тому, что весь сборник, в котором помещена эта статья, предназначен для студентов и преподавателей вузов и до сих пор служит им пока единственным пособием по общему языкознанию.

Проф. Г. Д. Санжеев правильно указывает на известное положение о том, что во многих странах мира у разных народов до преобразования их в нацию в письменности и в качестве церковного языка употреблялся не родной язык народности, а чужой (латынь в странах Европы, арабский язык в странах неарабского мусульманского мира и т. д.) [2]. Поскольку с преобразованием таких народов в национальности их родной язык, кроме сферы устного делового общения, стал употребляться, вместо

[1] Сб. «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина», изд-во Моск. ун-та, 1950, стр. 101—128 (2-е переработанное изд., 1952, стр. 321—371).
[2] Сб. «Вопросы языкознания...», 1952, стр. 336.

чужого языка, также в художественных, публицистических и научных сочинениях, проф. Г. Д. Санжеев резонно заявляет, что «первая особенность в образовании национального языка заключается в ликвидации „ножниц" (т. е. расхождений, различий — *В. П.*) между народно-разговорным и письменным языками... Общенародный разговорный язык, становясь национальным, делает излишним наличие особых письменных и официально-канцелярских, функциональных... языков, так как берет на себя и их функции и устную и письменную формы их выявления» [3].

Из этого положения следует, что многие известные национальные языки, например русский, чешский, польский, немецкий, венгерский, от соответствующих им языков народностей отличаются значительно более широкой сферой применения в обществе, или — по терминологии проф. Г. Д. Санжеева — большим объемом своих реально выполняемых общественных функций.

Так проф. Г. Д. Санжеев освещает одну сторону общего вопроса, именно — вопрос об отличиях национального языка от языка народности по объему их общественных функций. Это заключение проф. Г. Д. Санжеева в его общем виде соответствует действительности, и его можно лишь конкретизировать или иллюстрировать фактами истории разных языков.

Что касается освещения другой стороны вопроса, именно — вопроса об отличиях национального языка от языка народности по их составу, то здесь проф. Г. Д. Санжеев впадает в противоречия с положениями классиков марксизма и с другими своими собственными положениями из той же статьи. Недаром проф. А. С. Чикобава в своей рецензии еще на первое издание сборника «Вопросы языкознания...» заметил, что «собственно лингвистическая сторона вопроса в статье проф. Г. Д. Санжеева представлена слабо» [4].

Известно, что преобразование языка народности в язык национальный классики марксизма понимают как обусловленный экономической и политической концентрацией народности процесс преодоления в языке его местных диалектов, процесс их сближения и слияния. Процесс концентрации местных диалектов в единый национальный язык при любых обстоятельствах, при которых народности преобразуются в нации, по общему своему содержанию представляет собой вытеснение одних диалектных элементов речи и обобщение других.

Так, например, известно, что в древней Руси, когда русский язык был еще языком русской народности, для обозначения сельского жителя у носителей разных местных диалектов на протяжении ряда веков употреблялись свои разные названия: «Новгородцы,— пишет акад. Б. Д. Греков,— по-своему называли сельское население Суздальщины смердами, а сами суздальцы, как и вся Волжско-Окская территория этим термином пользовались редко. В Центральном междуречье летописный термин „смерд" юга и северо-запада Руси заменялся терминами „сирота" или „крестьянин"»[5]. А позднее, в ходе образования национального русского языка, термин *смерд* южных и северо-западных диалектов был совсем вытеснен, между тем как название *крестьянин* повсеместно, взамен первоначального значения «христианин» или наряду с ним, приобрело значение «земледелец» или «податной селянин» [6] и в этом значении вошло в общерусский обиход.

Известно также, что в русском языке, когда он был еще языком русской народности, у носителей разных местных диалектов образовалось различие

[3] Там же, стр. 338.

[4] Арн. Чикобава. Новые работы по языкознанию, «Правда», № 99 от 9 апреля 1951 г.

[5] Б. Д. Греков. Киевская Русь, М., 1949, стр. 218.

[6] См. И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, т. I, СПб., 1893, стр. 1344—1345.

в произношении безударных гласных *а*, *о*, *е*, именно: говор всех северян оставался окающим, а говор южан стал отличаться аканьем, южане стали говорить: *здаровье*, *варона*, *вяду*, *нясу* и т. п. Это различие установилось и держалось не только в устной речи, но до некоторой степени отражалось и на письме, в речи письменной. А позднее, когда началась концентрация местных диалектов в единый национальный язык, оканье северян в полосе, пограничной с южанами, стало вытесняться аканьем и к настоящему времени вытеснено у огромной массы северновеликорусского населения, причем в сфере литературной речи аканье, некогда бывшее диалектно-областной чертой, обратилось в общерусское явление.

Понятно, что по своему направлению к результатам подобного рода преобразования в языке представляют собой движение от диалектной пестроты в составе языка к единству, процесс преодоления в составе языка его диалектно-областной раздробленности.

В той или иной мере диалектно-областные различия длительное время сохраняются еще и в составе национального языка, особенно у неграмотной и малограмотной, в общественном отношении более отсталой части сельского населения. Остатки диалектно-областных различий длительное время держатся еще и при социализме, хотя в это время и возникают условия, которые ускоряют изживание таких различий. Это длительное сохранение части былых диалектно-областных различий можно наблюдать на составе русского языка и на составе многих других национальных языков. Но как бы медленно ни происходило сближение и слияние местных диалектов и каким бы малозначительным ни представлялось оно в той или иной сфере языка,— возникновение и развитие этого процесса по существу своему, в принципе означает сокращение диалектно-областной раздробленности в составе языка, усиление его структурного единства. Следовательно, надо считать, что национальный язык от соответствующего языка народности отличается большей мерой единства своего состава в речи носителей языка из разных мест его распространения.

Можно было бы подумать, что проф. Г. Д. Санжеев вполне разделяет именно такой взгляд, такое понимание существа и результатов процесса преобразования языка народности в национальный. Он говорит, что «диалектальная раздробленность языка и степень этой раздробленности имеют очень важное значение потому, что ими определяются характер, темп, особенности и условия образования и дальнейшего развития национального языка, если иметь в виду лишь специально лингвистическую сторону дела...»[7]. В другом месте, говоря о «развитии национальных языков вообще», проф. Г. Д. Санжеев даже прямо заявляет, что «принципиально» это «развитие национальных языков» заключается «в постепенной ликвидации и отмирании... диалектальной раздробленности» этих языков[8].

Но эти, часто попутные, замечания Г. Д. Санжеева не согласуются с положением, которое он особо выдвигает. Именно, проф. Г. Д. Санжеев ставит перед собой вопрос, происходят ли в основном словарном фонде и грамматическом строе языка народности при преобразовании ее в нацию какие либо такие изменения, которые позволяли бы установить отличия национального языка от языка народности, и заключает, что таких изменений в языке не происходит, в связи с чем, отвечая на свой вопрос, он утверждает: «По своим структурным особенностям, т. е. по своему грамматическому строю и основному словарному фонду, национальный язык ничем не отличается от языка народности»[9].

---

[7] Сб. «Вопросы языкознания...», 1952. стр. 346.
[8] Там же, стр. 352.
[9] Там же, стр. 332.

Это — главное положение из того нового, что выдвигает проф. Г. Д. Санжеев, когда стремится осветить процесс образования национальных языков в духе учения И. В. Сталина; но именно это положение прежде всего вызывает возражения, и с ним трудно согласиться: оно противоречит и фактам истории языков, и приведенным выше положениям классиков марксизма, и собственным заявлениям проф. Г. Д. Санжеева.

Нельзя забывать ни того, что местные диалекты имеют свой основной словарный фонд и свой грамматический строй [10], о чем говорит И. В. Сталин, ни того, что для языка народности и национального эти диалекты являются не посторонним, чужеродным телом, а составной их частью. Иными словами, в основном словарном фонде и грамматическом строе языков народностей и в современном составе известных национальных языков есть два слоя категорий и форм, разных по объему и составу. Один слой, преобладающий по объему, является по составу общим для всех носителей данного языка народности или нации; это — слова и формы, которые знают и употребляют все представители той или иной народности или нации, независимо от местожительства; например, в русском языке, когда он был еще языком народности, к ним относились и в национальном языке относятся слова *вода*, *рука* и грамматические формы *нет рук*, *в руки*, *стерегли* и т. п. Другой слой, меньший по объему, является по составу разным для носителей отдельных местных диалектов и в той или иной своей части общим для носителей только одного или нескольких местных диалектов: это — слова и формы которые знает и употребляет лишь часть представителей той или иной народности или нации, таких, которые живут в какой-нибудь одной местности; например, в русском языке, когда он был еще языком народности, представители южных и северо-западных диалектов, как отмечено выше, употребляли название *смерд*, а представители северо-восточных диалектов (в пределах Ростово-Суздальской Руси) в том же значении употребляли слова *сирота*, или *крестьянин*; представители северных диалектов употребляли, как известный слой северян еще и до сих пор употребляет, формы типа *с рукам*, *с ногам*, *пирог с грибам*, *стерегчи*, а представители южных — формы типа *с руками*, *беречь*.

Но эти два слоя языковых элементов — общенародный и диалектно-областной — не существуют раздельно или самостоятельно, а составляют вместе основной словарный фонд и грамматический строй одного языка народности или нации. Поэтому, если начинается концентрация местных диалектов, т. е. образование единых категорий и форм на месте диалектно-областных различий, например, установление в общерусском употреблении термина *крестьянин* или форм типа *с руками*, *беречь* на месте нескольких разных слов и форм прошлого, то нельзя не видеть, что это преобразование в направлении к единству происходит не где-либо за пределами языка народности или нации и не только на периферии языка, а в основном словарном фонде и грамматическом строе этого языка. Поэтому совершенно очевидно, что происходящая при образовании национального языка концентрация местных диалектов, возникающий и развивающийся национальный язык по основному словарному фонду и грамматическому строю неизбежно делается отличным от языка народности, именно — более единым.

Показательно, что к мысли о том, будто по основному словарному фонду и грамматическому строю национальный язык от языка народности ничем не отличается, проф. Г. Д. Санжеев пришел не в результате своего

[10] См. И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 43.

собственного или чьего-либо анализа состава какого-нибудь одного или нескольких языков в известную пору их истории, а в результате ложного умозрительного заключения. Именно, он ставит перед собой вопрос, происходят ли в основном словарном фонде и грамматическом строе языка при преобразовании его в национальный какие-либо изменения, отличающие его от языка народности, «существует ли вообще» такое отличие, и заключает, что, «поскольку нация... складывается именно в связи с изменением в экономическом базисе общества, ... положительный ответ на эти вопросы уже означал бы признание структурного изменения языка в зависимости от каждого данного изменения в экономическом базисе» [11]. Так как зависимости изменений в составе языка от «каждого данного» изменения в базисе признать нельзя, то из этого дальше Г. Д. Санжеев и делает тот вывод, что национальный язык от языка народности по составу ничем не отличается.

Проф. Г. Д. Санжеев не замечает, что его заключение о принципиальной неправомерности положительного ответа на поставленные вопросы лишено оснований, является несостоятельным и потому служить опорой для каких-либо дальнейших выводов не может.

Проф. Г. Д. Санжеев имеет в виду изменения в базисе, происходящие при преобразовании народности в нацию, т. е. установление «общности экономической жизни», образование общенародного, национального рынка, короче говоря — экономическую концентрацию народности. Значит, по заключению Г. Д. Санжеева, если допустить, что экономическая концентрация народности, происходящая при преобразовании ее в нацию, вызывает изменения в составе языка народности, то нужно будет признать, что «каждое данное» изменение в базисе должно вызывать изменения в составе языка...

Но ведь это ложное заключение. В этой же статье проф. Г. Д. Санжеев сам его опровергает. Для такого заключения нужно было бы предварительно показать, что по последствиям для истории языка экономическую концентрацию народности, происходящую при преобразовании ее в нацию, можно приравнять к «каждому данному» изменению в базисе; между тем сам проф. Г. Д. Санжеев в другом месте своей статьи пишет, что «указанные товарищем Сталиным факторы и причины, обусловливающие большие изменения в развитии языка, действуют с особой силой в период образования и развития национального языка и проявляются в это время более ощутимо, чем когда-либо раньше» [12]. Проф. Г. Д. Санжеев не замечает, что своим заключением он вступает в прямое противоречие с известными положениями классиков марксизма; он ищет основания не признавать зависимости изменений в составе языка от экономической концентрации народности, но забывает, что Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» о «концентрации диалектов в единый национальный язык» прямо говорят, что она обусловлена «экономической и политической концентрацией» общества [13].

Проф. Г. Д. Санжеев признает, что в период образования национального языка «изменяется» словарный состав языка, признает, что за этот период «улучшается» грамматический строй. Но тут же неожиданно заявляет, что в период становления нации «в языке изменяется очень многое, но только не структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд» [14]. Это последнее положение проф. Г. Д. Санжеева про-

[11] Сб. «Вопросы языкознания...», 1952, стр. 332.
[12] Там же, стр. 333.
[13] См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, Соч., т. IV, 1937, стр. 414.
[14] Сб. «Вопросы языкознания...», 1952, стр. 333

тиворечит фактам действительной истории языков и искажает известное положение И. В. Сталина об устойчивости «основы языка». И. В. Сталин указывает, что основной словарный фонд на протяжении многих эпох «сохраняется во всем основном», т. е. изменяется очень медленно, что «грамматический строй языка изменяется еще более медленно, чем его основной словарный фонд» [15], а у проф. Г. Д. Санжеева получается так, будто есть эпохи, например эпоха образования национального языка, когда основной словарный фонд и грамматический строй языка... не изменяются. В первом издании своей статьи проф. Г. Д. Санжеев так и писал, что в период становления нации грамматический строй языка «улучшается, но не изменяется»[16]. Теперь, во втором издании, он уже говорит, что грамматический строй в этот период «улучшается, но в корне не изменяется»[17]. Но такая поправка не снимает общей неправильности построения. Во-первых, с новой формулировкой остается в противоречии то, о чем во втором же издании говорится несколько выше, именно: будто изменяется очень многое, только не основной словарный фонд и не грамматический строй. Во-вторых, новая формулировка объективно означает только то, что изменения и улучшения в языке, происходящие при преобразовании его в национальный, для нового качественного состояния языка не существенны. Но ведь «в корне» за какой-либо период язык измениться вообще не может, между тем национальный язык по отношению к соответствующему языку народности является, несомненно, качественно новой ступенью в развитии языка, поэтому следует считать, что те изменения в основном словарном фонде и грамматическом строе, какие происходят при преобразовании его в национальный, в действительности для образования этого его нового качественного состояния являются существенными. Таким образом, позиция проф. Г. Д. Санжеева по этому вопросу в целом является противоречивой и запутанной.

ОТ РЕДАКЦИИ

Вопрос, поднятый в заметке В. И. Панова,— один из важнейших в изучении исторического развития языков. Этот вопрос остается мало изученным и не разрешенным; в то же время по нему имеется большая литература, относящаяся в основном ко времени 30-х — 40-х гг. и отражающая типические ошибки «нового учения» о языке. Редакция считает целесообразным, в связи с заметкой В. И. Панова, дать критический обзор работ, посвященных вопросу о развитии от языка народности к национальному языку. См. помещаемую ниже «Библиографическую справку» (стр. 126—135 настоящего номера журнала).

[15] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, 1952, стр. 25.
[16] Сб. «Вопросы языкознания...», 1950, стр. 110.
[17] Сб. «Вопросы языкознания...», 1952, стр. 333.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1952

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ОТ ЯЗЫКА НАРОДНОСТИ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ

Библиографическая справка

В трудах классиков марксизма-ленинизма и особенно в трудах И. В. Сталина по национальному вопросу и по вопросам языкознания определены основные общественные закономерности и основные типы образования национальных языков. Однако до сих пор у нас нет еще работ, посвященных всестороннему конкретно-историческому исследованию процесса перехода того или иного языка от языка народности к национальному языку в связи с историей народа. В исследованиях этого типа должны быть раскрыты и объяснены связанные с образованием национального языка в данных исторических условиях изменения в словарном составе, в грамматическом строе соответствующего общенародного языка, а также в его отношениях к диалектам, в сфере его общественного функционирования, в системе его жанров и стилей. Само собой разумеется, что при разнообразии конкретно-исторической обстановки складывания наций и национальных языков в разных странах, у разных народов и при разнообразии внутренних законов развития, свойственных отдельным языкам, не может быть единого отвлеченного трафарета решения этого вопроса.

В труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» есть прямые указания на то, что при переходе языка от языка народности к национальному языку мы имеем дело не только с расширением функций народного языка в силу изменений общественной сущности народа — его творца и носителя, но и с развитием языка в марксистском понимании этого термина: «...с появлением капитализма, с ликвидацией феодальной раздробленности и образованием национального рынка,— указывает И. В. Сталин,— народности развились в нации, а языки народностей в национальные языки» [1]. И в другом месте того же труда И. В. Сталин говорит о том, что образование наций и национальных языков относится к числу тех общественных событий, которые вносят большие изменения в язык и его развитие.

Отметив значение для развития языка таких общественных явлений, как рост производства, появление классов, появление письменности, зарождение государства, нуждавшегося для управления в более или менее упорядоченной переписке, развитие торговли, еще более нуждавшейся в упорядоченной переписке, появление печатного станка, развитие литературы, И. В. Сталин продолжает: «За это время племена и народности дробились и расходились, смешивались и скрещивались, а в дальнейшем появились национальные языки и государства, произошли революционные перевороты, сменились старые общественные строи новыми. Все это

[1] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 13.

внесло еще больше изменений в язык и его развитие»[2]. И тут же И. В. Сталин подчеркивает, что на протяжении всего этого времени «...развитие языка происходило не путем уничтожения существующего языка и построения нового, а путем развертывания и совершенствования основных элементов существующего языка»[3]. Необходимо вспомнить в этой связи слова И. В. Сталина из его работы «Национальный вопрос и ленинизм» — о том, что элементы нации, в их числе и язык, «...не с неба упали, а создавались исподволь...»[4], т. е. в течение веков.

Таким образом, процесс формирования национального языка на основе языка народности связан с изменениями в данном языке и его развитии. Характер этих изменений, определяемых внутренними законами развития языка, неоднороден в разных языках. Сюда присоединяется и то обстоятельство, что в процессе образования нации может произойти смещение диалектной базы национального языка по сравнению с языком народности, как это было, например, при формировании национального русского языка. Проф. Р. И. Аванесов в рецензии на «Русскую диалектологию» проф. П. С. Кузнецова пишет по этому поводу: «...существенно различалась и диалектная основа языка великорусской народности, с одной стороны, и русского национального языка — с другой: если первый в своей основе был ориентирован по преимуществу на диалекты Ростово-Суздальской земли, в состав которой входила и Москва, хотя он и развивался под ведущим воздействием южных говоров, то второй — на диалекты южновеликорусские и прежде всего курско-орловский. Недаром развитие русского языка в XV—XVIII вв., как оно представляется нам по памятникам центральных областей, заключается прежде всего в освоении многих южновеликорусских особенностей (начиная с аканья) — главным образом новообразований, в связи с чем соответствующие прежние общенародные формы превращались в северновеликорусские диалектизмы»[5]. Несомненно, что в этой общей картине развития русского общенародного языка за XV—XVIII вв. много неясного (ср. хотя бы характеристику развития языка народности, ориентированного на ростовско-суздальские диалекты — при ведущем воздействии южных говоров; неопределенное указание на «освоение» южновеликорусских «новообразований» как основу развития национального языка и т. д.). Но нельзя возражать против той мысли, что процесс образования национального русского языка был связан со значительными изменениями в звуковом строе, словарном составе (и его базе — основном словарном фонде) и грамматической структуре (ср., например, развитие аканья, закрепление окончаний *-ам*, *-ям*, *-ами*, *-ями*, *-ах -ях* во всех типах склонения множ. числа сущ., постепенное распространение форм им. пад. множ. числа сущ., мужск. рода на *-á*, отбор и рост безличных конструкций, создание новых видов предложных словосочетаний и т. п.). Во всяком случае, было бы странным предположение, что длительный и важный процесс образования наций и национальных языков сопровождался застоем в развитии структуры языка.

В недавно появившейся дискуссионной статье И. М. Ионенко «Превращение курско-орловского диалекта в основу русского национального языка» («Вопросы истории», 1952, № 7) процесс образования языка русской (великорусской) народности и развития его в национальный язык изображается совсем непохоже на то, как этот процесс представляется Р. И. Аванесову. Однако и И. М. Ионенко предполагает наличие сложных и значительных изменений в русском языке, связанных с формированием

[2] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 27.
[3] Там же.
[4] И. В. Сталин, Соч., т. 11, стр. 336.
[5] «Советская книга», М., 1952, № 6, стр. 94.

нации и национального языка. По словам И. М. Ионенко, «в России ко времени образования централизованного государства на основе одного из древнерусских диалектов сложился язык русской народности, а примерно с XVII в. этот язык народности стал развиваться в национальный язык» (стр. 90). Какой же диалект лег в основу языка великорусской народности? По мнению И. М. Ионенко, основой великорусского языка не могли быть диалекты Владимиро-Суздальской земли, где население в языковом отношении было чрезвычайно пестрым. «Там не было преобладавшего над другими прочного и устойчивого диалекта, на основе которого мог бы развернуться процесс складывания языка народности» (стр. 91).

Следовательно, вопреки традиционному мнению, поддерживаемому проф. Р. И. Аванесовым, И. М. Ионенко утверждает, что язык великорусской народности не мог быть «ориентирован» на диалекты Ростово-Суздальской земли. Не могли быть его базой и говоры Новгородской земли, «где окрестное крестьянское население было разноязычным и в значительной степени неславянским, где и в городе звучала разная речь» (стр. 91). И. М. Ионенко полагает, что в основу языка великорусской народности легла речь крестьянского населения Северщины и верхнего течения Оки; эта речь определила московский говор, подчинивший себе другие местные диалекты (Новгорода Великого, Владимиро-Суздальского края и др.) (стр. 95). Язык великорусской народности (ее основного ядра — московского центра) в основном сложился в XV в. Необходимо в связи с этим вспомнить, что особенную роль рязанских говоров в процессе сложения языка Москвы подчеркивал проф. А. М. Селищев (а раньше его — в очень своеобразном освещении — проф. Е. Ф. Будде). Однако развиваемая И. М. Ионенко гипотеза о том, что язык великорусской народности складывался в XII—XV вв. на основе юго-восточных акающих говоров, восходящих к племенным диалектам вятичей и северян, не может быть в настоящее время подтверждена вполне убедительными свидетельствами истории русского языка и не только потому, что, как справедливо заявляет И. М. Ионенко, «внимание лингвистов-диалектологов было обращено главным образом на вопросы звуковой системы русского языка» (стр. 89).

Многие факты истории грамматического строя и словарного состава русского языка XIV—XV вв. говорят о тесной связи языка русской народности с северо-восточными и среднерусскими говорами (ср. язык московских грамот XIV—XV вв.). Поэтому мнение И. М. Ионенко о том, что юго-восточные диалекты сыграли решающую роль в формировании и языка великорусской народности и языка русской нации, должно быть признано в высшей степени сомнительным и односторонним. Впрочем, И. М. Ионенко решительно подчеркивает, что «курско-орловская речь», которая, согласно указанию И. В. Сталина, легла в основу русского национального языка, «не может быть приравнена к диалектам Северщины и верховьев Оки» (стр. 95). По словам И. М. Ионенко, «курско-орловский диалект возник в XVII в., когда Курско-Орловский край уже имел густое и устойчивое население. Этот диалект сложился на основе разговорной речи местного населения и населения, переселившегося из соседних, расположенных к северу и северо-западу от него районов, то-есть того населения, говоры которого наши диалектологи обычно определяют как среднерусские, или умеренно акающие» (стр. 98).

Несмотря на то, что в представлении И. М. Ионенко языковое творчество районов, лежавших к югу от Москвы, определяло московскую «речь» как в период возникновения русской народности, так и в период формирования русской нации, И. М. Ионенко решительно настаивает на значительных отличиях национального русского языка и его диалект-

ной базы по элементам их качества от языка великорусской народности. «Интенсивность процесса языкового творчества в Курско-Орловском районе, — пишет об этом в очень общей форме И. М. Ионенко, — выражалась, очевидно, в сравнительно быстром росте словарного состава языка, в более активном развитии морфологических и синтаксических особенностей, в складывании и развитии характерной для русского языка звуковой системы» (стр. 99).

Таким образом, при всей противоречивости и явной необоснованности общих выводов о ходе процесса складывания языка великорусской народности, при отсутствии полной исторической картины развития русского национального языка на основе курско-орловского диалекта, — все же наши историки и диалектологи, пытающиеся подойти к решению этих вопросов с запасом некоторого конкретно-исторического материала, приходят к правильному убеждению в том, что развитие национального языка было связано с накоплением новых элементов качества языка.

Между тем некоторые языковеды, механически восприняв марксистский тезис о медленных изменениях грамматического строя и основного словарного фонда, склонны отрицать вообще всякие отличия в структуре национального языка от языка народности.

Кроме мнения проф. Г. Д. Санжеева по этому вопросу, вызвавшего справедливые протесты проф. Р. А. Будагова и В. Н. Ярцевой (см. «Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 113), можно указать на такое же одностороннее и упрощенное суждение И. С. Миллера о процессе развития языка польской народности в польский национальный язык. Он пишет: «Можно отметить ряд отличий между польским языком Рея и Кохановского — единым языком польской народности — и польским национальным языком Мицкевича и Словацкого. Но эти отличия не касаются основы языка — его грамматического строя и основного словарного фонда»[6]. Тут мы имеем дело с «противоположным общим местом», порожденным тенденцией как можно сильней и дальше оттолкнуться от заблуждений так называемого «нового учения» о языке. Так как взгляды «учеников» и приверженцев «теории» Н. Я. Марра на процесс развития национального языка, который они считали классовым языком буржуазии, еще не были предметом критического разбора с позиции сталинского учения о языке, то полезно сгруппировать и разоблачить антимарксистские положения сторонников Н. Я. Марра по этому очень важному вопросу истории языка.

Стремление рассматривать национальный язык как качественно совершенно новую структуру по сравнению с языком народности, а процесс образования национального языка как крутой переход от одного качества языка к другому, как резкое качественное изменение структуры языка и даже как «взрыв» в истории языка имеет свои корни в стадиальной концепции Н. Я. Марра и восходит к взглядам некоторых его «учеников». Так как период формирования национального языка связывается с развитием капиталистических отношений в стране, то Н. Я. Марру и его последователям, видевшим в истории языка цепь взрывов, смену разных по своему качеству языковых типов, обусловленную сменой базисов, социально-экономических формаций, казалось естественным, что вместе с подымающимся капитализмом возникает и новая структура формирующегося национального языка. Воззрение на национальный язык как на качественно новую стадию в развитии того или иного языка, наглядно обнаруживающуюся и в обновлении словарного состава языка, и в но-

[6] И. С. Миллер, К вопросу о формировании польской буржуазной нации, «Вопросы истории», [М.], 1952, № 7, стр. 53.

вых его грамматических свойствах, особенно ярко в синтаксисе, было выдвинуто проф. Л. П. Якубинским в период его увлечения «новым учением» о языке. Соответствующая точка зрения развивалась проф. Л. П. Якубинским в начале 30-х годов в ряде докладов по вопросам грамматики русского языка, прочитанных им в ленинградских Институте речевой культуры и в Институте языка и мышления. Поддаваясь модному в то время среди «учеников» Марра увлечению стадиальным синтаксисом, Л. П. Якубинский связывал образование национального языка со «взрывом», с революцией в структуре предложения. В коллективном ленинградском «Учебнике русского языка» (Л., 1932 г.) была помещена «Историческая справка о сложном предложении», отражающая взгляды Л. П. Якубинского на процесс формирования русского национального языка. С этим процессом тут связывается революционный «взрыв» в области синтаксической структуры языка, а именно: образование новых типов сложного предложения. Эти же идеи развивались Л. П. Якубинским и в особом докладе на Ленинградской конференции педагогов-словесников: «Проблемы синтаксиса в свете нового учения о языке» (Материалы к докладам на Ленинградской конференции педагогов-словесников, Л., 1931, стр. 6—11).

Особенное внимание Л. П Якубинского привлекла проблема мнимого «стадиального» развития сложного подчинения в русском языке — категории более новой сравнительно с сочинением. По мнению Л. П. Якубинского, в древнерусском языке еще не было развитой и дифференцированной системы подчинительных союзов. Подчинительные союзы здесь были многозначны (например, *яко* — в изъяснительном, следственном, причинном, сравнительном и временно́м значениях, как показывают наблюдения Е. С. Истриной, изложенные ею в работе «Синтаксические явления в Новгородской I летописи по Синодальному списку»; ср. многозначность *что* — причин., условн., сравнит., следств.; *как* и т. п.).

Развитие сложноподчиненной конструкции, как полагал Л. П. Якубинский вслед за А. А. Потебней, шло двумя путями: или путем преобразования сложносочиненной конструкции (вводом союза), или путем использования и преобразования причастных оборотов.

Однако главным оказался первый путь, потому что он давал возможность посредством постановки союзов с их дальнейшей дифференциацией и специализацией выразить самые разнообразные оттенки зависимости между предложениями. Этот процесс, по представлениям Л. П. Якубинского, пережил взрыв-скачок, резкое качественное преобразование в период формирования национального русского языка.

Синтаксические теории Л. П. Якубинского, как и многие другие его идеи, еще до опубликования их в печати оказали влияние на разработку проблем исторического синтаксиса как русского, так и западноевропейских языков и даже языков других систем среди молодых ученых, примыкавших к вульгарно-социологической «теории» Н. Я. Марра.

Так, Т. В. Строева-Сокольская в своей диссертации «Развитие сложноподчиненного предложения в немецком языке» (Л., 1940), написанной под явным влиянием стадиально-синтаксических идей Л. П. Якубинского, заявляет: «В советской лингвистике принципиальный вопрос о возникновении сложноподчиненного предложения, о стадиальном развитии синтаксиса на базе развития общественных отношений был впервые выдвинут проф. Л. П. Якубинским (1931 г.) в синтаксической бригаде Ленинградского научно-исследовательского института языкознания (б. ГИРК). Вопрос этот разработал на специальном материале проф. А. П. Рифтин в докладе на пленуме Института языкознания (ЛНИЯ) в мае 1935 г.: «О двух путях развития сложного предложения в аккадском языке". А. П. Рифтин устанав-

ливает два пути создания сложного предложения: первым является развитие сложноподчиненного предложения на базе соединения более простых предложений, на базе сочинения; вторым путем развития является развитие подчиненного предложения внутри простого предложения, из элементов его (причастных, деепричастных, инфинитивных конструкций). А. П. Рифтин признает, что ведущим для флективных языков является первый путь, для языков же агглютинирующих и инкорпорирующих — второй»[7].

Точно так же В. Н. Ярцева признает зависимость своей работы «Развитие сложноподчиненного предложения в английском языке» (Л., 1940) от тех же стадиально-синтаксических взглядов Л. П. Якубинского. Она пишет в предисловии: «Вопрос о развитии сложноподчиненного предложения в связи со становлением национального литературного языка был в советской лингвистике впервые поставлен проф. Л. П. Якубинским в ряде его докладов в Ленинградском научно-исследовательском институте языкознания. Позднее, в том же Институте, некоторыми научными работниками и аспирантами разрабатывались отдельные частные вопросы сложноподчиненного предложения на материале различных языков. Можно назвать работы: Э. И. Каратаевой „Временно́е предложение в русском языке по материалам Петровской эпохи" (рукопись); Т.В. Сокольской „Развитие подчиняющих союзов в немецком языке" (рукопись); А. П. Рифтина „О двух путях развития сложного предложения в аккадском языке»[8].

Таким образом, навеянная антимарксистской концепцией Марра тенденция непосредственно связывать грамматическое развитие языка со сменой социально-экономических формаций выразилась в попытках найти коренные сдвиги в истории сложного предложения и приурочить их к эпохе зарождения капиталистических отношений и формирования национального языка. Взгляды Л. П. Якубинского были восприняты и развиты проф. В. М. Жирмунским.

В работе «Развитие строя немецкого языка» В. М. Жирмунский писал: «Эпохи больших исторических сдвигов, обозначавшие ломку общественных отношений и существенную перестройку в области идеологии, выдвигаются как поворотные пункты и в развитии языка: напр., переход от родового строя к феодальному, связанный с развитием клерикальной культуры и усвоением наследия латинской церковной письменности (древненемецкий период. VIII—X вв.), и начальная стадия разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений — эпоха развития бюргерской литературы, гуманизма и реформации и зарождения новонемецкого национального языка (XIV—XVI вв.). К этому последнему этапу, в основном определившему грамматическую структуру современного новонемецкого литературного языка, мы отнесли развитие предложного склонения в его наиболее сложных логических формах, грамматизацию системы спряжения с помощью вспомогательных глаголов с объективным будущим, относительными временами, развитым страдательным залогом и условным наклонением, развитие развернутой системы сложноподчиненного предложения, в особенности — дифференцированных союзов логического подчинения (и сочинения) — причинных, следственных, целевых, уступительных и, наконец, как явление синтаксического синтеза — установление прочного порядка слов. Крестьянские диалекты, не проделавшие большинства этих изменений, в значительной степени

[7] Т. В. Строева-Сокольская, Развитие сложноподчиненного предложения в немецком языке, Л., 1940, стр. 5.
[8] «Советское языкознание», т. III, Л., 1937 стр. 59—67.

сохранили пережиточные формы синтаксического строя, характерные для более ранних стадий общественного развития»[9].

И в другом месте той же работы: «Развернутая система логических форм подчинения, существующая в современном немецком литературном языке, складывается в раннем новонемецком, в эпоху образования национального языка (XIV—XVI вв.) и продолжает развиваться в последующие столетия. На этой стадии возникает множество подчинительных союзов, позволяющих дифференцировать всевозможные логические связи и отношения: условные — falls (в случае если), insofern, soweit (поскольку); уступительные — obgleich, obwohl, obschon (хотя), trotzdem dass (несмотря на то, что); целевые — um, um zu, damit (чтобы); следственные — so dass (так что); временные — während, in dem (в то время как), so oft als (всякий раз когда), sobald als (как только) и мн. др. В то же время устанавливается особый порядок слов придаточного предложения и регламентируется употребление конъюнктива, как признака подчинения.

В новонемецкую эпоху соответственно осложняется и система сочинения. Рядом со старыми простейшими союзами соединения и противопоставления (mhd. unde, ouch, oder, doch, aber—в значении «еще раз», позже—«но», и немн. др.) дифференцируются всевозможные формы противоположения, ограничения, исключения и причинно-следственных отношений, выраженных новыми союзами — напр., allein (однако), dagegen (напротив), dennoch (все-таки), sogar (даже), nichtsdestoweniger (тем не менее), ausserdem (кроме того), demnach (итак), deshalb, deswegen, darum (поэтому), folglich (следовательно) и др.»[10].

В этой своей работе В. М. Жирмунский так характеризовал марристские методологические основы своей историко-грамматической концепции: «Язык, как всякая идеология и как форма других идеологий, отражает в своем развитии познание объективной действительности на основе общественной практики и является в то же время орудием воздействия на эту действительность. Грамматико-синтаксический строй языка, рассматриваемый в его стадиальном развитии, входит таким образом в единый глоттогонический процесс, который является частью общего процесса социального развития человечества»[11].

---

[9] В. М. Жирмунский, Развитие строя немецкого языка, «Известия АН СССР, Отд-ние обществ наук», 1935, № 4, стр. 402. Ср статью Т. Сокольской «Сложноподчиненное предложение в немецком языке» в сб. «Вопросы немецкой грамматики в историческом освещении», Л., Учпедгиз, 1935.

[10] В. М. Жирмунский. Указ. соч., стр. 391—392.

[11] Там же, стр. 354. В своей последней статье «Образование и развитие национальных языков в свете учения Ленина — Сталина о нации» («Иностранные языки в школе», 1952, № 4) В. М. Жирмунский, совсем не упоминая своих прошлых работ и своих прежних взглядов по вопросу о развитии национального языка, высказывает целый ряд совсем иных соображений о путях и закономерностях перехода от языка народности к языку национальному.

«По сравнению с национальным языком, возникающим в процессе исторического развития буржуазного общества,— пишет В. М. Жирмунский,— язык народности обнаруживает гораздо более значительные местные различия — в соответствии с общей слабостью экономических, политических и культурных связей между феодальными территориями, характерной для периода феодальной раздробленности» (стр. 15). Далее: «Существенное различие между языком народности и позднейшим национальным языком касается общественных функций языка, в особенности — его письменного употребления... Национальный язык... является одновременно и разговорным и письменным, и языком частного, бытового общения между людьми, и вместе с тем языком публичной речи, устной и письменной, во всем многообразии ее употребления: в государственной и общественной жизни, в торговых сношениях, в науке и литературе» (стр. 16).

Что касается качественных различий в структуре между языком народности и национальным языком, то теперь В. М. Жирмунский готов односторонне свести их только к изменениям словарного состава, к его развитию, о развитии же грамматиче-

Очевидно, что и в основу работ Т. В. Сокольской и В. Н. Ярцевой по синтаксису сложного предложения в его развитии легли те же антимарксистские, ошибочные мысли, тесно связанные с идеей Н. Я. Марра о многозначности или семантической диффузности союзов подчинения на ранних стадиях развития языка (об этом писал Н. Я. Марр, характеризуя древнегрузинский язык). Эта же мысль нашла отражение и в работах В. М. Жирмунского: «Лишь постепенно из многозначных союзов с конкретным (пространственно-временным) значением развиваются и дифференцируются союзы логического подчинения, служащие для обозначения причины, цели, следствия, условия и т. п. Массовое образование таких союзов, свидетельствующее о развитии логического мышления и средств его выражения в языке, падает на эпоху возникновения национального литературного языка, в Западной Европе, на XIV—XVI века, т. е. на период начинающейся ликвидации средневековых общественных отношений и средневекового мышления. Немецкий, французский, английский языки развиваются в этом отношении совершенно параллельно. При этом английский язык широко пользуется, наряду с союзным подчинением, особыми формами номинальных конструкций, возможными лишь в условиях полиморфизма слова, характерного для развитого аналитического строя»[12].

Естественно, что эта стадиальная точка зрения на историю языка, как на смену языковых систем, обусловленную сменой социально-экономических формаций, переносится и в область изучения исторического синтаксиса русского языка [13].

Как глубоко въедаются в сознание ученых старые взгляды и как упорно сохраняются их пережитки даже в новом идеологическом окружении, показывает докторская диссертация Э. И. Каратаевой «Союзное подчинение в литературном языке второй половины XVII столетия (из истории образования сложного предложения в национальном русском литературном языке)» [14]. Несмотря на то, что Э. И. Каратаева в этой работе исходит из основных положений сталинского учения о языке и о закономерностях образования национальных языков, она все же не раз сбивается на свои старые позиции, которые она как ученица Л. П. Якубинского отстаивала больше десяти лет назад в кандидатской диссертации, посвященной анализу развития сложных предложений с союзами времени по материалам языка Петровской эпохи. Она упорно рассматривает сложное предложение в русском языке как «категорию национального языка», утверждая, таким образом, резкое и внезапное качественное изменение русского синтаксического строя, порожденное развитием капиталистических отношений и процессом складывания национального русского языка.

Вот несколько относящихся сюда цитат из автореферата докторской диссертации Э. И. Каратаевой: «Переход к новой структуре сложноподского строя он умаляет. По словам В. М. Жирмунского, «расширение сферы употребления общенародного языка способствует его дальнейшему обогащению, частично за счет вытесняемых „официальных" письменных языков. Словарный состав языка, „как наиболее чувствительный к изменениям" (И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1951, стр. 24), пополняется „новыми словами, возникшими в связи с изменениями социального строя, с развитием производства, с развитием культуры, науки и т. п." (там же, стр. 25). В этом смысле,—заключает В. М. Жирмунский,—национальный язык отличается от языка народности, из которого он развивается, не только сферой своего распространения, но также качественными изменениями, неразрывно связанными с развитием общества» (стр. 18).

[12] В. М. Жирмунский. Итоги изучения романских и германских языков в СССР за двадцать лет. «Известия АН СССР, Отд-ние обществ. наук», 1937, № 5, стр. 1242—1243.

[13] Ср. Я. А. Спринчак. Синтаксические конструкции Судебника Ивана Грозного, «Ученые записки Ленингр. гос. педагогического ин-та. им. Герцена», т. XX, 1939, стр. 107, 114—115.

[14] См. автореферат этой диссертации (Л., 1951, Ин-т языкознания АН СССР).

чиненного предложения, как будущей категории национального литературного языка, осуществляется средствами союзного наречия *когда*, которое в конце XVII столетия начинает быть всеобщим, хотя еще и не господствующим, временным союзом» (стр. 25, разрядка наша.— *Ред.*).

«В памятниках древней письменности наречия *едва*, *лишь* и др. в функции временных союзов встречаются редко. Их союзная функция в исследованном материале служит выражением специфических качеств нового литературного языка, в котором, по мере развития употребления сложных предложений, союз должен выражать не только характер подчинения, но и оттенок его значения» (стр. 27, разрядка наша.— *Ред.*).

Создание национального языка непосредственно связывается в этой работе с образованием новых грамматических форм в области синтаксиса: «Грамматическими формами, которые делают шаг вперед по пути создания национального литературного языка, являются союзы *ежели*, *если*» (стр. 29).

Любопытны заявления автора о том, что глагольное происхождение условных союзов *будет-буде*, уступительного союза *хотя* «противоречит общенародной основе национального литературного языка» (стр. 30).

Правда, иногда Э. И. Каратаева под влиянием трудов И. В. Сталина пытается связать «бурное» развитие форм сложного предложения в XVII—XVIII вв. с действием внутренних законов развития национального языка, но в чисто декларативном плане. Она пишет: «Полное и всестороннее развитие подчинительных конструкций является одной из специфических черт национального литературного языка... Подчинительные конструкции, первоначально выражающиеся в неустойчивых, противоречивых, несобственных еще формах, в национальном литературном языке по внутренним законам своего развития приобретают специфические, строго дифференцированные формы, которые стабилизируются и, выступая в различных жанрах речи, делаются всеобщей грамматической категорией» (стр. 6).

«В „новый период" развития русского литературного языка получают распространение те синтаксические формы, которые станут специфической принадлежностью национального русского литературного языка, в частности, интересующие нас новые формы подчинительных союзов: *когда*, *пока*, *если*, *ежели*, *хотя*, *потому что*, *чтобы* и др.» (стр. 34) [15].

Кроме того, Э. И. Каратаева объясняет качественное преобразование русского языка в период формирования нации новым содержанием, которое вливается в его лексический состав и в синтаксический строй. Но как это «новое содержание» могло повлиять на качественные сдвиги в синтаксическом строе русского языка второй половины XVII в.— это у Э. И. Каратаевой остается не разъясненным. Она заявляет: «Новый литературный язык отличается новым содержанием, что сказывается на его лексическом составе и частично на синтаксическом строе. Это находится в связи с появлением новой литературы, разнообразной по форме и содержанию» (стр. 4—5, разрядка наша.—*Ред.*).

Отголоски «злоупотребления семантикой», понимания языка как идеологической надстройки и увлечения стадиально-синтаксической концепцией Л. П. Якубинского в этих рассуждениях очень слышны [16].

[15] Ср. тут же характерную, но противоречащую всему изложению оговорку: «Новыми они являются условно, потому что в том или ином виде известны были общенародному языку уже давно, но находились до времени как бы под спудом, используясь или в иной функции, или составляя нижнее течение его развития...» (стр. 34).

[16] Трудно не поставить в связь со стадиально-синтаксической концепцией проф. Л. П. Якубинского и с влиянием взглядов В. М. Жирмунского такие рассуждения

Из всего изложенного ясно, как актуальны и важны для нас подлинно исторические исследования процессов становления и развития национальных языков, основанные на сталинском учении о языке и нации, о внутренних законах развития языка и опирающиеся на тщательно систематизированный конкретно-исторический материал того или иного языка, изучаемый в неразрывной связи с историей народа.

В истории русского языка изучение процесса развития языка народности и образования национального языка органически связано с историческим исследованием курско-орловского диалекта, который, согласно указанию И. В. Сталина, лег в основу формирующегося языка русской нации. Само собою разумеется, что гораздо глубже должны быть исследованы те фонетические, морфологические и синтаксические, а также лексические явления в их развитии, которые определили структуру языка великорусской народности. Между тем история развития русского грамматического строя, а тем более основного словарного фонда и словарного состава вообще с XI по XVIII в. остается во многом очень неясной. Она еще не изучена даже в главных своих закономерностях. Правда, исследователи исторической морфологии русского языка (например, Б. Унбегаун, С. Д. Никифоров и др.) приходят к выводу, что система современного именного и местоименного склонения и система современного глагольного спряжения с соответствующими грамматическими категориями, относящимися к этим частям речи, к середине XVI в. в основном сложились. Однако конкретно-исторические процессы закрепления и нормализации отдельных форм склонения существительных и прилагательных (например, форм им. пад. множ. числа сущ. среднего рода — не под ударением, им. пад. множ. числа сущ. мужского рода на *-á*, твор. пад. множ. числа на *-ами*, *-ями* в склонении слов мужского и среднего, формы род. пад. ед. числа женск. рода имен прилагательных и др.), а также форм глагола (например, инфинитива, деепричастия, повелит. наклонения и др.) с древнейшей поры до начала XVIII в. остаются по памятникам не исследованными. Точно так же еще очень много спорного и неясного в истории развития многих важных грамматических категорий, например, таких, как категория собирательности имен существительных, категории залога, времени и вида глагола. Несомненно, что особенно значительны и многообразны были процессы развертывания и совершенствования синтаксического строя русского языка — и притом не только в период от XIV по конец XVII в., но и в XVIII—XIX вв., однако и тут конкретно-исторических исследований и обобщений еще очень мало. История развития форм и типов словосочетаний в русском языке является до сих пор областью почти совсем неизвестной. Выдвинутая трудами И. В. Сталина проблема основного словарного фонда в его развитии еще не получила глубокой конкретно-исторической разработки в русском языкознании. Таким образом, перед языковедами-русистами, стремящимися уяснить развитие русского языка от языка народности к языку национальному,— непочатый край серьезной и важной исторической работы. Плодотворное и быстрое решение этих важных, коренных проблем истории русского языка во многом зависит от содружества, от коллективных усилий языковедов и историков в этой области исторического исследования.

Н. М. Александрова в автореферате диссертации «К вопросу о сочинении и подчинении предложений» (Л., 1951): «...гипотаксис это — полная связь между предложениями, являющаяся выражением тесной связи между мыслями. Общественными условиями его развития были: вызвавший отделение города от деревни рост товарно-денежного хозяйства, развитие обмена и внутреннего рынка, а тем самым и усложнение деловых связей отдельных членов общества друг с другом...» (стр. 19).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Проф. А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, Издательство Академии педагогических наук РСФСР, М., 1952, стр. 335.

«Очерки по стилистике русского языка» проф. А. Н. Гвоздева представляют собою опыт пособия по стилистике, рассчитанного на преподавателей и студентов педагогических институтов (см. Предисловие, стр. 3). Сам автор предупреждает читателей, что в его книге много спорного «как в отношении общей структуры и концепции стилистики, так и в освещении отдельных вопросов». И действительно, несмотря на то, что пособие А. Н. Гвоздева содержит немало ценных и тонких наблюдений над отдельными грамматическими процессами и стилистическими явлениями современного русского языка, оно не разрешает проблемы построения стилистики национального языка. Прежде всего, автор не дает ясного и отчетливого представления о *норме* или о *нормах* общенародного языка.

А. Н. Гвоздев выдвигает два «основных признака языковых норм»: а) «единство, единообразие, отсутствие разнобоя, общепринятость языковых явлений» и б) «устойчивость, сохранность, неизменяемость в течение длительного исторического срока» (Введение, стр. 7). Но это — общие признаки структуры языка. Понятие *нормы* языка предполагает внутреннее *единство многообразия*. Это понятие не может быть определено без учета исторической смены и исторической изменчивости языковых явлений, без учета борьбы старого и нового в языке, без учета развития форм речевого общения. Понятие языковой нормы диалектически основывается на признаках устойчивости языковой структуры и динамики языкового развития. Это понятие может быть раскрыто лишь на фоне широкой картины отношений общенародного языка — во многообразии его функций и общественных проявлений — к социальным жаргонам и арго, к народным диалектам, на фоне описания основных типов функциональных разновидностей литературного языка как высшей, обработанной формы общенародного национального языка. Во всяком случае, данное А. Н. Гвоздевым определение языковых норм не приводит к пониманию сущности и задач стилистики: автор смешивает стилистику с нормативной грамматикой.

«В связи с вопросом о соблюдении языковых норм литературного языка и *о мастерстве использования языковых средств* (курсив мой.— *В. В.*),— пишет А. Н. Гвоздев,— при изучении русского языка выделяются два раздела, близко соприкасающихся между собой,— нормативная грамматика и стилистика» (Введение, стр. 7—8). Сначала читатель остается в недоумении, почему рядом с нормативной *грамматикой* не упомянуты *нормативная лексикология* и *нормативная фонетика* (т. е. орфоэпия). Однако дальше выясняется, что А. Н. Гвоздев неправомерно, в противоречии со сталинским учением о составе и содержании грамматики, искусственно расширяет границы и задачи нормативной грамматики. По словам А. Н. Гвоздева, «задачей нормативной грамматики является установление норм литературного языка, выяснение того, что в нем допустимо и что, наоборот, находится за его пределами и нарушает общепринятое в языке; она делает предупреждения о таких грубых ошибках, которые обязательно должны быть исправлены» (стр. 8). Совершенно ясно, что здесь нормативная грамматика, переплетающаяся со стилистикой, мыслится как универсальная наука о языке, охватывающая всю его структуру: не только грамматический строй, но и словарный состав с его внутренним ядром — основным словарным фондом, а также произносительные нормы языка. В этой связи становится понятным, почему в «Очерках по стилистике русского языка» рассказывается о множестве грамматических фактов современного русского языка, которые относятся непосредственно к грамматике. Вот несколько иллюстраций.

«§ 123. Особо стоят притяжательные на *-овый, -иный*. Они, прежде всего, обозначают принадлежность не одному лицу или животному, а всему классу таких лиц и животных; затем в них нередко на первый план выступает качественный оттенок, особенно тогда, когда они употребляются в переносном значении; так, *утиные яйца* — это яйца не одной определенной утки, а уток в отличие от кур, гусей и т. д., а *утиный*

нос — это не всегда нос утки, а часто такой, как у утки. Эти прилагательные, в противоположность таким, как *отцов*, являются общеупотребительными. Чаще всего они образуются от названий животных, например: *бобровый, китовый, осетровый, слоновый, гусиный, звериный, куриный, лебединый, лошадиный, пчелиный, соколиный*» (стр. 105). Спрашивается, что же в этом рассуждении относится к стилистике, кроме указания на общеупотребительность рассматриваемого словообразовательного типа? (Ср. также следующие § 124 и 125).

«§ 147. Указательное местоимение „тот" и определительное „такой" нередко раскрываются придаточными предложениями. Так: *Сейчас, на Эльтоне, он вдруг почувствовал, что именно здесь и лежит тот предел, за который уже нельзя переступить.* (К. С и м о н о в, Дни и ночи.), *Они оба невольно посмотрели в ту сторону, куда предстояло идти полку.* (Т а м ж е.) Необходимо следить, чтобы при замене придаточного предложения причастным оборотом в главном не осталось этого местоимения, так как оно в таких случаях не употребляется» (следуют примеры, стр. 116). Ср. также § 148 и 160. И тут мы имеем дело с отрывочными сведениями, заимствованными из описательной грамматики.

Мало стилистических указаний и наблюдений содержится также в § 183—200, объединенных под названием «Времена глаголов» (стр. 137—148). Здесь явно преобладает типичный общеграмматический материал. (Ср. § 184, 187 и др.)

Точно так же раздел о деепричастии (§ 237—244) почти целиком (кроме, разве, сопоставления форм: *волнуя — волнующе, ослепляя — ослепляюще* и т. д.) содержит простое описание относящихся к этой категории общих грамматических явлений русского языка.

В области синтаксиса характеристика соединительной связи, противительных и разделительных отношений между однородными членами предложения, осуществляемая посредством определения значений соответствующих союзов, а иногда и указания на круг их употребления, также содержит очень мало таких сведений, которые выходят за границы грамматической природы этих явлений и словарного описания функций союзов (§ 382—405, стр. 242—250).

В описании видов сложного предложения, особенно сложноподчиненного предложения, также очень трудно иногда найти что-нибудь специфически стилистическое. (Ср., например, § 481—490— о дополнительных предложениях, § 500—517— об определительных предложениях, § 519—534 — о временных предложениях и т. п.)

Для оценки положенного в основу «Очерков» понимания взаимоотношений между стилистикой и нормативной грамматикой, быть может, наиболее показательна глава о предложениях цели (§ 581—584). Здесь мы находим такие сведения:

«П р е д л о ж е н и я ц е л и, выражающие цель, назначение действий, имеют незначительные различия в связи с употребляемыми союзами.

1) Обычным союзом является „чтобы"; указание на цель усиливается употреблением указательного слова „для того, чтобы", „с тем, чтобы", „затем, чтобы", „с тою целью, чтобы".

Для конструкции придаточных предложений характерно, что часто в придаточном сказуемое выражено инфинитивом. Такое придаточное особенно тесно связано с главным, в отдельных случаях сближаясь с инфинитивом в простом предложении; инфинитив, как и в других случаях его употребления, выражает модальность, обычно указывая на возможность: *Девочка села у окна, чтобы видеть демонстрацию.* Сравни: *Девочка села у окна, чтобы можно было видеть демонстрацию...* Когда в придаточном употребляется условное наклонение, оно более самостоятельно; при этом часто действия главного и придаточного предложений совершаются разными лицами. *Мать посадила девочку у окна, чтобы она видела демонстрацию...*

Сочетание „для того чтобы" может целиком входить в придаточное предложение...

2) союз „дабы" имеет несколько архаический оттенок...

3) Отрицание известной цели, указание на то, что действие производится не с той целью, которая приводится, выражается посредством отрицательной частицы „не", помещаемой перед указательным местоимением,—„не с тем, чтобы", „не для того, чтобы": *Я пришел не с тем, чтобы продолжать неприятный разговор...*

Следует отметить, что такое отрицание указываемой цели отличается от случаев, когда частица „не" стоит перед сказуемым придаточного предложения: *Я замолчал, чтобы не продолжать неприятный разговор.* Здесь действие главного предложения мотивировано достижением цели, только эта цель состоит в достижении не положительного, а отрицательного результата.

Особняком стоят предложения отстраненной и неосуществленной цели, имеющей (?) в придаточном сочетание „вместо того чтобы" (стр. 315—316).

Вот и все, что А. Н. Гвоздев нашел необходимым сказать в «Очерках по стилистике русского языка» о сложноподчиненных предложениях цели. Кроме ссылки на архаический оттенок, вносимый союзом «дабы», содержание этого раздела ничем не отличается от обычной грамматической характеристики описываемых явлений.

Таким образом, вместо изображения с т и л и с т и ч е с к и х вариантов в кругу

одной и той же семантической и грамматической категории или вместо описания с т и л и с т и ч е с к и х вариаций русского литературного языка, в «Очерках» очень часто развертываются картины и серии г р а м м а т и ч е с к и х конструкций современного русского языка. Место стилистики в общей системе языкознания, в кругу других лингвистических дисциплин остается не определенным. А. Н. Гвоздев совсем не говорит также о том, возможна ли стилистическая точка зрения на звуковой состав языка, включается ли в стилистику учение о стилях произношения в их историческом развитии. Автор сближает стилистику с нормативной грамматикой, с одной стороны, и с семантикой или семасиологией — с другой. Он пишет: «Важность разработки вопросов стилистики, рассматривающей явления языка со стороны их значения, вытекает из той исключительной роли, какую играет значение (семантика) в явлениях языка, как об этом пишет И. В. Сталин в ответе тов. Крашенинниковой: „Семантика (семасиология) является одной из важных частей языкознания. Смысловая сторона слов и выражений имеет серьезное значение в деле изучения языка. Поэтому семантике (семасиологии) должно быть обеспечено в языкознании подобающее ей место" (И. С т а л и н, Марксизм и вопросы языкознания, изд-во «Правда», 1950, стр. 32). При этом для стилистики руководящим указанием первостепенной важности служит учение И. В. Сталина о связи мышления с языком, о невозможности возникновения мыслей без языкового материала, в оголенном виде... Стилистика и производит анализ значения явлений языка, представляющих собой языковой материал: слов и их форм, предложений, их типов, их членов» (стр. 9).

Совершенно ясно, что А. Н. Гвоздев пользуется словом *семантика* в двух очень далеких, разнородных значениях. С одной стороны, семантика —это одна из важнейших частей языкознания, изучающая смысловую сторону слов и выражений. В этом направлении возникает вопрос о том, понимать ли термин *выражения* расширительно, включать ли в его состав предложения, их типы, их члены или же рассматривать *выражения* только в лексико-фразеологическом плане. При расширительном понимании объема и задач семантики (семасиологии) круг грамматических «значений» войдет в ее сферу, и грамматика частично сольется с семантикой, вобрав в себя грамматические значения «слов и их форм, предложений, их типов, их членов». А. Н. Гвоздев не останавливается на всех этих важных проблемах. Он склоняется к другому, профессионально-языковедческому, несколько арготическому употреблению слова *семантика* как синонима слова *значение*. (Ср. названия некоторых очерков А. Н. Гвоздева: «Семантика степеней сравнения и их употребление в стилях речи», стр. 106; «Экспрессивные и семантические оттенки личных местоимений», стр. 116; «Синонимика и семантика других видов местоимений», стр. 124.) Тем самым обходится, оставляется в стороне проблема соотношения и взаимодействия стилистики и семасиологии как важнейших частей языкознания. Вследствие этого семантические основы стилистических наблюдений и замечаний А. Н. Гвоздева оказываются не вполне определенными и недостаточно устойчивыми.

Уклон к семантике сказывается, прежде всего, в том, что автор иногда идет от грамматических понятий и категорий к способам и формам их выражения. Такой подход к грамматическим явлениям акад. Л. В. Щерба связывал с задачами так называемого «активного синтаксиса». В этом духе и стиле в книге А. Н. Гвоздева дан, например, анализ глагольных наклонений (§ 201—223, стр. 148—157). Здесь перечисляются способы «выражения просьб и призывов», «выражения желательности действий», «выражения необходимости действий». В качестве иллюстрации можно остановиться на описании способов выражения необходимости действия. По словам А. Н. Гвоздева, «наиболее обычным в русском языке выражением необходимости по желанию говорящего служат модальные слова *нужно, надо, необходимо, нельзя, невозможно*: *Вам нужно экономить материал*; *Вам надо обратиться к врачу*, *Ему не надо выходить на мороз*... Все эти выражения носят констатирующий характер и не обладают экспрессивностью».

«Экспрессивным выражением необходимости служит форма инфинитива в сочетании с дательным падежом, обозначающим лицо. Этот оборот без отрицания встречается редко: *Тебе — большим человеком быть, понял*? (Г о р ь к и й, Дело Артамоновых.); пословица *Плыть, да быть* (= хоть придется плыть из-за бездорожья, но нужно добраться). Обычно этот оборот встречается с отрицанием...» (стр. 155—156).

Легко заметить, что инфинитивные предложения этого типа без отрицания обычно выражают не столько необходимость, сколько неизбежность и даже предопределенность действия. В этом смысле понимается и пример из «Дела Артамоновых» Горького: *Тебе — большим человеком быть, понял*? Ср. *Быть бычку на веревочке*; *Быть грозе великой* и т. п. Лишь при отрицании возникает оттенок невозможности, безусловной, категорической неосуществимости действия. Ср. приведенные А. Н. Гвоздевым примеры: *Врагу не выдержать удара*; *Войне не быть* и т. п. Непонятно также, почему под ту же категорию необходимости подводятся формы вынужденного долженствования, вроде; *Вы идете на концерт, а мы сиди дома*; *Им бал, а батюшка таскайся на поклон* (Г р и б о е д о в, Горе от ума) и т. п. (стр. 155—156).

Таким образом, самое понятие «необходимости» оказывается здесь очень широким и расплывчатым. Поэтому и рассматриваемые А. Н. Гвоздевым синтаксические формы

не являются параллельными, синонимическими. Достаточно произвести эксперимент с примером из «Дела Артамоновых» Горького: «У Тихона были свои мысли. „Родился, *ну, и живи* (= должен, обязан жить) *до смерти*",— говорил он». Сопоставление с этой фразой других конструкций, по мнению А. Н. Гвоздева выражающих «необходимость», показывает несовпадение их общего значения: «Родился, *ну, и необходимо* (нужно, надо) *тебе жить до смерти*» и «Родился, *ну, и жить тебе до смерти*».

Нечеткость и неясность основных семантических понятий и категорий, положенных А. Н. Гвоздевым в основу стилистического исследования, особенно остро дает себя чувствовать в разделе лексики, который «занимает в стилистике одно из первых мест» (стр. 27). Не предлагая никакого определения термина «значение» в применении к лексике и грамматике, автор, естественно, не может дать точного и ясного представления о синонимах. По его словам, «как правило, синонимы, имея общее ядро значения, имеют разнообразные расхождения в значении» (стр. 31). Эти расхождения иллюстрируются такими примерами: *теплый — горячий*; *пожилой — старый*; *тяжелый — неподъемный*; *краснущий — румяный*; *порицать — упрекать*; *напасти — неприятности* и т. д.

Очевидно, у всех этих пар слов признается наличие «общего ядра значения». Слово *желательно* включается в такую «синонимическую группу, необходимую в деловой речи»: *нужно, надо, надобно, необходимо, требуется, следует* (стр. 36). На каких основаниях *желательно* и *требуется, пожилой* и *старый* признаются синонимами, остается неясным. (Ср. другие «синонимические пары»: *красноватый — красный*; *большой — необъятный*; *темный — непроглядный* и т. п.). В романе Юрия Лаптева «Путь открыт» («Октябрь», 1952, № 8, стр. 44) находим такое противопоставление слов *пожилой* и *состарившийся*: «Кажется, мало людей, так довольных своей жизнью, как Алексей Алексеевич Воробьев. Вот и он идет к себе в клуб не под руку, а за руку со своей пожилой, но не состарившейся женой Аграфеной Петровной — могучей и спокойной женщиной, одетой по-старинному в сборчатую юбку и расшитую кофточку». Ср. «пожилой, но еще не старый».

Очевидно, в термин «синоним» вкладывается А. Н. Гвоздевым слишком широкий смысл. Далеко не все слова, входящие в однородные или близкие семантические ряды, являются синонимами. Кроме того, при таком свободном и неопределенном понимании семантической сущности синонима и смысловых границ синонимической группы слов, было бы целесообразно выделить и установить разные типы синонимов и более подробно остановиться на вопросе о синонимии значений и фразеологического употребления слов, на вопросе о структуре синонимических рядов или серий слов, на вопросе о семантической базе синонимического ряда, об отправном, начальном, исходном его члене и членах периферийных и т. д.

То же нечеткое, недостаточно углубленное понимание и определение основных семантических категорий обнаруживается и в главе об омонимах. А. Н. Гвоздев смешивает омонимы и омоформы. Так, он считает омонимами форму именительного падежа единственного числа существительного *пила* и форму прошедшего времени женского рода от глагола *пить* — *пила* (стр. 39). Автор не замечает разницы между омонимами в структуре языка и каламбурными созвучиями слов и словосочетаний в индивидуальном стиле. Он думает, что двоякое понимание омонимов лежит в основе таких каламбурных рифм Д. Д. Минаева:

Область рифм — *моя стихия*,
И легко пишу *стихи я*;
Без раздумья, без *отсрочки*
Я бегу к строке *от строчки*;
Даже к финским *скалам бурым*
Обращаюсь *с каламбуром*.

Поэтому и общее представление о роли омонимов и об их типах в строе русского языка у А. Н. Гвоздева — ошибочное. В сфере приставочного глагольного и отглагольного именного словообразования в современном русском языке омонимы принадлежат к нескольким очень продуктивным типам (например: *свести откуда* и *свести вместе*; *обходить всех* и *обходить кого-нибудь чем-нибудь*; *просмотреть* в значении «пропустить» и в значении «бегло ознакомиться»; *отправление поезда* и *отправления организма*; *отразить* что-*нибудь* в художественном произведении и *отразить врага* и т. п.). Между тем А. Н. Гвоздев дает такую общую характеристику омонимов и их роли в русском языке: «Омонимы противопоставляются синонимам в том отношении, что, имея общую языковую материю, омонимы не разграничивают разных по значению слов, тогда как синонимы, будучи словами с разным звуковым составом, помогают различению сходных значений. Так как омонимы дают основание смешивать разные по значению слова, то они представляют своеобразный дефект языка и, по наблюдениям ряда авторов, отсеиваются от языка» (стр. 39).

Таким образом, А. Н. Гвоздеву не удалось определить место стилистики в ряду других лингвистических дисциплин, ее отношение к таким важным частям языкознания,

как нормативная грамматика и семантика. Он охотно и щедро переносит в свои «Очерки по стилистике русского языка» целые отделы и главы нормативной грамматики. Вместе с тем А. Н. Гвоздев склонен видеть в стилистике своеобразную семантику «тонких оттенков», выразительных нюансов. «По преимуществу она анализирует,— пишет А. Н. Гвоздев,— разнообразные тонкие оттенки значения с точки зрения их использования, помогает решать вопросы выбора близких по значению языковых приемов, не вполне равнозначных, а отличающихся теми или другими оттенками, иногда очень тонкими и трудно уловимыми. Такой выбор в значительной мере является делом мастерства» (стр. 8). Автор вспоминает изречение знаменитого художника К. П. Брюллова: «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть»,— и добавляет: «Анализ этого „чуть-чуть", т. е. разнообразных незначительных сдвигов в выразительных средствах, и составляет предмет стилистики» (стр. 8). Однако, несмотря на все эти декларации, основные положения теории художественной речи так же, как и основные положения семантики (семасиологии), остаются в «Очерках» А. Н. Гвоздева не раскрытыми; связь стилистики с изучением специфики художественной речи, с задачами этого изучения не объясняется. С одной стороны, лингвистическая стилистика, по мнению А. Н. Гвоздева, должна рассматривать выразительные средства художественной речи с точки зрения их значения и экспрессии; но, с другой стороны, стилистика выделяется «как проблема литературоведения, которая ставит целью выяснение того, как писатели для воплощения своих художественных замыслов, для выражения своей идеологии используют выразительные средства, которыми располагает язык. Каждая из этих разновидностей стилистики имеет свой аспект...» (стр. 10). В чем состоит этот аспект, какие понятия и категории лежат в основе той и другой стилистики — остается необъясненным; автор ограничивается заявлением, что обе эти разновидности стилистики «имеют много точек соприкосновения» (стр. 10).

Несмотря на указанные серьезные недостатки, «Очерки» А. Н. Гвоздева, имеющие «практический характер» (стр. 23), представляют несомненный интерес. Здесь собран значительный грамматико-стилистический материал и изложено много наблюдений и соображений, действительно относящихся к грамматической стилистике русского языка. А. Н. Гвоздев совершенно правильно указывает на то, что в круг задач стилистики входит выяснение особенностей в значении и экспрессии различных синонимических языковых приемов (стр. 8), оценка выразительных средств языка «с точки зрения их большей или меньшей пригодности для выражаемого содержания» (стр. 9), рассмотрение целесообразности использования языковых явлений из всех областей языка (стр. 21). Стилистическая часть «Очерков» А. Н. Гвоздева включает в себя общее учение о стилях литературного языка, анализ стилистических пластов словаря и фразеологии, попытку описания стилистических ресурсов морфологии и синтаксиса современного русского языка. Наименее самостоятельными и, пожалуй, наиболее слабыми главами работы являются теоретическое введение и разделы, посвященные лексике и морфологии; больше всего ценных самостоятельных наблюдений содержится в главе о синтаксисе.

А. Н. Гвоздев определяет стили языка как ответвления или «разновидности языковой системы в зависимости от целей речи и ее содержания» (стр. 13). При многозначности выражения «языковая система» это определение становится туманным, тем более что «ответвлением» или «разновидностью» общенародного языка признается и диалект. А. Н. Гвоздев справедливо отмечает, что у нас «нет какого-либо общепринятого перечня и классификации» языковых стилей. Сам же он руководствуется общим разграничением двух основных стилей — стиля разговорной речи, в котором выделяется просторечный стиль, и стиля книжной речи, который в свою очередь распадается на ряд разновидностей: а) научный стиль с примыкающим к нему деловым стилем; б) стиль художественной речи, со своей стороны включающий в себя «большое число разновидностей», и в) публицистический стиль (стр. 13—14). Нечеткость и неопределенность этого членения очевидна. Так, например, А. Н. Гвоздев заявляет, что «образцом разговорного стиля являются многие диалоги драматических произведений» (там же). Возникает вопрос, относится ли язык драматических произведений к стилю художественной речи, являющемуся разновидностью «книжного стиля»?

И в дальнейшем изложении место стиля художественной речи в общей системе стилей современного русского языка характеризуется противоречиво и сбивчиво. Так, описывая стилистическую роль идиом и их связь с разными стилями речи, А. Н. Гвоздев сближает художественную речь с разговорным стилем. Он пишет: «Очень разнообразна идиоматика и фразеология бытовой речи, в ней нередко встречаются образы с чертами комизма, придающими речи живописный характер, в ходу алогизмы и гиперболы, отражаются черты давно оставленных и забытых верований, нередко комически переосмысляемых. Они являются типичным элементом *разговорного стиля*, создавая живость и непосредственность, естественную *художественность речи*» (стр. 65—66; курсив мой.— *В. В.* Ср. также стр. 110, § 134). Точно так же словообразовательные средства «стиля юмора, сатиры» (стр. 84), типичного для сатирических произведений (стр. 15), «широко встречаются в разговорной речи, некоторые из них имеют особенно ярко выраженный характер разговорного стиля и даже просторечия» (стр. 84).

Таким образом, характеристика стиля художественной речи как простой разновидности книжного стиля оказывается неосуществленной. Впрочем, о стиле художественной речи по описанию А. Н. Гвоздева вообще очень трудно составить хоть сколько-нибудь определенное представление. Так, остается неясным, какое место в стиле художественной речи, особенно в наше время, занимают так называемые «поэтические слова». О них А. Н. Гвоздев отзывается так: «Эта группа примыкает к торжественным словам; слова этого рода также создают приподнятость речи, но они свойственны больше художественной речи и не употребляются в публицистике (за редкими исключениями). Отбор этих слов производился по преимуществу лирикой XIX в., в конце концов они стали выступать как выразители условно красивого, вследствие чего с ними вели борьбу такие художники слова, как Чехов и Маяковский» (стр. 57). Читатель так и не узнает, о чем здесь идет речь — о лексических штампах условной «красивости» стиля или о существенных признаках современной художественной речи. Далее перечислены такие слова: *лазурный, обольстительный, чудный, божественный, безбрежный, безмятежно, лелеять, краше, грезы, чары*.

Недоумение читателя еще более возрастает от того, что в дальнейшем изложении не указывается никаких других отличий стиля художественной речи (кроме использования фольклорных слов и фольклорной идиоматики) в области лексики и фразеологии. Правда, есть случайное упоминание о том, что в художественных произведениях, рисующих дореволюционное прошлое, употребляются дореволюционные слова. Об этом говорится так: «Группа д о р е в о л ю ц и о н н ы х слов включает названия социальных положений, званий, должностей, бытовых отношений, понятий, употребительных в дореволюционной России и отмененных или вышедших из употребления в результате Великой Октябрьской социалистической революции. Вследствие этого слова такого рода, обозначая черты чуждого нам быта, прежде всего становятся архаизмами, для употребления которых в повседневной речи не представляется поводов: они по преимуществу встречаются в художественных произведениях, рисующих дореволюционное прошлое (Чехов, Горький)» (стр. 54).

С художественными произведениями связывается также «лексика, характеризующая быт разных народов», «обозначающая характерные черты национального быта» (стр. 53). Сюда относятся слова, создающие «местный колорит» (Украина: *запорожцы, гетман, батько, жинка, дивчина, парубок* и т. п.; Кавказ: *джигит, аул, чихирь, шашлык* и т. д.; Англия: *мистер, миссис, джентльмен, лидер, файв-о-клок, спич* и т. п.; Италия: *сеньор, сеньорина, гондола, арлекин, тарантелла* и т. п.). Но все это не затрагивает, конечно, существа стиля художественной речи.

Невольно возникает мысль, не составляют ли специфическую особенность стиля художественной речи в области лексики те слова, которые А. Н. Гвоздев вслед за Л. А. Булаховским называет «свежими». Но характерные признаки «свежести» этих слов не разъясняются, и состав этой группы трудно себе представить на основе таких иллюстраций: *глядеть — смотреть; взор — взгляд; меркнуть — темнеть; робкий — несмелый; пытливый — любознательный; тишь — тишина; высь — высота, вышина; кровля — крыша; словно — будто, как; изумление — удивление*. Сам А. Н. Гвоздев пишет, что свежие слова «сравнительно редко употребляются в бытовой и деловой речи и выступают как синонимы более обычных названий в целях выразительности; им чужд налет условной красивости, они просты и естественны» (стр. 58). Почему слова *глядеть, робкий* надо редко употреблять в бытовой речи, непонятно. И едва ли эта тускло очерченная группа «свежих» слов может содействовать уяснению специфики стиля художественной речи. Наряду с художественной речью иногда говорится о речи поэтической, под которой, повидимому, разумеется речь стихотворная (см. стр. 90—91). Однако «стихотворная» речь в некоторых случаях выделяется как специфическая разновидность речи художественной (стр. 103, 182 и др.).

Таким образом, и конструктивные качества «стиля художественной речи», и его положение в ряду других стилей языка остаются в «Очерках» неохарактеризованными. А это колеблет самую основу всей предложенной в «Очерках» классификации стилей литературного языка, так как огромное значение художественной литературы в развитии стилистики общенародного языка несомненно.

Совершенно независимо от предложенной им классификации стилей литературного языка А. Н. Гвоздев иногда пользуется выражениями — «литературность» и «литературная обработанность». Так, в разделе «Идиоматика» находим крылатые слова с «характером литературности». Это — «слова, связанные с теми или иными литературными произведениями и историческими событиями; почерпнутые по большей части из литературных произведений, они предполагают знакомство с литературой и историей». Таковы *гордиев узел, дамоклов меч, ахиллесова пята, сизифов труд, гомерический смех, рог изобилия, рыцарь печального образа* и т. п. (стр. 67—68).

А. Н. Гвоздев касается также «элементов литературно обработанного синтаксиса». Они отчасти связываются со стихотворной речью, отчасти с ритмической прозой или вообще со стилем «эмоционально окрашенных произведений». К таким приемам «литературно обработанного синтаксиса» относятся анафора (единоначатие), эпифора (концовка), кольцо строфы, стык, повторение слов, параллелизм и т. д. (стр. 182—187).

Эти приемы выразительности, по словам А. Н. Гвоздева, «требуют осторожного их применения: они уместны лишь тогда, когда само содержание оправдывает использование ярких художественных средств речи. Наоборот, когда они широко пускаются в ход без этого основного условия, они создают впечатление стилизованной, манерной речи, в которой форма не подчинена содержанию, а выдвинута в ущерб содержанию на первый план» (стр. 187). Все эти замечания и предупреждения очень мало содействуют выяснению существа художественной речи. Ср. также указания на применение в художественной речи «факультативного обособления» в самых широких размерах (стр. 252); на характерность для «беллетристики» назывных предложений (стр. 226); на употребление в художественной литературе «синтетической превосходной степени» (стр. 108) и т. п.

Очень смутно и неясно выступают в изображении А. Н. Гвоздева и специфические черты публицистического стиля, «широко пользующегося как средствами интеллектуальной, так и средствами экспрессивной речи» (стр. 14). Об этом стиле мы узнаем, что для него характерна особая «публицистическая лексика с отрицательной эмоциональной окраской». «Сюда относятся употребляемые в публицистике обозначения понятий из области идеологически чужого, враждебного, антисоветского». Примеры: *капиталисты, империалисты, шовинисты, интервенты, захватчики, белобандиты, диверсанты, гангстеры; социал-предатели, соглашатели, лакеи Уолл-стрита; фашисты, гестаповцы, коричневая чума, чернорубашечники, расисты, мракобесы; уклонисты, левые загибщики, хвостисты, леваки, групповщина, пролеткультовцы, рапповцы, переверзевщина, вульгаризаторы, талмудисты; идеалисты, морганисты* (стр. 59—60). Приводится также несколько фразеологических оборотов, «насыщенных политическим содержанием» и свойственных советской публицистике. Сюда отнесены такие термины и фразы: *генеральная линия партии, развернутое наступление социализма, зримые черты коммунизма, лицом к деревне, головокружение от успехов, герои оговорочки, «левые» загибщики, безродные космополиты, демобилизационное настроение, дымовая завеса, гнилой либерализм* (стр. 68).

Далее находим такое общее замечание: Идиомы «широко используются во всех видах экспрессивной речи — в художественных произведениях, в публицистике и в бытовой речи» (стр. 69). Отмечаются некоторые словообразовательные признаки публицистической речи: указывается, например, на особенную распространенность в публицистике и критике собирательных существительных качественно-отрицательной оценки с суффиксом *-щина*: *махаевщина, обломовщина, смердяковщина, окуровщина, кружковщина* (стр. 92. Ср. также стр. 85).

В сфере синтаксических конструкций никаких особых примет публицистической речи не указывается: есть лишь общие сближения публицистического стиля с разными видами экспрессивной речи.

Кроме того, отдельно говорится о газетной речи — без указания на отношение ее к публицистическому стилю: «В газетной речи почти всегда предпочитаются обороты с причастиями». Всего этого, конечно, мало для определения лексико-фразеологических и грамматических своеобразий публицистического стиля. Таким образом, в «Очерках» А. Н. Гвоздева более или менее подробно и систематически описываются лишь общие признаки двух стилей: разговорной и книжной речи, а также отчасти — стиля научной и деловой речи как разновидности книжного стиля.

В сфере изучения характерных признаков синтаксиса разговорной и книжной, в частности научной, речи А. Н. Гвоздевым сделаны интересные и тонкие наблюдения. Особенно ценными и самостоятельными представляются некоторые формулировки и обобщения, касающиеся специфических особенностей синтаксиса разговорной речи (например, описание «формирующегося, ступенчатого предложения» с дробным присоединением частей, анализ разных форм синтаксической контаминации, наблюдения над приемами синтаксического построения диалога и др., см. стр. 187—196). Не лишена интереса и сводка синонимических конструкций, распределенных по грамматическим категориям.

В области морфологических явлений А. Н. Гвоздев добавляет мало нового к уже имеющемуся анализу и описанию функций морфологических категорий. (Ср., впрочем, отдельные наблюдения над «экспрессивными и семантическими оттенками личных местоимений», см. стр. 119—123; над «выражением просьб и приказов», см. стр. 148—154.) Разделяя мнение А. М. Пешковского об ограниченности стилистических возможностей морфологии, А. Н. Гвоздев пишет: «В общем, морфологическая система русского языка, будучи единой в основной массе своих категорий и форм, имеет только незначительные своеобразные ответвления» (стр. 79). С этой точки зрения дается сводка различий в области словообразования и в области употребления отдельных форм и конструкций между стилями деловой и, шире, книжной речи, с одной стороны, и разговорной, с другой. «Несмотря на отсутствие полной четкости в приурочении к тому или иному стилю отдельных явлений, все же наличие известных ответвлений, характеризующих отдельные стили, несомненно»,— заключает автор общую характеристику стилистических ресурсов морфологии, опирающуюся на данные наших словарей и грамматик.

Гораздо более свободно и самостоятельно излагает А. Н. Гвоздев вопросы синтак-

сической синонимики. Он правильно замечает, что синтаксис имеет для стилистики исключительное, первостепенное значение, так как «русский язык располагает огромным запасом синтаксических синонимов, т. е. параллельных оборотов речи, которые различаются только тонкими оттенками в значениях и поэтому во многих случаях могут заменять один другой» (стр. 175). Синтаксическая синонимика русского языка связывается А. Н. Гвоздевым, в основном, со стилистическими различиями речи научной и деловой, шире, литературно-интеллектуальной и разговорно-экспрессивной, широко используемой и в художественной литературе. Правда, здесь отсутствуют наблюдения над стилистическими функциями порядка слов, над выразительными возможностями синтагматического членения, над синтаксическими единствами — более крупными, чем сложное предложение. И все же наблюдения А. Н. Гвоздева в области синонимики синтаксических конструкций, пусть разрозненные, лишенные внутреннего единства и не опирающиеся на широкие синтаксические обобщения, представляют собою шаг вперед. В них обнаруживается большая наблюдательность автора, его тонкое языковое чутье и горячая любовь к русскому языку. Кроме того, читателю будет очень полезен значительный иллюстративный материал, самостоятельно и вдумчиво подобранный из художественной, научной, публицистической литературы.

В сущности этим признанием заслуг автора и положительной оценкой отдельных интересных наблюдений его в области стилистики выразительных средств русского синтаксиса можно было бы и закончить критический разбор «Очерков по стилистике русского языка». Следовало бы прибавить, что общий уровень грамматического анализа и стилистической интерпретации синтаксических явлений в книге А. Н. Гвоздева во многом зависел от состояния разработки соответствующих проблем в грамматике русского языка. Отсутствие прочной и глубокой синтаксической базы для стилистических исследований и обобщений особенно наглядно сказалось в тех разделах «Очерков», которые посвящены стилистическому анализу сложного предложения и его типов.

Однако в заключение необходимо в самых общих чертах коснуться и другой изложенной в «Очерках» схемы стилистического деления, основанной на экспрессивных качествах речи. Наиболее обычными разновидностями стиля с этой точки зрения, по мнению А. Н. Гвоздева, являются стили торжественный (или риторический), официальный (или холодный) и интимно-ласковый, шутливый, насмешливый (стр. 14).

К сожалению, понятие речевой «экспрессии», «экспрессивной речи» в книге не анализируется и не раскрывается. Поэтому остается неясным, какие экспрессивные качества различаются автором в грамматических явлениях (если не относить к ним словообразования). Различаемые А. Н. Гвоздевым разновидности экспрессивной окраски иллюстрируются им главным образом на примерах из области лексики, фразеологии и словообразования. Впрочем, все эти экспрессивно-стилевые краски распределяются по двум категориям — положительной и отрицательной оценки.

При попытке разбить по намеченным стилистическим разрядам пласты современного словаря А. Н. Гвоздев торжественные слова отделяет от риторических. К торжественным словам он относит такие, как *сокровенный*, *жребий* (в значении «судьба»), *кончина* («смерть») и т. п., к риторическим — *неимущий* («бедный»), *незабвенный*, *предначертание* и т. п. (стр. 56—57). Однако в сфере фразеологии риторическую окраску он не отличает от торжественной (стр. 68). В другом месте А. Н. Гвоздев говорит уже не о риторическом стиле, а о «риторическом языке», который «применяет различные приемы аффективной речи», но «в обработанном виде» (стр. 177). В анализе же стилистических пластов словаря количество экспрессивных вариаций речи у А. Н. Гвоздева значительно расширяется: выделяются по экспрессивной окраске слова «свежие», неодобрительные, напыщенные, архаически-комические (к таким почему-то отнесены — *козлогласие*, *праздношатающийся* рядом со словом *благоверный* в значении «муж»), иронически-ласкательные (например, арготическое (?) *безобразинка* в значении «некрасивая, но милая»), интеллигентно-просторечные, вульгарные, простонародные и другие.

В области морфологических явлений автором выдвигается лишь общее противопоставление «деловой, интеллектуальной речи и речи экспрессивной, живописующей, эмоционально окрашенной» (стр. 83); в то же время выделяется стиль интимной речи и стиль юмора, сатиры (стр. 84, 109). С точки зрения степени экспрессивности А. Н. Гвоздевым оцениваются разные формы и конструкции, прикрепленные к разным стилям разговорной и книжной речи. Так, говоря об употреблении в стихотворной речи кратких прилагательных в качестве обособленных определений («Стоял угрюм тенистый сад»), А. Н. Гвоздев заключает: «Такое употребление прилагательных приобретает характер художественного приема приподнятой речи» (стр. 104).

Характеризуя семантику степеней сравнения и их употребление в разных стилях речи, А. Н. Гвоздев пишет: «Большой экспрессией характеризуется форма превосходной степени с приставкой *наи*-... Исключительной экспрессивностью обладают формы превосходной степени, сопровождаемые родительным падежом того же прилагательного с предлогом *из*...» (стр. 109). «Гиперболизм, рассчитанный на экспрессию, выражает конструкция, состоящая из сравнительной степени и родительного падежа того же прилагательного: *чище чистого, слаще сладкого, яснее ясного, легче легкого, ближе близкого, глупее глупого*» (стр. 110).

Впрочем, иногда делается попытка дифференцировать оттенки экспрессии, например: «Прилагательное или его превосходная степень с приставкой *пре-* выражает большую степень качества с экспрессивной окраской; обычно это образование употребляется в разговорной речи с шутливым или ироническим оттенком...» (стр. 110). Ср. также замечание о стилистической окраске частицы *-ка* (стр. 150).

Но вообще, чем больше удается автору движение в глубь грамматической синонимики, тем меньше приходится ему прибегать к хоть сколько-нибудь дифференцированному анализу экспрессивных разновидностей стиля. Он ограничивается самыми общими замечаниями об экспрессивной окраске форм и конструкций и о связи их со стилями разговорной и книжной речи. Например: «Все добавочные обозначения будущих действий формами настоящего и прошедшего времени имеют экспрессивную окраску и в связи с этим широко используются в разговорной и художественной речи и очень редко встречаются в строго деловой речи» (стр. 147—148). «Повторный союз „и“ подчеркивает однородные члены, а также создает экспрессивную окраску» (стр.243).

Таким образом, и классификация стилей по экспрессивным качествам в «Очерках» А. Н. Гвоздева лишена единства, цельности и последовательности. По мере перехода от стилистической лексикологии к стилистическому синтаксису, эта классификация постепенно теряет свои очертания. Возникает сомнение в правомерности распространения термина «стиль языка» на разновидности экспрессивной окраски речи.

Подводя итоги, следует повторить, что «Очерки по стилистике русского языка» проф. А. Н. Гвоздева — книга полезная, богатая отдельными интересными, тонкими замечаниями и наблюдениями в области русской грамматической синонимики, ценная по заключенному в ней иллюстративному материалу. Вместе с тем эта книга чрезвычайно наглядно свидетельствует о том, какая путаница и неразбериха еще царит у нас в понимании задач и содержания стилистики, ее основных категорий, ее места в ряду других лингвистических дисциплин.

В. В. Виноградов

Проф. д-р Емил Георгиев, **Славянская письменность до Кирилла и Мефодия**, Изд. Болгарской Академии наук (Ин-т болгарской литературы), София, 1952, стр. 96. Напечатана в дискуссионном порядке. На русском языке.

Труды советских историков (в первую очередь акад. Б. Д. Грекова и проф. Б. А. Рыбакова), установивших происхождение русской государственности и русской культуры в результате внутреннего социально-экономического развития русского общества, а также новые материалы, собранные и открытые советскими археологами, настоятельно требуют углубленных марксистских исследований, освещающих проблему возникновения и исторического развития славянской письменности.

Работы акад. С. П. Обнорского, в особенности его «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (1946), удостоенные Сталинской премии, ряд статей Д. С. Лихачева о языке раннего киевского и новгородского летописания, о культуре устной речи в древней Руси и предпосылках возникновения русской письменности и литературы [1], надпись первой четверти X в., обнаруженная Д. А. Авдусиным на обломках глиняного сосуда из Гнездовских курганов под Смоленском [2], новейшие находки проф. А. В. Арциховского, открывшего новгородские грамоты и бытовые письма на бересте XI—XIV вв. [3], привели к появлению новых точек зрения на процессы возникновения и развития восточнославянской письменности [4]. В свете новых исторических и филологических данных высокая и самобытная культура древней Руси раскрылась во всем своем блеске [5].

Со всей остротой стоит вопрос об изучении глубокой восточнославянской доистории, так как стало совершенно невозможным ставить в связь богатейшую самобытную древнерусскую культуру с исключительным влиянием византийско-болгарского просвещения. В той же степени шаткой становится традиционная точка зрения на возникновение восточнославянской и славянской письменности вообще.

И. В. Сталин учит, что «дальнейшее развитие производства, появление классов, появление письменности, зарождение государства, нуждавшегося для управления

[1] Д. Лихачев, Исторические предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы, «Вопросы истории», [М.], 1951, № 12.

[2] Д. А. Авдусин и М. Н. Тихомиров, Древнейшая русская надпись, «Вестник АН СССР», 1950, № 4; П. Я. Черных, Две заметки по истории русского языка, «Известия АН СССР, Отд-ние лит-ры и языка», 1950, вып. 5.

[3] А. Арциховский, Новые открытия в Новгороде, «Вопросы истории», [М.], 1951, № 12; В. И. Борковский, Драгоценные памятники древнерусской письменности, «Вопросы языкознания», 1952, № 3.

[4] См. акад. В. В. Виноградов, Л. П. Якубинский как лингвист и его «История древнерусского языка». (Предисловие к книге Л. П. Якубинского «История древнерусского языка», М., Учпедгиз, 1952).

[5] См. коллективный труд «История культуры древней Руси», т. II, М., 1951.

в более или менее упорядоченной переписке, развитие торговли, еще более нуждавшейся в упорядоченной переписке, появление печатного станка, развитие литературы— все это внесло большие изменения в развитие языка»[6]. Это означает, что появление письменности связано с образованием классов и зарождением государства, в частности, с потребностью в письменности для развивающейся торговли.

Переход славянских племен от первобытно-общинного строя к классовому обществу относится к VI—IX вв. Трудно допустить, чтобы славяне, у которых уже повсеместно сложилось классовое феодальное общество и появились первые государственные объединения, до второй половины IX в. не имели письменности, пока моравская миссия Константина и Мефодия не привела к созданию славянского письма.

Попытку пересмотра традиционной точки зрения на появление славянской письменности содержит напечатанная в дискуссионном порядке работа болгарского филолога проф. Э. Георгиева «Славянская письменность до Кирилла и Мефодия». Основные положения указанной работы были изложены автором в одной из статей, относящейся к 1936 г.[7] В более поздней работе[8] проф. Георгиев привел факты и соображения, доказывающие, что начало славянской письменности следует искать в докирилломефодиевскую эпоху. Разбираемая работа содержит новые материалы в подкрепление этого положения.

Нельзя не согласиться с проф. Георгиевым, когда он указывает, что в настоящее время «настоятельно требуется новое, углубленное исследование всего материала, освещающего возникновение славянской письменности, после того как было приведено достаточно данных, из которых становится ясно, что наши усилия раскрыть начало славянской письменности должны быть направлены не только к делу Кирилла и Мефодия, но и к более ранней эпохе» (стр. 3). И далее: «Новооткрытые надписи (имеются в виду Преславские надписи IX в., Гнездовская надпись и Добруджская надпись 943 г.— *Н. К.*), между прочим, подтверждают сообщение пространного жития Кирилла, что ко времени Константина-Кирилла существовало «русское письмо», которое было не готским, как на это обыкновенно указывалось в прошлом, а славянским» (там же).

Признавая, что «славянские первоучители» являются создателями одной из славянских азбук, а именно глаголицы, проф. Георгиев рассматривает возникновение славянского письма как результат общественного развития славянских племен, как процесс количественных накоплений и качественных изменений в развитии письма. Отметив, что слова со значениями «читать», «писать» и т. п. являются общими для всех славянских языков, он делает вывод, что славяне «читали» и «писали», во всяком случае свои *черты* и *резы*, о которых сообщает древнеболгарский писатель Храбр Черноризец, еще до появления государственности. От *черт* и *резов*, характер которых еще трудно установить, славяне перешли, по мысли проф. Георгиева, к использованию греческого и латинского письма. Этот переход тесно связан с распространением среди славян христианской религии. «Из греческого письма,— заключает автор,— постепенно возникает особое славянизированное письмо, которое является качественно новым письмом в так называемой кириллице. Из латинского письма возникает письмо хорватов, словенцев, чехословаков и поляков» (стр. 5). В результате деятельности «славянских первоучителей», говорит проф. Георгиев, славянское письмо отмечает новый этап в своем развитии.

Проф. Георгиев ставит своей задачей критически разобраться в сообщениях средневековых писателей, характеризующих обстановку появления письма у славян, поскольку «древние жития, церковные славословия и службы имеют своей основной задачей... прославление славянских „святителей", а не стремление показать историческую правду» (стр. 4). Все важнейшие исторические документы, кроме так называемой Итальянской легенды[9], свидетельствуют, что Константин создал славянскую азбуку. Проф. Георгиев приводит следующие доводы в пользу того, что Константин создал именно глаголицу для миссионерской деятельности в Моравии:

1) наличие моравско-паннонской глаголической традиции, представленной в языке Киевских листков и Пражских глаголических отрывков[10];

2) существование глаголической традиции в Хорватии (по далматинскому побережью и близлежащим островам). Глаголица проникла туда, повидимому, из Моравии-Паннонии;

3) частое употребление в глаголических памятниках так называемых «моравизмов». Архаические элементы в грамматическом строе и лексике этих памятников, по мнению

[6] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1952, стр. 26—27.

[7] Е. Георгиев, Произходът на кирилицата, «Просвета», I, 1936, стр. 1182—1187.

[8] Его же, Началото на славянската писменост в България. Старославянските азбуки, София, 1942.

[9] Анализ этого памятника см. в его работе Italienische Legende, София, 1939.

[10] Из последних работ по этому вопросу см. M. Weingart, Československý typ cirkevnej slovančiny, Братислава, 1949.

проф. Георгиева, не имеют доказательной силы и свидетельствуют лишь о том, что «те глаголические памятники, которые дошли до нас, древнее дошедших до нас кирилловских памятников» (стр. 9). Ссылки палеографов на существование палимпсестов, например Боянского евангелия, также не показательны, потому что и в глаголических памятниках находим иногда кирилловские буквы, слова и выражения;

4) исторические свидетельства, которые единодушно говорят о том, что Константин создал новую азбуку. Такой азбукой может считаться только глаголица, так как кириллица до такой степени сходна с греческой азбукой, что средневековые писатели не придавали бы большого значения деятельности Константина в этой области, если бы она выразилась только в приспособлении греческой азбуки к славянской речи. В создании глаголицы Константином проф. Георгиев усматривает «не только желание славян овладеть плодами культуры, но и стремление к культурному и племенному обособлению» (стр. 6).

Вместе с тем, если прежде признание, что глаголица создана Константином, предопределяло приоритет ее [11], проф. Георгиев, как мы уже указали, полагает, что «кириллица, не будучи делом Кирилла, возникла до глаголицы, как греческое письмо, приспособленное к особенностям славянской речи для удовлетворения постоянной нужды болгарских славян в письме, в среду которых письмо Кирилла проникло значительно позже» (стр. 10).

Распространено мнение, что создатель кириллицы заимствовал начертания букв из греческой азбуки и глаголицы. Проф. Георгиев приводит свои аргументы против подобной связи кирилловского и глаголического письма. Он указывает, что этот взгляд «возникает из ошибочного представления, что Кирилл, создавая глаголицу, создал и первое славянское письмо» (стр. 11). Если придерживаться этой точки зрения, то возникает ряд вопросов: почему создатель кириллицы не взял все недостающие буквы из глаголицы (например, *Б*, *ѯ*, *ѧ*, *ѣ* и т. д.), а оставил только одну (*Ш*) в том виде, в каком она известна глаголице; почему глаголическая буква для передачи сочетания *шт* по своему строению ближе к соответствующей кирилловской лигатуре [12] и т. п.

Порядок букв в азбуке, по мнению проф. Георгиева, также говорит о зависимости глаголицы именно от кириллицы, а не наоборот: ср. постановку глаголического *Б* на втором месте в алфавите, тогда как в кириллице *Б* является разновидностью *В* и, естественно, помещено рядом с ним.

Таким образом, говорит проф. Георгиев, у славян появилось два вида письменности: кириллица, возникшая как результат усвоения письма более культурного народа — греков, а также глаголица, созданная одним лицом [13]. Проф. Георгиев считает, что славяне Балканского полуострова и южной России рано пришли в соприкосновение с византийской культурой и что в греческой азбуке, употреблявшейся славянами «без устроения», следует искать начало кириллицы. «Новые славянские буквы в кириллице были созданы на основе двух принципов: 1) путем переделки греческих букв, близких по звучанию, при помощи так называемых диакритических знаков; 2) путем заимствования буквенных знаков из чужих языков, отражающих соответствующие звуки. Первый принцип открываем в начертаниях букв *Б*, *Ж*, *Ъ*, *Ь*, *ѣ*, *Ю*, *ѧ*, *ѯ*, второй — в начертаниях *Ц*, *Ч*, *Ш*» (стр. 16 — 17). Проф. Георгиев приводит палеографические данные для доказательства этого положения (стр. 17—24).

В главе «Усвоение греческой культуры славянами» он анализирует имеющийся материал о проникновении к славянам византийской культуры. Проф. Георгиев полагает, что вопрос о принятии христианства славянами изучен недостаточно; при решении этого вопроса обычно исходят из официальных дат христианизации, тогда как широкие народные массы принимают христианскую религию задолго до этого времени [14].

Как мы видели, проф. Георгиев основные доказательства приоритета кириллицы строит на анализе графических систем двух старославянских азбук. Однако, как нам кажется, этот анализ, при сходстве в общей системе глаголицы и кириллицы, не может иметь доказательной силы. Тем более, что сопоставление написаний букв для славян-

[11] См. А. М. Селищев, Старославянский язык, ч. I, М., 1951, стр. 59.

[12] Наблюдения проф. Георгиева, между прочим, совпадают со следующими выводами акад. Е. Ф. Карского: «О заимствовании этих начертаний кириллицей из глаголицы не может быть и речи... Следовательно, можно бы допустить только заимствование указанных букв глаголицей либо из греческого церковного письма, либо из кириллицы с соответствующей стилизацией взятых написаний» (Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, Л., 1928, стр. 360).

[13] Ср. мнение об этом проф. Д. Лихачева в его статье «Предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы», «Вопросы истории», [М.], 1951, № 12, стр. 36.

[14] См. утверждение проф. А. Исаченко о существовании словесной культуры у западных славян до Константина и Мефодия, деятельность которых была «не началом церковной образованности среди западных славян, а ее расцветом» (A. Isačenko, Začiatky vzdelanosti vo Vel'komoravskej ríši, Турчанский Мартин, 1948, стр. 5).

ских звуков и цифровое значение букв той и другой азбуки может быть истолковано в совершенно противоположным образом, а именно, что кириллица следует за глаголицей, видоизменяя ее буквы для славянских звуков и приводя их в соответствие со стилем прочих букв [15]. Поэтому мы обратимся к другим доказательствам существования письменности у славян до Константина и Мефодия, приводимым автором. К этим доказательствам относятся исторические факты и показания источников.

1. Слова *писати, читати, письмо, книга* и т. п., являясь общими для всех славянских языков, свидетельствуют, что славяне давно были знакомы с применением письма.

Однако, как нам кажется, указанные термины могли относиться и к другим видам письма, а не только к кириллице.

2. Если Ростиславу понадобились от Византии учителя и духовные лица для обучения его подданных на понятном для них славянском языке, то уже одно это служит указанием на то, что такие люди имелись в Византии, следовательно, существовали какие-то зачатки славянской письменности.

Это действительно важный факт. «Славянские первоучители» как раз и были подобными людьми.

3. Константин тотчас же составил славянскую азбуку, как только принял решение отправиться в Моравию, и взялся переводить евангелие. К разбору этого доказательства мы вернемся ниже.

4. Храбр Черноризец, по мнению проф. Георгиева, говоря о принятии христианства славянами, не имеет в виду время князя Бориса и официального крещения Болгарии в 865 г. По словам Храбра, со времени принятия христианства славянами, когда они начинают записывать свою речь греческими буквами, до изобретения письма Константином прошли «мъногa лѣта». Следовательно, славяне имели возможность длительное время записывать свою речь греческими буквами и постепенно создать кириллицу.

Это толкование проф. Георгиевым указанного отрывка из апологии Храбра (стр.29—30, 39—40) является убедительным, но ничего не говорит о том «устроении», которому подверглись греческие буквы.

5. В своем сказании Храбр упоминает лишь об одной славянской азбуке. Проф. Георгиев считает, что этот факт подтверждает его выводы. Но данное обстоятельство не может служить доводом в пользу той или иной азбуки, так как, во-первых, не установлено, какой азбукой пользовался сам писатель, а во-вторых, между этими азбуками существует непосредственная или через греческое письмо IX в. связь, которую не отрицает и проф. Георгиев.

6. Кириллица была общенародным делом, поэтому именно с этой азбукой стали связывать имя Кирилла (Константина). Если бы кириллицу создал один человек, то имя этого человека было бы известно и его азбука не была бы так легко приписана Кириллу.

Нам представляется этот довод проф. Георгиева неубедительным, потому что название «кириллица» было поставлено в связь с той азбукой, которая получила среди славян более широкое распространение.

7. Нельзя считать, что расцвет литературы и культуры в Болгарии конца IX — начала X вв. связан с прибытием из Моравии учеников Мефодия. Но далее автор сам пишет, что «при этом надо иметь в виду, что большая часть литературных памятников эпохи не дошла до нас, что мы не знаем имен большого числа писателей и что сейчас не располагаем даже и сотой частью тогдашней книжной продукции» (стр. 43).

Из литературных источников проф. Георгиев ссылается на сообщение VIII главы пространного жития Константина, в котором говорится, что, находясь около 860 г. в Корсуне (Херсонесе), Константин «обрел» евангелие и псалтырь, написанные «русьскыми» буквами, которые тотчас же начал читать и толковать. Оценка этого сообщения непосредственно связана с вопросом о том, кто первый «ввел» письменность на Руси, откуда проник в нее славянский алфавит и каким был первоначально этот алфавит — глаголическим, кирилловским или иным. По этому вопросу в последнее время выдвинуто несколько догадок, которые, к сожалению, пока еще не могут считаться обоснованными [16]. Проф. П. Я. Черных пишет: «„Обретенные" в Корсуне Константином Философом Евангелие и Псалтырь, можно полагать, как раз и были памятниками раннего восточнославянского глаголического письма» [17].

Проф. Георгиев в соответствии со своей общей теорией возражает против этого предположения, говоря, что в таком случае «было бы необъяснимо, почему, при существовании в России глаголицы, нужно было впоследствии заменять ее кириллицей.

[15] См. А. М. Селищев, Указ. соч., стр. 56—59.

[16] См. П. Я. Черных, Происхождение русского литературного языка и письма, М., Учпедгиз, 1950, стр. 12—13; А. С. Львов, К вопросу о происхождении русской письменности, «Русский язык в школе», [М.], 1951, № 6.

[17] См. П. Я. Черных, Язык и письмо, сб. «История культуры древней Руси», т. II, гл. IV, стр. 134.

Такая замена означала бы внезапную перемену, а ... развитие письма — медленный и постепенный процесс. Наконец, Гнездовская надпись ясно показывает, какое письмо распространилось в России. Эта надпись — самая древняя русская надпись с начала X века — кирилловская, и, значит, в России получило распространение кирилловское письмо» (стр. 52). Но в дальнейшем проф. Георгиев допускает существенное противоречие; отметив, что расцвет русской литературы в IX—X вв. свидетельствует о предшествующем длительном ее развитии, он забывает о более раннем существовании восточнославянской кириллицы и пишет, что на Руси «письменность была кирилловской, проникшей из южнославянских болгарских областей, где среди крещеных славян уже давно существовала азбука и письменность, развившаяся в результате близкого соседства с высокой византийской культурой» (там же).

Проф. Георгиев заканчивает свою работу характеристикой судеб славянских алфавитов: «В то время как Кирилл и Мефодий, а особенно Мефодий, распространяли глаголическую письменность в Моравии и Паннонии, после официального крещения Болгарии Борисом, некоторые из славяноболгарских духовных лиц, возведенные Борисом в более высокий сан и знакомые со славянизированной греческой азбукой, которую мы теперь называем кириллицей, открывают ей широкий доступ в болгарскую церковь, в болгарские монастыри, в болгарскую культуру. Это письмо распространяется все быстрее и быстрее, и скоро Борис делает его официальным болгарским письмом. После смерти Мефодия его ученики переносят в Болгарию и глаголицу» (стр. 83).

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что предложенная проф. Георгиевым теория происхождения славянской письменности, сохраняя много элементов традиционных воззрений по этому вопросу, недостаточно учитывает культурные достижения восточных славян в области письма. Проф. Д. С. Лихачев, подводя итоги русским и иностранным свидетельствам о наличии письма у восточных славян, пишет о восточнославянской письменности IX—X вв.: «Потребности в письменности обнаруживаются... в государственной жизни — в договорах и сношениях с иноземными государствами (договоры, сопроводительные грамоты), в крупной торговле (надписи на сосудах с содержимым), в новых имущественных отношениях (письменные завещания, надписи, удостоверяющие собственность), в развитом ремесле (подписи имени мастера, заменившие прежние родовые знаки собственности), в общественном почитании знатных (надпись на могиле руса), в развитом языческом культе (пророчество, написанное в храме).

Многообразное применение письменности свидетельствует, что к X в. она прошла уже сравнительно долгий путь развития. Должно было пройти по крайней мере не менее века, а всего вероятнее и значительно больше, чтобы письменность смогла получить столь разнообразное применение» [18].

Несмотря даже на привлеченный к исследованию большой материал, работа проф. Георгиева в значительной мере замыкается в круг общих рассуждений и сводится к ряду гипотез, с которыми в таком виде трудно согласиться и которые необходимо доказать путем исторического сопоставления уже добытых имеющихся материалов — исторических, археологических, филологических. Если поставлен вопрос о славянской письменности до Кирилла и Мефодия, то невозможно пренебрегать богатым материалом восточнославянских раскопок [19] и не выявить свое к нему отношение в связи с выдвигаемой теорией. Между тем анализ всего этого материала доказывает, что у восточных славян письменность нашла широкое и разнообразное применение задолго до того, как она начала к ним проникать через Болгарию, после введения христианства.

В своем настоящем виде книга проф. Георгиева содержит ряд интересных интерпретаций текстов и правильных предположений, которые, однако, необходимо подкрепить надлежащим фактическим материалом. Именно в связи с его отсутствием основное положение об «историческом» развитии кириллицы осталось недоказанным.

В своей работе проф. Георгиев сообщает об открытых в последнее время славянских надписях. Наиболее ценны его сообщения об отрывках кирилловских надписей

---

[18] Д. Лихачев, Указ. соч., стр. 34.

[19] См. В. Городцов, Заметки о глиняном сосуде с загадочными знаками, «Археологические известия и заметки», т. V, № 12, 1897; т. VI, № 11—12, 1898; ср. его же, Древнее население Рязанской области, «Известия Отд-ния русск. языка и словесности АН», т. XIII, кн. 4, 1908; Лецеевский, Руничские надписи на Алекановских рунах, «Труды Московского археологического общества», т. XIX, вып. 2, 1901; А. Арциховский, Введение в археологию, М., 1941, стр. 112; М. Артамонов, Средневековые поселения на Нижнем Дону, М.— Л., 1935, стр. 90 и след.; Н. Макаренко, Археологические исследования 1907—1909 гг., Издание Имп. археологической комиссии, вып. 43, стр. 23 и др. работы. Сводка данных по этому вопросу до 1948 г. содержится в статье Е. Эпштейна «К вопросу о времени происхождения русской письменности», «Ученые записки Ленингр. гос. ун-та», Серия исторических наук, вып. 15, 1948; см. также вышеупомянутое предисловие акад. В.В. Виноградова к книге Л. П. Якубинского «История древнерусского языка».

на развалинах церкви в Преславе. Как известно, эти надписи, обнаруженные болгарскими академиками Кр. Миятевым и Ив. Гошевым [20], обычно относили к XI в. [21] Однако совсем недавно акад. Гошев открыл новые кирилловские надписи, в одной из которых читаются имена болгарских царей Бориса и Симеона и датировка которой 893 г.— год начала царствования Симеона [22]. Следовательно, эта надпись на целое столетие древнее надписи Самуила.

Гнездовскую надпись проф. Георгиев характеризует как «счастливое дополнение к известиям пространного жития Кирилла о существовании русского письма еще во время Кирилла и Мефодия и так называемой Бандуриевой легенды о письме на Руси еще в 60-х годах IX века» (стр. 61). Он приводит также снимок недавно открытой при постройке канала Дунай — Черное море Добруджской надписи 943 г. [23] Палеографи-

Фиг. 1. Добруджская надпись 943 г. (по изданию Eugen Comşa, Dorin Popescu, в Studii şi cercetări de istorie veche, Academia Republicii populare române. Anul II, № 1, ianuarie—iunie, 1951).

ческому и лингвистическому анализу две последние надписи подверглись в статье чешского лингвиста Ф. Мареша «Две находки древних славянских надписей (в СССР под Смоленском и в Румынии)» [24]. Автор разделяет мнение советских историков о датировке Гнездовской надписи. Он отмечает, что чтение проф. М. Н. Тихомирова *горужща* неприемлемо по языковым соображениям, а чтение *горуш(ь)на*, предположенное проф. П. Я. Черных, кроме хронологической неувязки (опущение редуцированного), не соответствует палеографическим фактам, которые указывают, во-первых, на то, что лигатуры в древности были очень редки, а во-вторых, на то, что лигатура *ш* писалась бы в строку, а не по вертикали.

Ф. Мареш высказывает предположение, что Гнездовскую надпись следует читать, как *горух пса*, где первое слово означает собственное мужское имя, возможное в словообразовательном отношении для славянских языков, а второе является формой 3-го

[20] Кр. Миятев, Симеоновата църква в Преслав и нейният епиграфичен материал, «Български преглед», I, кн. 1, София, 1929.

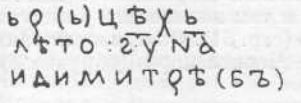
[21] Ср. M. Weingart, «Byzantinoslavica», II, вып. 1, 1930, стр. 166—168; J. Vajs, «Slavia», XII, 1932, стр. 229—231, А. М. Селищев, Указ. соч., стр. 74.

[22] Е. Георгиев, Новооткрити забележителни славенски надписи, газета «Изгрев», V, № 1450 от 23 июня 1949 г.

[23] См. E. Comşa u D. Popescu, Cercetări archeologice pe traseul Canalului Dunăre-Marea Neagră, сб. «Studii şi cercetări de istorie veche», I, 1951.

[24] F. V. Mareš, Dva objevy starých slovanských nápisů (v SSSR u Smolenska a v Rumunsku), «Slavia», XX, seš. 4, 1951, стр. 497—514.

лица ед. числа аориста от глагола *пьсати*. Отсутствие двух редуцированных (в конце первого слова и в сочетании *пьс-*) вызывает такие же затруднения, что и чтение проф. Черных. Предполагаемая лигатура, таким образом, оказывается разложенной на буквы *х* и кирилловское *пси*. Ссылка Ф. Мареша на аналогичную надпись попа Саввы в Саввиной книге мало убедительна, поскольку последний имел основания сделать указанную надпись, а целесообразность подобного текста на сосуде очень сомнительна, что понимает и сам автор.



Фиг. 2. Чтение Ф. Марешем Добруджской надписи (неясные буквы заключены в скобки)

По мнению Ф. Мареша, еще «далеко до догадок о связи надписи с предполагаемым корсунским славянским письмом. Находка Гнездовской надписи не ведет к ревизии вопроса о приоритете глаголицы, так как сопоставление ее с Преславскими кирилловскими надписями и преславской керамикой не отодвигает в глубь хронологических рамок засвидетельствованных кирилловских памятников. Однако она является ценным свидетельством существования последних на русской территории» (стр. 511). Добруджская надпись, по мнению исследователя, в палеографическом отношении близка к болгарским кирилловским надписям на камне и, будучи датированной, ценна для суждений о начертании некоторых букв.

Таким образом, новые факты, новые археологические открытия существенно меняют традиционные воззрения на зарождение и распространение буквенного письма у славян, в особенности восточных, на роль письменности в их быту, общественной жизни и государственной практике. В этих условиях, естественно, возникает много спорных вопросов и гадательных предположений, научно доказать которые можно будет только после дальнейших открытий.

Н. А. Кондрашов

№ 6 1952

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР И АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

9 октября 1952 г. состоялось заседание Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященное вопросу о ходе выполнения решений Объединенной сессии Отделения литературы и языка АН СССР и Академии педагогических наук РСФСР и, в частности, об участии сотрудников Института языкознания АН СССР в разработке вопросов преподавания русского языка в русской и национальной школе.

Ниже публикуется Постановление Ученого Совета Института по этому вопросу.

Заслушав сообщения Р. И. Аванесова, А. Б. Шапиро, Е. И. Кореневского и В. А. Добромыслова о ходе выполнения решений Объединенной сессии Отделения литературы и языка АН СССР и Академии педагогических наук РСФСР, Ученый совет отмечает, что за время, прошедшее после Объединенной сессии Отделения литературы и языка АН СССР и Академии педагогических наук РСФСР, сотрудниками Института языкознания проделана следующая работа по оказанию помощи советской школе:

1) прочитано большое количество лекций по важнейшим вопросам сталинского учения о языке, по вопросам преподавания русского и иностранного языков в Московском городском институте усовершенствования учителей, в Московском областном институте усовершенствования учителей и других организациях;

2) начато издание серии брошюр по вопросам языкознания для учителей (две брошюры подписаны к печати, одна — сдана в производство);

3) под руководством акад. В. В Виноградова и проф. Р. И. Аванесова составлены программы по русскому языку для V—VII классов и для VIII—X классов средней школы, утвержденные в сентябре 1952 г. коллегией Министерства просвещения РСФСР;

4) при участии ряда сотрудников Института подготовлены и напечатаны программы по введению в языкознание и циклу курсов по русскому языку для университетов и педагогических институтов, утвержденные Министерством высшего образования СССР (отв. редактор акад. В. В. Виноградов), и для учительских институтов, утвержденные Министерством просвещения РСФСР (отв. редактор Р. И. Аванесов);

5) сотрудниками Института напечатано большое количество статей в методических журналах Министерства просвещения РСФСР («Русский язык в школе», «Иностранные языки в школе»);

6) написано много рецензий и отзывов на учебники, ответов на письма учителей и заключений по предложениям, поступившим из Академии педагогических наук, «Учительской газеты» и др. организаций.

Однако объем проделанной работы значительно отстает от требований, предъявляемых к Институту языкознания советской школой. Широкая и планомерная работа по выполнению решений Объединенной сессии до сих пор еще не развернута.

Деловая связь между Институтом языкознания и Академией педагогических наук налажена недостаточно. Не организовано участие сотрудников Института в подготавливаемой Академией педагогических наук «Книге для учителей». Медленно развертывается издание серии популярных брошюр по вопросам языкознания для учительства.

Ученый совет постановляет:

1. Рекомендовать секторам и группам Института шире развернуть работу по оказанию помощи школе и придать этой работе более систематический характер, в частности, усилить работу в области преподавания русского языка в нерусских школах.

2. Рекомендовать сотрудникам Института принять участие в подготовляемой Академией педагогических наук РСФСР «Книге для учителей» и считать необходимым участие Института в редактировании этой книги.

3. Просить Учпедгиз обеспечить быстрое издание брошюр по языкознанию для учителей и образовать общую редколлегию для редактирования серии таких брошюр с участием в ней сотрудников Института.

4. Считать необходимым разработать совместно с Академией педагогических наук РСФСР к 1.VI.1953 записку о типе учебника русского языка в нерусских школах.

5. Считать крайне желательным участие сотрудников Академии педагогических наук в обсуждении всех работ Института по грамматике, стилистике, орфографии и другим вопросам, связанным с преподаванием языка в школе, а также в освещении важнейших научно-методических вопросов на страницах журнала «Вопросы языкознания».

6. Обратиться в Президиум Академии Наук СССР и Академии педагогических наук РСФСР с запиской по вопросу о необходимости подготовить в начале 1954 г. силами обеих академий Всесоюзной конференции, посвященной состоянию и методике преподавания русского языка.

7. Включить в проект пятилетнего плана Института проведение в течение 1954—1955 гг. совместно с Академией педагогических наук нескольких конференций в отдельных союзных и автономных республиках по вопросам преподавания русского языка в нерусской школе.

НОВЫЕ КНИГИ И СТАТЬИ ПО ВОПРОСАМ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Гениальные труды И. В. Сталина по вопросам языкознания, вошедшие в сборник «Марксизм и вопросы языкознания», опубликованы отдельными изданиями до 1 октября 1952 г. в пределах Советского Союза на 39 языках народов СССР общим тиражом 8 752 тыс. экземпляров. Кроме того, труды И. В. Сталина по вопросам языкознания были напечатаны в советских и зарубежных газетах и журналах, тиражи которых исчисляются многими миллионами экземпляров.

Книги и статьи, вышедшие в первой половине 1952 г.

I. СБОРНИКИ

1. Вопросы изучения языков народов Средней Азии и Казахстана в свете учения И. В. Сталина о языке. [Доклады, прочит. на конференции, состоявшейся в феврале 1951 г. в Ташкенте].—Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1952, 188 стр. (Отд-ние гуманитарных наук).
2. Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина. [Сб. статей]. Под ред. В. В. Виноградова. [Изд. 2-е, перераб. и дополн. — М.], Изд-во Моск. ун-та, 1952, 412 стр. (Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).
3. В помощь преподавателям языков в якутских школах. Статьи.— Якутск, Гос. изд-во ЯАССР, 1952, 56 стр. (Ин-т языка, лит-ры и истории Якутск. филиала АН СССР. Респ. ин-т усовершенств. учителей Мин-ва просв. ЯАССР).— На якутск. яз.
4. Доклады и сообщения, I. [Сб. статей]. Отв. ред. В. В. Виноградов. — М., Изд-во АН СССР, 1952, 144 стр. (Ин-т языкознания).
5. Доклады и сообщения, II. [Сб. статей]. Отв. ред. В. В. Виноградов.— М., Изд-во АН СССР, 1952, 143 стр. (Ин-т языкознания).
6. Иберийско-кавказское языкознание. Т. III. Вопросы общего языкознания в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. (Сб. статей. Под ред. А. Чикобава).— Тбилиси, Изд-во АН Груз. ССР, 1952, X, 536 стр. (Ин-т языкознания). Библиогр.: стр. 338—341 и в подстрочн. примеч.— На груз. яз. Резюме статей на русск. яз.
7. К вопросам узбекской орфографии и терминологии. [Сб. статей. Отв. ред. В. В. Решетов].— Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1952, 80 стр. (Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина).
8. К вопросам узбекской орфографии и терминологии. (Сб. статей. Отв. ред. Ф. Камалов).— Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1952, 103 стр. (Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина).— На узб. яз.
9. Лингвистический сборник. Серия лингвистическая, вып. 2.— Сыктывкар, Комигиз, 1952, 92 стр. (Коми филиал АН СССР).
10. «Мовознавство» (Ученые записки), т. X.— Киев, Изд-во АН УССР, 1952, 165 стр. (Ин-т языкознания им. А. А. Потебни).— На укр. яз. Часть текста на русск. яз.
11. Научная сессия 1951—1952 г. Тезисы докладов по секции Фак-та народов Севера.— Л., 1952, 28 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).

11-а. Научная сессия 1951—1952 г. Тезисы докладов по секции востоковедческих наук.— Л., 1952, 32 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).

12. Научная сессия, посвященная второй годовщине выхода в свет гениального труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». 20—22 июня 1952 г. План работы и тезисы докладов.— Тбилиси, Изд-во ун-та, 1952, 24 стр. (Тбилисск. гос. ун-т им. И. В. Сталина).— На груз. яз.
13. Научное совещание по вопросам

удмуртского языка и письменности. 1—4 июля 1952 г. Тезисы докладов.— Ижевск, Удмуртгосиздат, 1952, 28 стр. (Удмуртск. НИИ истории, языка, лит-ры и фольклора).

14. Научное совещание по вопросам языкознания в г. Сыктывкаре. 28—31 января 1952 г. Тезисы докладов.— М., Изд-во АН СССР, 1952, 40 стр. (Коми филиал и Ин-т языкознания АН СССР).
15. Научные труды. Т. XXXIV. (Филологическая серия).—Ереван, Изд-во ун-та, 1952, 292 стр. (Ереванск. гос. ун-т им. В. М. Молотова). — На армянск. яз. Резюме статей на русск. яз.
16. Открытое расширенное заседание Ученого совета, посвященное второй годовщине выступления И. В. Сталина по вопросам языкознания. 18—21 июня 1952 г. Тезисы докладов.— М., Изд-во АН СССР, 1952, 58 стр. (Ин-т языкознания).
17. Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Сб. статей. Под ред. В. В. Виноградова и Б. А. Серебренникова. Ч. II.— М., Изд-во АН СССР, 1952, 502 стр. (Ин-т языкознания).
18. Республиканская конференция по вопросам развития узбекского языкознания в свете учения товарища Сталина о языке. Тезисы докладов.— Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1952. стр. (Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина).
19. Сборник, посвященный труду И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Гл. ред. А. М. Румянцев.— Киев, Изд-во АН УССР, 1952, 242 стр., 1 л. портр. (Отд-ние обществ. наук).— На укр. яз.
20. Сессия, посвященная трудам И. В. Сталина по вопросам языкознания.— «Вестник АН Литовск. ССР», Вильнюс, 1952, IX, 203 стр.— На литовск. и русск. яз.
21. Труды И. В. Сталина по языкознанию и вопросы азербайджанского языкознания. [Сб. статей. Под ред. М. Ширалиева].— Баку, Изд-во АН Азерб. ССР, 1952, 80 стр. (Ин-т лит-ры и языка им. Низами).—На азерб. яз. Часть текста на русск. яз.
22. Труды Среднеазиатского государственного университета. Новая серия, вып. XXIX. Филологические науки, кн. 1,—Ташкент, Изд-во САГУ, 1952, 105 стр.
23. Ученые записки, вып. 150. Русский язык. [Сб. статей]. Под ред. В. В. Виноградова.—[М.], Изд-во Моск. ун-та, 1952, 324 стр. (Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).
24. Ученые записки, т. LXIV. Кафедра русского языка. Вып. 3. [Сб. статей]. Под ред. С. Д. Никифорова. — М., 1952, 136 стр. (Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).
25. Ученые записки, № 156. Серия филологических наук, вып. 15. Вопросы грамматического строя и словарного состава языка, 1. [Сб. статей]. Отв. ред. С. Г. Бархударов.—Л., 1952, 363 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).
26. Шестая научная конференция аспирантов. 10—12 июня 1952 г. План работы и тезисы докладов.—Тбилиси, Изд-во ун-та, 1952, 83 стр. (Тбилисск. гос. ун-т им. И. В. Сталина).— На груз. яз. Часть докладов и параллельно план работы — на русск. яз.

II. МОНОГРАФИИ И СТАТЬИ

1. Вопросы общего языкознания

1. Аванесов Р. И. Учение о языке и диалекте в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию.— См. I, 2, стр. 289—320[1].
2. Агаян Э. Б. Проблема происхождения языка в свете сталинского учения о языке.— См. I, 15, стр. 41—83.
3. Азимов Дж. Труды И. В. Сталина по вопросам языкознания и вопросы перевода.— См. I, 21, стр. 64—71.
4. Александров Г. Ф. Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и его выдающаяся роль в развитии общественных наук. (Доклад на Объединенной научной сессии Отд-ния лит-ры и языка АН СССР и Академии пед. наук РСФСР, посвященной трудам И. В. Сталина по языкознанию и вопросам преподавания языков в советской школе. Москва, 1950).—«Известия Акад. пед. наук РСФСР», вып. 39, М., 1952, стр. 16—36.
5. Андгуладзе Н. О сущности территориального диалекта и социального жаргона в свете учения И. В. Сталина. — См. I, 26, стр. 50—52.— На груз. яз.
6. Антонов Н. О неразрывной связи мышления и языка.— «Большевик», М., 1952, № 15, стр. 19—30.
7. Аракин В. Д. Ошибки в работах Н. Я. Марра по чувашскому языку.— См. I, 17 стр. 471—491.

[1] В публикуемой библиографии римская цифра I обозначает ссылку на раздел I (Сборники), арабские цифры—на порядковый № в разделе I. Страницы указаны по изданию, на которое дается ссылка.

8. Ахвледиани Г. С. Сталинское языкознание и принципы составления переводного словаря.— См. I, 12, стр. 1.
9. Бархударов С. Г. Итоги и перспективы перестройки языковедческой работы в свете сталинского учения о языке. (Доклад, прочит. 18 июля 1951 г. на научной сессии Отд-ния лит-ры и языка АН СССР, посвященной годовщине опубликования трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания).— См. I, 4, стр. 5—27.
10. Белинская Т. А. Учение И. А. Бодуэна-де-Куртенэ о фонеме. Автореферат канд. дисс.—Тбилиси, 1952, 24 стр. (Тбилисск. гос. ун-т им. И. В. Сталина).
11. Белодед И. К. Антинаучная, вульгаризаторская сущность рассуждений Н. Я. Марра об украинском языке.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 3, стр. 65—72.
12. Белодед И. [К.] Могучее оружие в борьбе за творческое развитие советского языкознания. [Ко 2-й годовщине опубликования труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»].— «Большевик Украины», Киев, 1952, № 6, стр. 37—48.
13. Белодед И. К. Развитие национальных языков в эпоху социализма в свете учения И. В. Сталина о социалистических нациях и о языке.— См. I, 19, стр. 144—161.
14. Бернштейн С. Б. К проблеме языковых смешений.— См. I, 17, стр. 291—306.
15. Борковский В. [И]. Новый этап в развитии науки о языке. [Ко 2-й годовщине опубликования труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»].— «Славяне», М., 1952, № 6, стр. 6—9.
16. Будагов Р. [А.] Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» — основа развития советской науки о языке.—«Пропаганда и агитация», [Л.], 1952, № 11, стр. 15—21.
17. Булаховский Л. А. Вопросы исторического развития языка в свете работ И. В. Сталина по языкознанию.— См. I, 2, стр. 218—244.
18. Булаховский Л. А. Очерки по общему языкознанию.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 3, стр. 33—40.
19. Булаховский Л. А. Учение И. В. Сталина о языке и задачи советского языкознания.— См. I, 19, стр. 5—21.
20. Виноградов В. В. Значение работ И. В. Сталина для развития советского языкознания.— См. I, 2, стр. 5—60.
21. Виноградов В. В. Значение работ И. В. Сталина для развития советского языкознания. (Доклад на Объединенной научной сессии Отд-ния лит-ры и языка АН СССР и Академии пед. наук РСФСР, посвященной трудам И. В. Сталина по языкознанию и вопросам преподавания языков в советской школе. Москва, 1950).—«Известия Акад. пед. наук РСФСР», вып. 39, М., 1952, стр. 37—66.
22. Виноградов В. В. Об основном словарном фонде и его словообразующей роли в истории языка.— См. I, 2, стр. 151—182.
23. Виноградов В. В. Основные задачи советской науки о языке в свете работ И. В. Сталина по языкознанию. (Доклад, прочит. 25 янв. 1952 г. на научной конференции по вопросам современного белорусского правописания, созванной Ин-том языкознания АН БССР).— «Известия АН БССР», Минск, 1952, № 2, стр. 3—25.
24. Виноградов В. В. Развитие советского языкознания на основе трудов И. В. Сталина.— См. I, 16, стр. 3—8.
25. Виноградов В. [В.] Советское языкознание на новом пути. [Ко 2-й годовщине опубликования труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»].— «Знамя», М., 1952, кн. 7, стр. 169—175.
26. Виноградов В. В. и Бархударов С. Г. Итоги перестройки языковедческой работы в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. (Доклад на X сессии Совета по координации научн. деятельности академий наук союзных республик, прочитанный С. Г. Бархударовым.) [Дек. 1951 г.]—«Вестник АН СССР», [М.], 1952, № 1, стр. 16—31.
27. Вострикова А. В. Классики марксизма-ленинизма о связи языка и мышления.—«Вопросы философии», [М.], 1952, № 3, стр. 47—64.
28. Галкина-Федорук Е. М. Знаковость в языке с точки зрения марксистского языкознания.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 2, стр. 3—11.
29. Галкина-Федорук Е. М. Критика учения Н. Я. Марра о членах предложения и частях речи.— См. I, 17, стр. 366—382.
30. Гаприндашвили Ш. Г. К вопросу о природе развития языка.— См. I, 6, стр. 181—206.
31. Гянзбург Р. [С.] Проблема значения слова в свете сталинского учения о языке.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 4, стр. 30—41.
32. Горнунг Б. В. К вопросу о типах и формах взаимодействия языков и диалектов. — См. I, 5, стр. 3-7.
33. Горнунг Б. В. О критике Н. Я. Марром основ сравнительно-истори-

ческого языкознания.— См. I, 17, стр. 157—171.

34. Горнунг Б. В. Сравнительно-исторический метод и его место в марксистском языкознании.— См. I, 16, стр. 32—36.
35. Гухман М. М. Критика взглядов Н. Я. Марра по вопросам родства языков. (На материале герм. языков).— См. I, 17, стр. 249—290.
36. Дешериев Ю. Д. Младописьменные и бесписьменные языки и критика ошибочных положений Н. Я. Марра о скрещении языков.— См. I, 17, стр. 307—330.
37. Джаханги́ров М. Сталинское учение о языке как общественном явлении.— См. I, 21, стр. 29—38.
38. Долгих Б. О. О некоторых этногенетических процессах (переселениях народов и распространении языков) в Северной Сибири.— «Советская этнография», М., 1952, № 1, стр. 51—59.
39. Жилко Ф. Т. Общенародный язык и диалекты в свете учения И. В. Сталина о языке.— См. I, 10, стр. 19—28—На укр. яз.
40. Жирмунский В. М. Лингвистическая палеонтология Н. Я. Марра и история языка.— См. I, 17, стр. 172—208.
41. Жирмунский В. М. Образование и развитие национальных языков в свете учения Ленина — Сталина о нации.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 4, стр. 11—29.
42. Звегинцев В. А. Внутренние законы развития языка. (К итогам дискуссии в Ин-те языкознания [АН СССР]). [Февр. 1952 г.].—«Вестник АН СССР», М., 1952, № 4, стр. 103—109.
43. Звегинцев В. А. Понятие внутренних законов развития языка в свете работ И. В. Сталина по языкознанию.— См. I, 2, стр. 183—217.
44. Звегинцев В. А. Развитие и функционирование языка. (Сокращенный и переработанный доклад на открытом заседании Ученого совета Ин-та языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о внутренних законах развития языка).—«Иностр. языки в школе», М., 1952, № 3, стр. 3—20.
45. Ивашев Н. Заметки переводчика. Еще раз о подстрочнике.— Адэкватность и «адэкватность».— «Звезда Востока», Ташкент, 1952, № 6, стр. 103—116.— Продолж. Начало: № 4.
46. Ивашев Н. Заметки переводчика. Путаница вместо решения проблемы. (По поводу статьи М. Салье и Н. Владимировой «О некоторых проблемах художественного перевода» в журн. «Звезда Востока», 1951, № 11).— «Звезда Востока», Ташкент, 1952, № 4, стр. 104—110.
47. Калинин И. А. Учение И. В. Сталина об общественной роли языка.— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 2, стр. 1—6.
48. Камалов Ф. Об основах сталинского учения о языке.— Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1952, 32 стр. (Об-во по распространению политич. и научн. знаний Узб ССР).— На узб. яз.
49. Каммари М. Классическое произведение творческого марксизма. [Ко 2-й годовщине выхода в свет труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»].— «Большевик», М., 1952, № 12, стр. 9—23.
50. Канищева Е. Н. Вопросы методики языково-стилистической интерпретации художественно-прозаического текста в языковом вузе (в аналитич. чтении и семинаре по стилистике). Автореферат канд. дисс.—М., 1952, 24 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).
51. Кварчелия А. А. Некоторые ошибки Н. Я. Марра в исследовании абхазского языка.— См. I, 17, стр. 459—470.
52. Кондрашов Н. А. и Спиркин А. Г. Происхождение языка и мышления.— См. I, 2, стр. 372—410.
53. Костюк Г. С. Взаимоотношение языка и мышления в свете труда И. В. Сталина по языкознанию.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 3, стр. 11—22.
54. Крашенинникова Е. Гениальное произведение творческого марксизма. [Ко 2-й годовщине выхода в свет труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»].— «Новое время», [М.], 1952, № 25, стр. 3—8.
55. Кузнецов П. С. Ошибки Н. Я. Марра в его взглядах на родство и историческое развитие языков.— См. I, 17, стр. 209—248.
56. Кусикьян И. К. Ошибки Н. Я. Марра в освещении истории армянского языка.— См. I, 17, стр. 429—446.
57. Левин В. Д. Вопросы языка художественных произведений.— См. I, 16, стр. 49—56.
58. Левин В. Д. и Реформатский А. А. Совещание по методологии этногенетических исследований в свете сталинского учения о нации и языке [1951 г.].—«Вестник АН СССР», [М.], 1952, № 1, стр. 105—114.
59. Ломтатидзе К. В. К вопросу о закономерностях развития языка в свете учения И. В. Сталина о языке.— См. I, 6, стр. 107—135.
60. Ломтатидзе К. В. Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и его значение для

советского языкознания.— См. I, 6, стр. 33—73.

61. Ломтадзе Э. А. К вопросу о природе развития языка.— См. I, 6, стр. 137—180.
62. Лыткин В. И. О некоторых этимологиях Н. Я. Марра по угрофинским языкам.— См. I, 17, стр. 492—500.
63. Матулис Ю. Значение трудов товарища Сталина по вопросам языкознания в развитии советской науки.— См. I, 20, стр. 13—29.—На литовск. яз.
64. Мачавариани Г. К вопросу развития языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию.— См. I, 26, стр. 49—50.—На груз. яз.
65. Мельничук А. С. Вопросы языка в трудах В. И. Ленина.— «Українська мова в школі».— Киев, 1952, № 1, стр. 8—16.
66. Мельничук А. С. Некоторые вопросы теории предложения в связи с критикой «нового учения» о языке.— См. I, 10, стр. 42—57. — На укр. яз.
67. Мешкаускас Е. Вопросы взаимоотношения языка и мышления в свете труда товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».— См. I, 20, стр. 66—75.—На литовск. яз.
68. Микаилов Ш. И. Против антинаучной трактовки Н. Я. Марром данных по дагестанским горским языкам.— См. I, 17, стр. 447—458.
69. Момджян Х. Лафарг и некоторые вопросы языкознания.— «Известия АН Армянск. ССР. Обществ. науки», Ереван, 1952, № 5, стр. 45—59. —На русск. яз.
70. Надирашвили Ш. Психология речи и мышления в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания.— См. I, 26, стр. 19—21.— На груз. яз.
71. Никифоров Г. А. Учение И. В. Сталина о языке. — См. I, 3, стр. 3—12.
72. Петерсон М. Н. Введение в языкознание.— М., 1952, VIII, 274 стр. с илл. — (Стеклограф. изд.)
73. Петерсон М. Н. Эклектизм и антиисторизм взглядов И. И. Мещанинова на члены предложения и части речи.— См. I, 17, стр. 383—397.
74. Попов А. И. О сравнительно-историческом методе в языкознании. См. I, 11, стр. 16—17.
75. Поспелов Н. С. Учение И. В. Сталина о грамматическом строе языка.— См. I, 2, стр. 97—125.
76. Рамишвили Д. И. К вопросу о взаимоотношении процессов мышления и речи в идеалистической и советской психологии.— См. I, 6, стр. 427—482.
77. Рамишвили Д. И. Проблема взаимоотношения речи и мышления в свете учения товарища Сталина о языке.—В кн.: «Дискуссия на тему: „Некоторые вопросы советской психологии". Тезисы докладов. 8—10 апр. [1952 г.]». Тбилиси, 1952, стр. 22—30. (АН Груз. ССР).
78. Ржевуцкая Е. Е. Происхождение языка в свете учения классиков марксизма-ленинизма.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 2, стр. 3—12.
79. Ризель Э. Г. Проблема стиля в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 2, стр. 12—21.
80. Рустамов Р. О скрещивании языков. — «Азәрбайчан мәктәби» («Азерб. школа»), Баку, 1952, № 3, стр. 59—64.— На азерб. яз.
81. Рыльский М. Т. Работа И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и проблемы языка в советской литературе. — См. I, 19, стр. 100—120.
82. Савельев Ю. А., Бирюков Н. А. О применении звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 1, стр. 113—114.
83. Санжеев Г. Д. Образование и развитие национальных языков в свете учения И. В. Сталина.— См. I, 2, стр. 321—371.
84. Серебренников Б. А. Вопросы развития основного словарного фонда.— «Известия АН Латв. ССР», Рига, 1952, № 5, стр. 23—40. — На русск. яз.
85. Серебренников Б. А. Критика учения Н. Я. Марра о единстве глоттогонического процесса.— См. I, 17, стр. 45—110.
86. Серебренников Б. А. Сравнительно-исторический метод и критика так называемого четырехэлементного анализа Н. Я. Марра.— См. I, 2, стр. 245—288.
87. Серебренников Б. А. Труды И. В. Сталина по вопросам языкознания и их значение для развития советской науки о языке.— В кн.: «Материалы Всероссийского совещания учителей русского языка начальных, семилетних и средних школ. 29 янв. — 2 февр. 1951 г.», М., Учпедгиз, 1952, стр. 30—58.
88. Скорик П. Я. «Теория стадиальности» и инкорпорация в палеоазиатских языках.— См., I, 17, стр. 136—156.
89. Смирницкий А. И. Сравнительно-исторический метод в языкознании и границы его применения.— См. I, 16, стр. 25—31.
90. Суник О. П. Критика взглядов Н. Я. Марра на грамматику.— См. I, 17, стр. 331—350.

91. Сухотин В. П. К новым успехам советского языкознания.— «Советская книга», [М.], 1952, № 6, стр. 19—30.
92. Топер П. О некоторых принципах художественного перевода.— «Новый мир», М., 1952, № 1, стр. 232—247.
93. Тронский И. М. К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании.— См. I, 25, стр. 5—27.
94. Черных П. Я. И. В. Сталин об основном словарном фонде языка.— См. I, 2, стр. 126—150.
95. Чикобава Арн. К вопросу об историзме в языкознании в свете сталинского учения о языке.— См. I, 6, стр. 207—257.
96. Чикобава А. С. К вопросу об историзме в языкознании в свете трудов И. В. Сталина.— См. I, 17, стр. 7—44.
97. Чикобава Арн. К вопросу о внутренних законах развития языка.— «Знамя», М., 1952, кн. 5, стр. 168—173.
98. Чикобава Арн. Об основных задачах и проблемах советского языкознания в свете сталинского учения о языке.— См. I, 6, стр. 75—105.
99. Чикобава А. С. Учение И. В. Сталина о языке как общественном явлении.— См. I, 2, стр. 61—96.
100. Шапиро А. Б. Вопросы письма и правописания в работах Н. Я. Марра и его последователей.— См. I, 17, стр. 398—408.
101. Шарадзенидзе Т. С. Взаимоотношения общенародного языка и территориальных диалектов в свете сталинского учения о языке.— См. I, 12, стр. 7—9.
102. Шарадзенидзе Т. С. Генеалогическая классификация языков.— См. I, 6, стр. 259—341.
103. Шарадзенидзе Т. С. Понятие «союза языков» и его отношение к понятию языковой «семьи» в свете сталинского учения о языке.— См. I, 16, стр. 43—48.
104. Шарадзенидзе Т. С. Стадиальная классификация языков И. И. Мещанинова.— См. I, 6, стр. 383—426.
105. Шарадзенидзе Т. С. Стадиальная классификация языков Н. Я. Марра.— См. I, 6, стр. 343—381.
106. Шарадзенидзе Т. С. Стадиальная классификация языков Н. Я. Марра в свете учения И. В. Сталина о языке.— См. I, 17, стр. 111—135.
107. Шаумян С. К. Против агностицизма в фонологии. (Критика фонологической теории Ельмслева).— См. I, 23, стр. 311—323.
108. Юдин П. Ф. О произведении И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».— [М.], Госполитиздат, 1952, 44 стр. (В помощь пропагандисту).
109. Юдин П. Ф. Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и развитие общественных наук. — «Советская книга», [М.], 1952, № 6, стр. 3—18.
110. Ярцева В. Н. О внутренних законах развития языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию.— «Известия АН СССР. Отд-ние литры и языка», М., 1952, вып. 3, стр. 193—205.
111. Ярцева В. Н. Смешение лексики с грамматикой в «теории» Н. Я. Марра.— См. I, 17, стр. 351—365.
112. О внутренних законах развития языка. (Итоги и перспективы разработки проблемы на основе трудов И. В. Сталина). Авторы: Б. А. Серебренников, М. М. Гухман, В. А. Звегинцев и П. С. Кузнецов.— См. I, 16, стр. 9—15.

2. Исследования по отдельным языкам

1. Абдурагимов А. Создадим единую сельскохозяйственную терминологию. [Об установлении научно обоснов. *сельскохоз.* терминологии в азерб. яз.].— «Соц. сел. хоз-во Азербайджана», Баку, 1952, № 4, стр. 37—39.
2. Абрамович И. М. Наблюдения над языком А. Н. Радищева.— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 4, стр. 1—9.
3. Абраамян А. А. Учебник древнеармянского языка.— Ереван, 1952, 648 стр. (Гос. заочн. пед. ин-т Армянск. ССР).— На армянск. яз.
4. Абуладзе И. Из лексики древнегрузинского языка: *говар-и* и *гуар-и* [«род», «племя»].— См. I, 12, стр. 11—12.
5. Аванесов Р. И. Вопросы лингвистической географии русских говоров центральных областей.— «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 2, стр. 161—178, с карт.
6. Аванесов Р. И. Лингвистическая география и история русского языка. — См. I, 16, стр. 18—24.
7. Аванесов Р. И. О качестве задненебной фрикативной согласной перед гласными переднего ряда в русском языке.— См. I, 5, стр. 34—41.
8. Аврорин В. А. Состояние и ближайшие задачи изучения языков народов Севера [СССР].— См. I, 17, стр. 409—428.
9. Азизов А. О некоторых вопросах

узбекской орфографии.— См. I, 7, стр. 48—55.

10. Айбек М. Т. Гениальные труды И. В. Сталина по вопросам языкознания и изучение языков народов Средней Азии и Казахстана.— См. I, 1, стр. 5—8.
11. Амбарцумиан А. А. Элементы армянской культуры и этники в гомеровской системе в связи с переводом Илиады с подлинника на армянский язык и в связи с исследованием основных проблем гомероведения. Автореферат (расширенный) докт. дисс.— Ереван, 1952, 107 стр. (Ин-т языка АН Армянск. ССР).
12. Андгуладзе Н. К принципу сопоставления лиц в иберийско-кавказских языках.— См. I, 26, стр. 56—57. — На груз. яз.
13. Андреев Н. А. Аффиксы чувашского языка.—«Записки», вып. VI. Чебоксары, 1952, стр. 166—195. (НИИ языка, лит-ры и истории при Совете министров Чувашск. АССР).
14. Андрейчин Л. Труд И. В.Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и болгарское языковедение.— «Славяне», М., 1952, № 2, стр. 14—18.
15. Антонов Н. К. Именное словообразование в якутском языке. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 18 стр. (Ин-т языка., лит-ры, истории и искусства Якутск. филиала АН СССР).
16. Аракелян В. О некоторых стилистических вопросах армянского языка.—«Известия [АН Армянск. ССР], Обществ. науки», Ереван, 1952, № 2, стр. 37—55.— На армянск. яз.
17. Арутюнян Т. Г. О словосочетаниях, возникших в армянском языке за советский период.— См. I, 15, стр. 85—103.
18. Асмангулян А. А. К вопросу о методике этимологических исследований. (Значение армянских параллелей для этимологии древнегерманской лексики). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 22 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).
19. Ахманова О. С. О роли служебных слов в словосочетании [в англ. яз.].— См. I, 5, стр. 117—134).
20. Ачарьян Р. А. История чтения персидских клинописей.— См. I, 15, стр. 129—132.
21. Бабунашвили Е. К вопросу о значении частицы *ца* [«да», «еще», «также»; «тот»] в древнегрузинском языке.— См. I, 26, стр. 53. — На груз. яз.
22. Багмут И. А. Переводы на украинский язык трудов В. И. Ленина и И. В. Сталина.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 3, стр. 23—32.
23. Бакеев К. О. Ноокатский говор [киргизского языка] Ошской области. Автореферат канд. дисс.— Алма-Ата, 1952, 16 стр. (Ин-т языка и лит-ры АН Каз. ССР).
24. Балкаров Б. Х. Особенности бесленеевского диалекта кабардинского языка. Автореферат канд. дисс. — М., 1952, 19 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).
25. Балль Г. Ю. Влияние русского языка послеоктябрьской эпохи на словарный состав английского языка. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 21 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).— (Стеклограф. изд.)
26. Бальчиконис И. [Ф.] Вклад русских ученых в литовское языкознание.— См. I, 20, стр. 105—116.— На литовск. и русск. яз.
27. Баранников А. П. Государственный и национальные языки современной Индии. — См. I, 11-а, стр. 13—18.
28. Баранников П. П. Учение И. В. Сталина о словарном запасе языка и вопросы изучения лексики якутского языка. — См. I, 3, стр. 21 — 26.
29. Барская К. и Шнеерсон М. Взыскательный художник. (Работа А. Фадеева над языком новой редакции романа «Молодая гвардия»).— «Звезда», М.— Л., 1952, № 6, стр. 159—163.
30. Баскаков Н. А. К вопросу о классификации тюркских языков.— «Известия АН СССР, Отд-ние литры и языка», М., 1952, вып. 2, стр. 121—134. Библиогр. в подстрочн. примеч.
31. Баскаков Н. А. О соотношении значений личных и указательных местоимений в тюркских языках.— См. I, 4, стр. 132—143.
32. Баскаков Н. А. Составные глаголы в каракалпакском языке.— см. I, 1, стр. 79—92.
33. Белецкий А. А. О принципах этимологических исследований (из автореферата работы «Принципы этимологических исследований применительно к материалу греческого языка»).— См. I, 10, стр. 151—153.— На укр. яз.
34. Белодед И. К. Из наблюдений над лексикой послевоенной украинской художественной прозы.— См. I, 10, стр. 58—86.— На укр. яз.
35. Белошапкова В. А. К изучению типов сложного предложения [в русск. яз.].— См. I, 5, стр. 20—33.
36. Бернштейн С. Б. Атлас болгарских говоров СССР.— См. I, 5, стр. 135—141.
37. Богданов Н. И. История развития лексики вепсского языка. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952,

23 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. им. А. А. Жданова).

38. Боголюбов А. Н. Сложные слова в кабардинском и абхазском языках. (К вопросу об однотипности построения сложных слов в родственных языках).— См. I, 5, стр. 83—90.
39. Богородский Б. Л. О двух синонимичных мореходных терминах «матка» и «компас» [в русск. яз.] См. I, 4, стр. 76—89.
40. Бойко А. А. О роли вида в некоторых инфинитивных сочетаниях, содержащих отрицание [в русск. яз.].— См. I, 25, стр. 139—154.
41. Бойцова А. Ф. Сравнительная характеристика согласных звуков эвенкийского и русского языков.— «Известия Акад. пед. наук РСФСР», вып. 40. М., 1952, стр. 183—208.
42. Бондаренко Ф. Н. О некоторых вопросах синтаксиса [русск. яз.].— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 2, стр. 18—25.
43. Борисова М. Б. Язык и стиль пьесы М. Горького «Враги». Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 20 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).
44. Борковский В. И. Исторические справки по синтаксису русского языка.— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 1, стр. 13—24.
45. Боровков А. К. Изучение языков народов Средней Азии и Казахстана в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания.— См. I, 1, стр. 9—29.
46. Боровков А. К. К вопросам узбекской орфографии.— См. I, 7, стр. 3—23.
47. Боровков А. К. Очередные задачи узбекского языкознания в свете трудов И. В. Сталина о языке.— См. I, 18, стр. 19.
48. Бровченко Т. А. Сравнительный анализ фонем украинского и английского языков. Автореферат канд. дисс.— М., [1952], 23 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).
49. Будагов Р. А. К теории относительного подчинения. (Из очерков по историческому синтаксису франц. яз.).— См. I, 25, стр. 43—55.
50. Будагов Р. А. Некоторые вопросы теории словообразования в романских языках.— См. I, 4, стр. 104—119.
51. Булаховский Л. А. Из исторических комментариев к украинскому литературному языку. (Личные и возвратные местоимения).— См. I, 10, стр. 87—97.— На укр. яз.
52. Булаховский Л. А. Сравнительно-исторический метод и изучение славянских языков в свете учения И. В. Сталина о языке.— См. I, 10, стр. 3—18.— На укр. яз.
53. Булаховский Л. А. Сравнительно-исторический метод и изучение славянских языков в свете учения И. В. Сталина о языке. — См. I, 19, стр. 162—182.
54. Булаховский Л. А. Функции чисел в «Слове о полку Игореве».— См. I, 10, стр. 120—124.— На русск яз.
55. Бурсье Э. Основы романского языкознания. Пер. с 4-го франц. изд. Т. В. и Е. В. Вентцель. Под ред., с предисл. и примеч. Д. Е. Михальчи.— М., Изд-во иностр. лит-ры, 1952, VIII, 672 стр. Библиогр.: стр. 621—624.
56. Бутолин А. С. О переводах с русского языка на удмуртский язык.— См. I, 13, стр. 25—27.
57. Вайсберг И. Г. Распространенная определительная группа в современном немецком языке (со стержневым словом-прилагательным). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 18 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т. иностр. языков).—(Стеклограф. изд.).
58. Ванслова М. Л. О связи слов в предложении.— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 1, стр. 25—30.
59. Вахрушев В. М. Вопросы общественно-политической терминологии в удмуртском языке.— См. I, 13, стр. 21—24.
60. Вешанидзе И. Образование глаголов страдательного залога в древнегрузинском языке.— См. I, 26, стр. 54—55.— На груз. яз.
61. Виноградов В. В. Язык художественной литературы.— «Огонек», [М.], 1952, № 25, стр. 6.
62. Газизов Р. С. Опыт сопоставительного освещения грамматических особенностей русского и татарского языков.— Казань, Татгосиздат, 1952, 256 стр. (Ин-т языка., лит-ры и истории Казанск. филиала АН СССР).
63. Галкина-Федорук Е. М. К вопросу о безличных предложениях. — См. I, 23, стр. 133—142.
64. Галкина-Федорук Е. М. О языке ранних произведений Н. В. Гоголя.— «Вестник Моск. ун-та». М., 1952, № 4. Серия обществ. наук, вып. 2, стр. 35—53.
65. Гарибян А. С. Новооткрытый диалект армянского языка.— «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 3, стр. 206—217.
66. Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка.— М., Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1952, 336 стр. (Акад. пед. наук РСФСР).
67. Георгиева В. Л. Синтаксические функции прилагательных в древнерусском языке. Автореферат канд.

дисс.— Л., 1952, 23 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

68. Гердт А. А. Новое в лексике современного немецкого языка.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 1, стр. 11—19.
69. Гецова О. Г. Говор села Катагощи [Захаровского р-на Рязанск. обл.]. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 14 стр. (Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).
70. Гигинейшвили И. М. Учение И. В. Сталина об общенародном языке и диалектах и вопросы единого грузинского литературного языка.— См. I, 6, стр. 483—514.
71. Глотова И. П. Процесс утраты южнорусских особенностей местными говорами в результате растворения их в национальном русском языке. (На материале говоров Федоровск. р-на Саратовск. обл.). Автореферат канд. дисс.—Саратов, 1952, 16 стр. (Саратовск. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского).— (Литограф. изд.)
72. Головин Б. Н. О приставочных формах выражения внутривидовых значений в современном русском глаголе.— См. I, 24, стр. 37—76.
73. Горгадзе Л. К вопросу о составном сказуемом в современном английском языке.— См. I, 26, стр. 68—69.— На груз. яз.
74. Грабис Р. О развитии научной терминологии латышского языка.— «Известия АН Латв. ССР», Рига, 1952, № 4, стр. 25—38.— На латышск. яз.
75. Гранаткина Л. Ю. Основные типы иноязычных слов в современном немецком языке и их использование в немецкой художественной и публицистической литературе. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 27 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).
76. Гринкова Н. П. Из наблюдений над языком комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 2, стр. 7—17.
77. Гугушвили П. В. Об экономической терминологии и научном переводе.— Тбилиси, Изд-во АН Груз. ССР, 1952, 104 стр.— На груз. яз.
78. Гумецкая Л. Л. Новая лексика и фразеология современного польского литературного языка.— См. I, 10, стр. 131—136.— На укр. яз.
79. Гумецкая Л. Л. Очерки по истории украинского языка.— См. I, 10, стр. 98—120.— На укр. яз.
80. Гурычева М. С. О наклонении во французском языке.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 1, стр. 20—28.
81. Гусятинская В. С. Словарный состав языка Феокрита в области неживой природы. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 14 стр. (Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).
82. Гухман М. М. Критика некоторых концепций стадиальности происхождения и развития германских языков. — «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 2, стр. 144—160.
83. Девкин В. Д. Глаголы с sich в современном немецком языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 15 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).
84. Дешериев Ю. Д. Изучение языков Северного Кавказа и Дагестана в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию.— «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 3, стр. 218—227.
85. Джалалов А. Д. Категория множественности в современном таджикском языке. Автореферат докт. дисс.— М., 1952, 31 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).
86. Джанашиа Н. О некоторых категориях глагола турецкого языка.— См. I, 26, стр. 64—65.— На груз. яз.
87. Джафар М. О некоторых вопросах азербайджанского литературного языка.— «Тəблиғатчы» («Пропагандист»), Баку, 1952, № 2, стр. 55—68.— На азерб. яз.
88. Джейранишвили Э. Грамматические классы в цахурском языке.— См. I, 12, стр. 21—22.
89. Джуманиязов Р. Н. О некоторых вопросах узбекской орфографии.— См. I, 7, стр. 43—47.
90. Дзендзелевский И. А. Украинские говоры нижнего Поднестровья. Автореферат канд. дисс.— Одесса, 1952, 15 стр. (Одесск. гос. ун-т. им. И. И. Мечникова).
91. Дмитриев Н. К. О категории грамматического рода в азербайджанском языке.— «Известия Акад. пед. наук РСФСР», вып. 40, М., 1952, стр. 96—100.
92. Добржанская Л. И. Фразеология языка Шевченко. Автореферат канд. дисс.— Киев, 1952, 17 стр. (Криворожск. гос. пед. ин-т Минва просв. УССР).
93. Долгополова З. К. О так называемых «дефективных» глаголах в английском языке. — «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 1, стр. 29—40.
94. Донец И. И. Язык литературы французского сопротивления. Автореферат канд. дисс.— Киев, 1952, 12 стр. (Кафедра романских языков Киевск. гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко).
95. Доскараев Ж. Об изучении

казахских диалектов.— См. I, 1, стр. 134—140.

96. Драгунов А. А. Исследования по грамматике современного китайского языка. I Части речи.— М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, 232 стр. (Ин-т востоковедения).

97. Дружинина М. Ф. Пространственно-местные падежи в марийском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 20 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

98. Елагина В. В. Обстоятельства в современном французском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 14 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).

99. Ернштедт П. В. Этимология новогреческого глагола μαγαρίζω. — См. I, 4, стр. 120—131.

100. Ефимов А. И. Значение Н. В. Гоголя в истории русского литературного языка.— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 1, стр. 1—12.

101. Ефимов А. И. Общественно-публицистическая лексика и фразеология в языке Салтыкова-Щедрина.— См. I, 23, стр. 143—217.

102. Ефимов А. И. О некоторых особенностях языка художественных произведений.— В кн.: «Советская литература. Сб. статей». М., Гослитиздат, 1952, стр. 276—312.

103. Ефимов А. [И.] О языке пропагандиста.— [М.], «Молодая гвардия», 1952, 64 стр. (Б-чка комсом. пропагандиста).

104. Жгенти С. Некоторые фонетические особенности абсолютного исхода слова в картвельских языках как проявление внутренних законов развития языка.— См. I, 12, стр. 9—10.

105. Жигадло В. Н. Постпозиционное определение и ритм в современном английском языке.— См. I, 25, стр. 300—312.

106. Жижева Е. Г. О значении суффикса *-ӧсь* [в коми языке]. — См. I, 9, стр. 29 — 36.

107. Жюгжда Ю. Проблемы культурного наследства литовского народа в свете трудов товарища Сталина по вопросам языкознания.— См. I, 20, стр. 76—104. — На литовск. и русск. яз.

108. Заляй Л. З. Основы татарской орфоэпии.—«Известия Акад. пед. наук РСФСР», вып. 40. М., 1952, стр. 83—95.

109. Иванова В. Ф. Отглагольные прилагательные с суффиксом *-м-* в современном русском литературном языке. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 18 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).

110. Иванова И. П. Значение герундия в ранненовоанглийском языке.— См. I, 25, стр. 313—334.

111. Ивченков К. С. Падежное оформление субъекта и объекта в различных оборотах современного монгольского языка. Автореферат канд. дисс.—М., 1952, 20 стр. (Моск. ин-т востоковедения).

112. Иофик Л. Л. Сложное предложение в английском языке первой половины XVII века.— См. I, 25, стр. 325—361.

113. Исенин И. А. К проблеме французского просторечия. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 11 стр. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

114. Исказков А. И. О классификации частей речи в казахском языке.— См. I, 1, стр. 117—133.

115. Кавецкая Р. К. Конструкции с нестрадательным (действительным) причастием в современном русском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 16 стр. (Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).

116. Казарян С. К. Сталинское учение о языке и некоторые вопросы арменоведения.— См. I, 15, стр. 5—40.

117. Каландаров Я. И. Словарная работа в Таджикистане и ее задачи в свете сталинского учения о языке.— См. I, 1 стр. 173—180.

118. Камалов Ф. К. История становления и развития узбекского национального языка.— См. I, 1, стр. 42—60.

119. Камалов Ф. К. О некоторых вопросах узбекской орфографии.— См. I, 18, стр. 6.

120. Камилова Х. К. Об арабских формах *-ий, -вий* и их орфографии.— См. I, 7, стр. 38—42.

121. Камилова Х. и Аскарова М. Объем и содержание курса современного узбекского языка.— См. I, 18, стр. 4.

122. Кантор А. М. Пути развития имен прилагательных в современном немецком языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 12 стр. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).

123. Каратаева Э. И. Из истории сложного предложения в русском языке. (Место придаточного предложения по отношению к главному).— См. I, 25, стр. 56—76.

124. Карпенко Л. И. Язык критических статей В. Г. Белинского (1834—1836 гг.). Автореферат канд. дисс.— Харьков, 1952, 16 стр. (Харьковск. гос. ун-т им. А. М. Горького).

125. Каулинь К. Развитие общественно-политической лексики латышского языка в связи с переводами на латышский язык сочинений классиков марксизма-ленинизма.— «Известия АН Латв. ССР», Рига, 1952, № 4, стр. 17—24.—На русск. яз.

126. Качевская Г. А. Из истории сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XVI века. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 22 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).
127 Кашкин И. А. Ложный принцип и неприемлемые результаты. О буквализме в русских переводах Ч. Диккенса.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 2, стр. 22—41.
128 Керашева З. Проблема превербов в адыгейском и кабардинском языках.— См. I, 26, стр. 61—62.— На русск. яз.
129. Кизирия А. Синтагмы в грузинском языке.— См. I, 12, стр. 23.
130. Кикнадзе Л. Об имперфектных многократных формах в древнегрузинском языке.— См. I, 12, стр. 12—14.
131. Кириченко И. М. Об «Украинском правописании» 1946 года.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 1, стр. 29—34.
132. Кириченко И. М. Пять лет «Украинского правописания».— См. I, 10, стр. 125—130.— На укр. яз.
133. Кириченко И. М. Составление украинско-русского словаря в свете труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».— См. I, 10, стр. 29—41.— На укр. яз.
134. Кириченко И. М. Составление украинско-русского словаря в свете трудов И. В. Сталина о языке.— См. I, 19, стр. 197—213.
135. Киссен И. А. Краткий очерк фонетики русского языка в сопоставлении с фонетикой узбекского языка.— Ташкент, Учпедгиз УзССР, 1952, 88 стр.
136. Князевская О. А. К исторической фонетике русского языка в Московской Руси середины XIV века. (О языке Московского евангелия 1358 г.). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 16 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).
137. Колегова Н. О принципах перевода с русского языка на коми язык.— См. I, 14, стр. 26—28.
138. Колесников Н. Значение и употребление частицы *-ка* в русском языке (на материале произведений В. Маяковского).—См. I, 26, стр. 60—61.— На русск. яз.
139. Колобков И. Глагол (морфология) в современном бенгальском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 12 стр. (Моск. ин-т востоковедения).
140. Колпакчи Е. М. О категории послелога в современном японском языке.— Ученые записки, № 128. Серия востоковедч. наук, вып. 3. Л., 1952, стр. 162—176. (Ленингр. гос.. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).
141. Конрад Н. И. Вопросы китайского языка в свете трудов И. В. Сталина.— См. I, 16, стр. 16—17.
142. Корлэтяну Н. Г. К вопросу изучения основного словарного фонда молдавского языка.— «Октябрь», Кишинев, 1952, № 1, стр. 81—85.
143. Корнеева-Петрулан М. И. К изучению состава и языка договоров русских с греками.— См. I, 23, стр. 255—281.
144. Котков С. И. Говоры Орловской области. (Фонетика и морфология). Автореферат докт. дисс.—Орел, Изд-во «Орловская правда», 1952, 28 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).
145. Котков С. И. Заметки по консонантизму курско-орловских говоров. См. I, 5 , стр. 42—56.
146. Крапива К. К. Вопросы белорусского правописания в свете учения И. В. Сталина о языке. (Доклад на научной конференции по вопросам современного белорусского правописания, созванной Ин-том языкознания АН БССР. 25 янв. 1952 г.).— «Известия АН БССР», Минск, 1952, № 2, стр. 27—41.
147. Крашенинникова Е. А. О модальных глаголах в немецком языке.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 3, стр. 34—44.
148. Кротевич Е. В. Образование сложноподчиненного предложения в современном украинском языке.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 1, стр. 17—28.
149. Крупник Т. Е. Общественно-политическая терминология в произведениях Маркса и Энгельса, написанных ими на английском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 14 стр. (Моск. ордена Ленина гос ун-т им. М. В. Ломоносова).
150. Крючков С. Е. Вопросы современной русской орфографии. Стеногр. публичн. лекции.— М., Изд-во «Знание», 1952, 32 стр. (Всесоюзн. об-во по распространению политич. и научн. знаний).
151. Крючков С. Е. Спорные написания в современной русской орфографии.— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 1, стр. 31—44.
152. Каухчишвили С. К вопросу о древнейшем населении Греции и формировании древнегреческого языка в свете учения И. В. Сталина.— См. I, 12, стр. 2—3.
153. Кудрявцева И. А. Говор Завидовского района Калининской области. (К проблеме взаимоотношения языка и диалекта). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 20 стр. (Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).
154. Кузнецов П. С. О возникновении и развитии звуковых чередова-

ний в русском языке.— «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 1, стр. 61—75.

155. Кузнецова В. С. О некоторых синтаксических особенностях английских поэтических произведений. (Порядок слов). Автореферат канд. дисс.— М., 1951 (вып. дан. 1952), 27 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков.)— (Стеклограф. изд.)

156. Кязимов Ф. Английские гласные в сравнении с азербайджанскими.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 1, стр. 41—53.

157. Кязимова Р. Обогащение словарного состава азербайджанского языка за годы Советской власти.— «Известия АН Азерб. ССР», Баку, 1952, № 6, стр. 65—73.— На азерб. яз.

158. Кязимова Р. Труд товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и некоторые заметки о современном азербайджанском литературном языке.— См. I. 21, стр. 57—63.

159. Лебедева А. И. Топонимика Псковской области. (Лингвистич. анализ). Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 17 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).

160. Лебедева В. А. Говоры восточной части Дергачевского района Саратовской области. (К вопросу о соотношении среднерусских говоров с национальным русским языком). Автореферат канд. дисс.—Саратов, 1952, 18 стр. (Саратовск. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского).

161. Лебедева Е. Н. Предложения с причастными и деепричастными оборотами в эвенкийском и маньчжурском языках.— См. I, 11, стр. 26—28.

162. Левин В. Д. Некоторые вопросы истории русского языка в связи с историей народа.— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 3, стр. 13—23.

163. Левит З. Н. Неологизмы в современном французском языке. (На материале лингвистич. терминологии). Автореферат канд. дисс.— М., 1951 (вып. дан. 1952), 22 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков.— (Стеклограф. изд.)

164. Левковская К. А. О взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в языке в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания. (На материале нем. языка).— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 3, стр. 21—33.

165. Ломтатидзе К. В. Картвельские языки и их значение для истории иберийско-кавказских языков.— См. I, 16, стр. 37—42.

166. Ломтатидзе К. Некоторые вопросы семантики [грузинского языка] в свете учения И. В. Сталина о языке.— См. I, 12, стр. 3—5.

167. Ломтев Т. П. Об употреблении глагола относительно категории времени в древнерусском языке.— См. I, 23, стр. 219—253.

168. Лухт Л. И. Роль русского языка в развитии словарного состава современного литературного молдавского языка. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 19 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

169. Лыткин В. И. Вопросы истории пермских языков. — См. I, 13, стр. 11—20.

170. Лыткин В. И. Отражение перехода древнерусского *е в о* в русских заимствованиях языка коми.— См. I, 5, стр. 72—82.

171. Любопытнова В. С. Интонация вопросительного предложения в немецком языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 16 стр. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).

172. Магруфов З. М. Правописание *а и о в* узбекском языке.— См. I, 7, стр. 30—37.

173. Маевская Н. И. Синтаксические функции кратких причастий действительного залога в памятниках 11—15 веков. Автореферат канд. дисс.— Казань, 1952, 12 стр. (Казанск. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина).

174. Малов С. Е. Древние и новые тюркские языки.— «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 2, стр. 135—143. Библиогр. в подстрочн. примеч.

175. Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы.— М.— Л., Изд-во АН СССР, 1952, 116 стр. с илл. (Ин-т языкознания).

176. Маркарян Р. А. Страдательный залог и страдательные обороты в современном русском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 16 стр. (Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

177. Маслов Ю. С. О морфологических средствах современного болгарского языка.— См. I, 25, стр. 155—193.

178. Матье М. Э. Основные черты древнеегипетского глагола. (К постановке проблемы).— Ученые записки, № 128. Серия востоковедч. наук, вып. 3. Л., 1952, стр 212—220 (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).

179. Махмутова Л. Т. Особенности касимовского говора татарского языка. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 10 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).

180. Мацюсович Я. В. Основные особенности сложноподчиненного предложения современного польского литературного языка. (Сравнительно с русским языком).— См. I, 25, стр. 194—218.

181. Мачавариани Г. К образованию диуративного аспекта в картвельских языках.— См. I, 26, стр. 58—59.— На груз. яз.
182. Меликова-Толстая С. В. Будущее время в греческом языке.— См. I, 25, стр. 219—246.
183. Мирзаев М. Советско-интернациональные слова и термины в узбекском языке.— См. I, 7, стр. 70—79.
184. Мирошник Д. И. Стилистические украинизмы в произведениях Н. В. Гоголя.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 2, стр. 13—21.
185. Миссюра Н. А. Каузативные глаголы и каузативные конструкции в немецком языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 15 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).
186. Михайлов М. М. Сложные предложения с временными придаточными в современном русском языке. Автореферат канд дисс.— М., 1952, 16 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).
187. Михайлова И. С. Переходные и непереходные глаголы в современном английском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 15 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).
188. Мовшович Н. А. Формирование и развитие инфинитивного абсолютного оборота в связи с развитием других абсолютных конструкций испанского языка. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 16 стр. (Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).
189. Моисеев А. И. Словосочетания с зависимым инфинитивом в современном русском литературном языке.— См. I, 25, стр. 115—138.
190. Мудров Б. Г. Китайское языкознание после выхода в свет трудов И. В. Сталина по языкознанию.— «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 3, стр. 228—237.
191. Мурыгина З. М. Несвободные словосочетания с глаголом в немецком языке. (К вопросу об образовании фразеологических словосочетаний). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 10 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).
192. Нахуцришвили Г. Об индоиранских композитах.— См. I, 26, стр. 66—67. — На груз. яз.
193. Немирова П. П. Говоры трех русских селений (Бея, Табат, Иудино) Хакасской автономной области. (Фонетико-грамматический очерк). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 16 стр. (Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).
194. Никифоров Г. А. Категория множественности в якутском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 20 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).
195. Никифоров С. Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века.— М., Изд-во АН СССР, 1952, 344 стр. (Ин-т языкознания). Библиогр.: стр. 6—8 и 339—342.
196. Никифоров С. Д. Инфинитив по памятникам второй половины XVI века.— См. I, 24, стр. 101—133.
197. Никифоров С. Д. Категория залога глагола по памятникам второй половины XVI века.— См. I, 24, стр. 77—99.
198. Никифоров С. Д. Старославянский язык. [Учебн. пособие для учит. и пед. ин-тов].— М., Учпедгиз, 1952, 112 стр.
199. Николаенко З. Г. Говоры Любечского района Черниговской области. Автореферат канд. дисс.— Ужгород, 1952, 16 стр. (Киевск. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького).
200. Обнорский С. П. и Бархударов С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. (Пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов). Ч. I. Изд. 2-е.— М., Учпедгиз, 1952, 416 стр.
201. Ожегов С. И. Из истории слов социалистического общества.— См. I, 4, стр. 67—75.
202. Ожегов С. И. Основные черты развития русского языка в советскую эпоху.— В кн.: «Материалы Всероссийского совещания учителей русского языка начальных, семилетних и средних школ. 29 янв.— 2 февр. 1951 г.», М., 1952, стр. 59—78.
203. Ольдерогге Д. А. Происхождение народов Центрального Судана. (Из древнейшей истории языков группы хауса-котоко).— «Советская этнография», М., 1952, № 2, стр. 23—38.
204. Орлов М. Проблемы русского языка и стиля в произведениях Гоголя.— «Полымя», Минск, 1952, № 3, стр. 145—151.—На белорусск. яз.
205. Оруджев А. Сталинское учение об основном словарном фонде и словарном составе языка и наши задачи по составлению словаря. — См. I, 21, стр. 39—48.
206. Паутынская В. А. Лексика А. Додэ. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 21 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков). (Стеклограф. изд.).
207. Пельше А. Состояние латышского языкознания и задачи языковедов республики в свете труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».— «Большевик Советской Латвии», [Рига], 1952, № 5, стр. 7—24.

208. Перевощиков П. Н. Влияние русского языка на грамматический строй удмуртского языка.— См. I, 13, стр. 8—10.
209. Петренко А. Я. Очерк по истории гипотактических союзов в украинском языке. На материале летописи С. Величко. Автореферат канд. дисс.— Харьков, Изд-во Харьковск. гос. ун-та им. А. М. Горького, 1952, 16 стр. (Харьковск. гос. пед. ин-т им. Г. С. Сковороды Минва просв. УССР).
210. Петров В. В. К вопросу о единстве китайского языка. — см. I, 11-а, стр, 26—31.
211. Петрушевский И. П. Проблема возникновения и складывания национальных языков в странах зарубежного Востока.— См. I, 11 -а, стр. 26—31.
212. Пиотровский Р. О влиянии русского языка на молдавский язык.— «Октябрь», Кишинев, 1952, № 2, стр. 77—80.
213. Подорова А. И. Вопросы орфографии коми языка.— См. I, 14, стр. 29—38.
214. Поспелов Н. С. К вопросу о различных временных значениях русского прошедшего совершенного.— См. I, 4, стр. 61—66.
215. Прокопович Н. Н. Из наблюдений над синтаксисом имени прилагательного в современном русском языке. Прилагательные в роли распространенного определения.— См. I, 24, стр. 5—35.
216. Протогенова Р. В. К вопросу о борьбе А. М. Горького за чистоту русского литературного языка.— См. I, 22, стр. 3—14.
217. Пумпянский А. Л. Влияние правописания на произношение в английском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 22 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).
218. Пурцеладзе В. Предикативный родительный падеж в немецком языке. — См. I, 26, стр. 67—68. — На груз. яз.
219. Пустовойт П. Словесные сорняки. [О борьбе за чистоту русского литературного языка].— «Звезда», М.— Л., 1952, № 6, стр. 163—167.
220. Радченко Д. Г. Видовое значение длительных форм глагола в современном английском языке. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 15 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).
221. Расторгуева В. С. Очерки по таджикской диалектологии. Вып. 1. Варзобский говор таджикского языка.— М., Изд-во АН СССР, 1952, 207 стр. (Ин-т языкознания). Библиогр. в тексте.
222. Расулев И. Некоторые вопросы развития узбекской научно-технической терминологии.—См. I, 18, стр. 7.
223. Ревзин И. И. К вопросу о грамматической синонимике. (Употребление оборотов с Partizip I и синонимических конструкций в немецком языке).— В кн.: «Иностр. языки в высшей школе. (Сб. статей)». I. М., Гос. изд-во «Советская наука», 1952, стр. 49—64.
224. Рейман Е. А. Лексическая группа глаголов речи и производных от них существительных в современном английском языке. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 18 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).
225. Реферовская Е. А. К вопросу о выборе вспомогательного глагола для сложных глагольных форм французского языка.— См. I, 25, стр. 256—264.
226. Решетов В. В. Некоторые вопросы узбекской диалектологии.— См. I, 1, стр. 93—116.
227. Решетов В. В. О диалектной основе современного узбекского литературного языка.— См. I, 7, стр. 56—61.
228. Решетов В. В. Состояние и задачи узбекской диалектологии.— См. I, 18, стр. 6.
229. Рихтер Г. И. Синтаксис предлогов в языке современной русской публицистики. Автореферат канд. дисс.— Сталино, 1952, 12 стр. (Сталинский гос. пед. ин-т Мин-ва просв. УССР).
230. Рогава Г. В. О некоторых образцах вульгарно-материалистического толкования истории абхазского и адыгских языков в свете учения И. В. Сталина о языке.— См. I, 6, стр. 515—536.
231. Розенталь Д. Э. Грамматические и лексические основы учебника итальянского языка для высших учебных заведений. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 12 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков). — (Стеклограф. изд.)
232. Рустамов Р. Сталинское учение о диалектах и некоторые вопросы азербайджанской диалектологии.— См. I, 21, стр. 49—56.
233. Саввин З. П. Состояние и задачи преподавания русского языка в якутских школах в свете учения И.В. Сталина о языке.— См. I, 3, стр. 27—41.
234. Савченко А. Н. О категории залога в украинском языке.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 2, стр. 22—29.
235. Санжеев Г. [Д.] Некоторые вопросы истории и диалектологии казахского языка.— «Әдебиет және искусство»(«Лит-ра и искусство»),Алма-Ата, 1952, № 2, стр. 117—121.— На каз. яз.
236. Сантадзе Г. Лингвистические

труды И. В. Сталина и вопросы арменоведения.— «Известия [АН Армянск. ССР]. Обществ. науки».— Ереван, 1952, № 6, стр. 3—15. На армянск. яз.

237. Сантадзе Р. О. Перестройка работы в области языкознания в свете учения о языке И. В. Сталина [в Ин-те языка АН Армянск. ССР].— «Известия [АН СССР]. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 2, стр. 185—187.

238. Сауле-Слейне М. [П.] Основной словарный фонд и словарный состав латышского языка в свете труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».— «Известия АН Латв. ССР», Рига, 1952, № 6, стр. 15—31.— На латышск. яз.

239. Сауранбаев Н. Т. Изучение словарного состава казахского языка в свете трудов товарища Сталина.— См. I, 1, стр. 30—41.

240. Сахарова М. А. Проблемы научной и политической терминологии в коми языке.— См. I, 14, стр. 21—25.

241. Сахибаев Р. Произведение товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и вопросы социально-политической терминологии в узбекском языке.—См. I, 18, стр. 11.

242. Селищев А. М. Старославянский язык. [Учебное пособие для студентов и аспирантов филологических факультетов ун-тов и факультетов русск. языка и лит-ры. пед. ин-тов]. Ч. 2. Тексты. Словарь. Очерки морфологии.— М., Учпедгиз, 1952, 207 стр., 1 л. образцов текста.

243. Сергеева Т. Н. К вопросу о значащем отсутствии артикля перед именами существительными в современном английском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 16 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).

244. Серебренников Б. А. О видовых значениях прошедшего очевидного и неочевидного времен в лугово-восточном марийском языке.— См. I, 5, стр. 91—96.

245. Серебренников Б. А. Работа И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и задачи изучения коми языка. — См. I, 14, стр. 3—7.

246. Сивцев Г. Ф. Состояние и задачи преподавания якутского языка в школах в свете учения И. В. Сталина о языке— См. I, 3, стр. 42—54.

247. Сидоров А. С. Влияние русского языка на грамматический строй коми языка.— См. I, 14, стр. 15—20.

248. Сидоров А. С. Некоторые особенности синтаксического строя северного (ижемского) диалекта коми языка.— См. I, 9, стр. 68—81.

249. Сидорова А. С. Пути развития коми литературного языка.— См. I, 14, стр. 8—14.

250. Сидоров А. С. Синтаксические и лексико-семантические формы выражения глагольного вида в коми языке.—См. I, 9, стр. 8—28.

251. Сидоров А. С. Термины родства у коми.— См. I, 9, стр. 62—67.

252. Сидоров В. Н. Об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах.— См. I, 5, стр. 57—71.

253. Симонян П. Об одном неизданном труде Х. Абовяна по грамматике.— «Известия [АН Армянск. ССР]. Обществ. науки», Ереван, 1952, № 1, стр. 107—109.— На армянск. яз.

254. Скворцова О. Н. Аналитические построения глагольного сказуемого в современном французском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 17 л. (1-й Моск. гос. пед.. ин-т иностр. языков).—(Стеклограф. изд.)

255. Смирницкий А. И. и Ахманова О. С. Образования типа stone wall, speech sound в английском языке.— См. I, 5, стр. 97—116

256. Собченко А. И. Передача сообщений на барабанах у народов Западной Африки.—«Советская этнография», М., 1952, № 1, стр. 120—134.

257. Соколов А. Система письма в Японии, ее история и современное состояние. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 24 стр. (Моск. ин-т востоковедения).

258. Соколова М. А. Из истории слов основного словарного фонда русского языка.— См. I. 5, стр. 8—19.

259. Сорвачева В. А. Некоторые фонетические и морфологические особенности верхне-вашского говора удорского диалекта [коми языка].— См. I, 9, стр. 37—48.

260. Сошальская Е. Г. Стилистическое использование отыменных глаголов в современном английском языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 21 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр.языков).—(Отпеч.множит. аппаратом.)

261. Старцева С. А. Говоры села Песчанки и прилегающих к нему населенных пунктов Галкинского района Курганской области. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 20 стр. (Моск. обл. пед. ин-т Мин-ва просв. РСФСР).

262. Стеблин-Каменский М. И. Порядок слов как средство выражения связи между предложениями в скандинавских языках.— См. I, 25, стр. 282—299.

263. Степанова Е. Н. Звуковой состав чувашского языка в сравнении с немецким. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 23 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).— (Стеклограф. изд.)

264. Строганова И. П. Процесс развития именной классификации в языках банту.— Ученые записки, № 128. Серия востоковедч. наук, вып. 3. Л., 1952, стр. 199—211. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).
265. Струве В. В. Датировка Бехистунской надписи.—«Вестник древней истории», М., 1952, № 1, стр. 26—48.
266. Стэнман Е. А. К вопросу о личных местоимениях в русском и узбекском языках.— См. I, 22, стр. 27—40.
267. Тарасенков Ан. За богатство и чистоту русского литературного языка!— В кн.: «Советская литература». Сб. статей». М., Гослитиздат, 1952, стр. 236—275.
268. Тевтадзе Ч. Сложные глаголы в древнегрузинском языке по Четвероглаву.— См. I, 26, стр. 55—56.— На груз. яз.
269. Терещенко Н. М. О некоторых особенностях грамматического строя ненецкого языка (категории переходности и непереходности).— См. I, 11, стр. 18—21.
270. Тимофеева В. О языке Маяковского.— «Звезда», М.— Л., 1952, № 6, стр. 148—158.
271. Топурия В. О внутренних законах развития языка на примере грузинского языка.— См. I, 12, стр. 6—7.
272. Топуридзе-Сумбатова Н. Ю. Неологизмы в современном немецком языке. (По материалам прессы, публицистич. работ и художеств. лит-ры Германской демократич. республики). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 23 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).
273. Трофимов В. А. К вопросу о выражении отрицания в современном русском литературном языке.— См. I, 25, стр. 77—114.
274. Убайдуллаев К. Об изучении каракалпакского языка в свете трудов товарища И. В. Сталина о языке.— См. I, 1, стр. 74—78.
275. Ульвидас К. Развитие литовского литературного языка в годы Советской власти.— См. I, 20, стр. 117—153.—На литовск. и русск. яз.
276. Урушадзе А. Об отношениях иберийско-кавказских языков к древнегреческому языку в свете сталинского учения о языке.— См. I. 12, стр. 19—21.
277. Усманов А. Вопросы узбекской научной терминологии в свете учения товарища Сталина о языке.— См. I, 1, стр. 153—172.
278. Успенская Л. В. Состояние и задачи таджикской диалектологии в свете учения И. В. Сталина о языке.— См. I, 1, стр. 141—152.
279. Утургаидзе Т. К взаимоотношению цоватушского языка и чагматушского диалекта.— См. I, 26, стр. 63—64.—На груз. яз.
280. Уханов Г. П. Синтаксис «Хожения Афанасия Никитина за три моря». Автореферат канд. дисс.— Калинин, 1952, 19 стр. (Ин-т языкознания АН СССР).
281. Фелицына В. П. Лексика русских пословиц XVII века. Автореферат канд. дисс.— Л., 1952, 16 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).
282. Филипович Н. И. Относительные придаточные предложения, имеющие антецедент, в современном французском языке (типология и использование в речи). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 23 л. (1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков).—(Стеклограф. изд.).
283. Фрейман А. А. Два Согдийских рукописных документа на коже с горы Муг в Таджикистане.— «Вестник древней истории», М., 1952, № 1, стр. 182—186.
284. Фрейман А. А. Тохарский вопрос и его разрешение в отечественной науке. — Ученые записки, № 128. Серия востоковедч. наук, вып. 3. Л., 1952, стр. 123—135. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).
285. Фролов В. Заметки о языке советской комедии.— «Новый мир», 1952, № 8, стр. 228—241.
286. Фролова Т. И. Именные категории верхне-вымских говоров северного диалекта коми языка.— См. I, 9, стр. 49—61.
287. Фузаилов С. Ф. О наречии в современном узбекском языке.— См. I, 22, стр. 15—26.
288. Хаберман А. Я. О переводах произведений Пушкина на эстонский язык.— В кн.: «Труды первой и второй Всесоюзных пушкинских конференций». 25—27 апр. 1949 г. и 6—8 июня 1950 г. М.—Л. Изд-во АН СССР 1952, стр. 207—215. [Ин-т русск. лит-ры (Пушкинский дом)].
289. Харитонов Л. Н. Учение И. В. Сталина о грамматическом строе языка и некоторые вопросы якутского языка.— См. I, 3, стр. 13—20.
290. Хасенов А. Против проявлений марризма и национализма в казахском языкознании.— «Әдебиет және искусство» («Лит-ра и искусство»), Алма-ата, 1952, № 1, стр. 79—92.—На каз. яз.
291. Хатиашвили Л. К вопросу о категории состояния в современном русском языке.— См. I, 26, стр. 59—60.— На русск. яз.
292. Хмелевская М. Р. К вопросу о морфологической системе глагола современного французского языка. Автореферат канд. дисс.— М., 1952,

16 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).

293. Ходова К. И. Наблюдения в области словарного состава древнего славянского памятника. («Житие Нифонта» в русском списке 1219 г.). Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 16 стр. (Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова).

294. Холодович А. А. Действие и субъект речи в японском языке.— Ученые записки, № 128. Серия востоковедч. наук, вып. 3. Л., 1952, стр. 177—198. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).

295. Хомонов М. П. Опыт исследования бурятских говоров. (Боханский говор). Автореферат канд. дисс. Л., 1952, 16 стр. (Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова).

296. Храмов И. Л. Формы диалогической речи на японском языке. Под ред. С. Ф. Зарубина.— [М.], Изд-во М. И. В., 1952. I.—310, 5 стр. II.—275, 5 стр. (Моск. ин-т востоковедения).

297. Цагарейшвили Т. О взаимоотношениях определяемого и определяющего в древнеперсидском языке.— См. I, 26 стр. 65—66.— На груз. яз.

298. Цаплина Р. И. Основные фонетические особенности ишлейского говора [чувашского языка. Из канд. дисс.] — Записки, вып. VI. Чебоксары, 1952, стр. 32—51. (НИИ языка, лит-ры и истории при Совете министров Чувашск. АССР).

299. Церцвадзе И. Два типа эргатива и некоторые вопросы склонения имен в аварском и андийском языках.— См. I, 12, стр. 16—18.

300. Цинцинус В. И. Вопросы изучения словарного состава тунгусо-маньчжурских языков.— См. I, 11, стр. 22—25.

301. Чередниченко И. Г. Очерки украинской фразеологии (с русско-украинск. параллелями). Ч. 1. Конструкции предлогов.— Киев, «Радянська школа», 1952, 144 стр.— На укр. яз.

302. Черезов Е. В. К вопросу о значении древнеегипетских терминов *мерет* и *хентиуше* во времена Древнего царства.— «Вестник древней истории», М., 1952, № 2, стр. 122—126.

303. Черных П. Я. Историческая грамматика русского языка (Краткий очерк). Пособие для пед. и учит. ин-тов.— М., Учпедгиз, 1952, 312 стр. с илл. и карт.; 1 л. илл.

304. Чичагов В. К. О некоторых вопросах истории русского языка в связи с историей слова «ружье».— См. I, 23, стр. 283—310.

305. Чумандрина М. О языке двух исторических пьес. [«Суворов» И. Бехтерева и А. Разумовского; «Флаг адмирала» А. Штейна].— «Звезда», М.— Л., 1952, № 6, стр. 167—171.

306. Чумбуридзе З. Умлаут в лентехском диалекте сванского языка.— См. I, 26, стр. 57—58.— На груз. яз.

307. Шаабдурахманов Ш. К написанию букв *э(е)* — *и* [в узбекском языке].— См. I, 7, стр. 24—29.

308. Шаабдурахманов Ш. Некоторые вопросы узбекской пунктуации.— См. I, 7, стр. 62—69.

309. Шамиева А. К вопросу об изучении уйгурского языка.— См. I, 1, стр. 181—187.

310. Шанидзе А. Этимологические разыскания. II. Карс. Бана. Артанудж.— См. I, 12, стр. 10—11.

311. Шанский Н. М. О производной и непроизводной основе [слов в русск. яз.].— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 4, стр. 10—18.

312. Шапиро А. Б. Ударение в кратких прилагательных [в русск. яз.].— См. I, 4, стр. 90—103.

313. Шахматов А. А. Из трудов по современному русскому языку. (Учение о частях речи). [Вступит. статья В. В. Виноградова].— М., Учпедгиз, 1952, 272 стр.

314. Шведова Н. Ю. Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке.— См. I 23, стр. 73—132.

315. Шевердин М. Важнейший участок идеологического фронта. [О качестве переводов худож. лит-ры с русск. на узбекск. и с узбекск. на русск. яз.].— «Звезда Востока», Ташкент, 1952, № 5, стр. 96—107.

316. Ширалиев М. Труды И. В. Сталина по вопросам языкознания — великая программа перестройки азербайджанского языкознания. — См. I, 21, стр, 5—18.

317. Шитов В. А. Сложные предложения с последовательным подчинением в современном русском литературном языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 20 стр. (Моск. гор. пед. ин-т им. В. П. Потемкина).

318. Шишмарев В. Ф. От латинских залоговых форм к французским.— См. I, 25, стр. 247—255.

319. Штейнберг Н. М. Так называемое будущее предварительное (futur antérieur) в современном французском языке. (К вопросу о соотношении категорий вида и времени в системе франц. глагола.).— См. I, 25, стр. 265—281.

320. Эндзелин Я. Древнейшие славяно-балтийские языковые связи. [Доклад на февр. объедин. сессии ин-тов академий наук СССР, Латв. ССР, Литов. ССР и Эстон. ССР].—

«Известия АН Латв. ССР», Рига, 1952, № 3, стр. 33—46.

321. Эртелишвили П. К семантике союза *ту* [«если»] [в груз.яз.]— См. I, 26, стр. 52. — На груз. яз.
322. Юнусалиев Б. М. К вопросу об исследовании лексики современного киргизского языка в свете сталинского учения о языке.— См. I, 1, стр. 61—73.
323. Якубинский Л. П. Из истории имени прилагательного [в русском языке].— См. I, 4, стр. 52—60.
324. Яновская Ф. Заметки о языке трех поэтов [И. Мухачева, К. Лисовского, Н. Алексеева].— «Сибирские огни», [Новосибирск], 1952, № 3, стр. 165—177.
325. Ярнатовская В. Е. Категория грамматического рода имен существительных в современном немецком языке. Автореферат канд. дисс.— М., 1952, 19 стр. (Моск. гор. пед. ин-т. им. В. П. Потемкина).
326. Ярцева В. Н. Пути развития словосочетания. (На материале англ. яз.).— См. I, 25, стр. 28—42.
327. Яшин П. М. Работа И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и задачи изучения удмуртского языка.— См. I, 13, стр. 3—7.
328. Грамматика русского языка. (Ред. коллегия: В. В. Виноградов, Е. С. Истрина, С. Г. Бархударов). Т. I. Фонетика и морфология.— М., Изд-во АН СССР, 1952, 720 стр. (Ин-т языкознания).
329. За идейность и высокое мастерство художественного перевода! (По материалам совещания по вопросам перевода с языков народов СССР, состоявш. в Ленинграде).— «Звезда», М.— Л., 1952, № 2, стр. 170—175.
330. Основные орфографические правила узбекского языка. (Проект).— Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1952, 24 стр. (Ин-т языка и лит-ры им. А. С. Пушкина).— На узб. яз.
331. Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. Отв. ред. С. Б. Бернштейн. Вып. 2. — М., Изд-во АН СССР, 1952, 108 стр. (Ин-т славяноведения). (Вып. 1 напеч. в Ученых записках Ин-та славяноведения, т. II, 1950, стр. 218—308).
332. Терминология туркменского языка и задачи ее улучшения. (Материалы ко второму лингвистическому съезду Туркм. ССР).— Ашхабад, 1952, 16 стр. (Ин-т языка и лит-ры АН Туркм. ССР).— На туркм. и русск. яз.
333. Тувинская орфография. (Правила правописания).— Кызыл, Тувинск. обл. изд-во, 1952, 60 стр. (Тувинск. НИИ языка, лит-ры и истории).— На тувинск. яз.

3. История отечественного языкознания и персоналии

1. Булаховский Л. А. Александр Афанасьевич Потебня. (К 60-летию со дня смерти). — [Киев], Изд-во ун-та, 1952, 46 стр., 1 л. портр. (Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко).
2. Булаховский Л. А. Лингвистическое наследство А. А. Потебни.— «Русский язык в школе», [М]., 1952, № 2, стр. 72—81.
3. Булаховский Л. А. Николай Кузьмич Грунский (1872—1951).— См. 1, 10, стр. 163—164.—На укр. яз.
4. Булаховский Л. А. Сергей Иванович Маслов.— См. I, 10, стр. 162—163. На укр. яз.
5. Виноградов В. В. Синтаксические взгляды и наблюдения академика Л. В. Щербы.—См. I, 23, стр. 45—72.
6. Виноградов В. В. Учение академика А. А. Шахматова о грамматических формах слов и о частях речи в современном русском языке.— См. I, 4, стр. 28—51.
7. Кавтарадзе И. Я. Гогебашвили и грузинский язык.— См. I, 12 стр. 14—15.
8. Кузнецов П. С. О трудах М. В. Ломоносова в области исторического и сравнительного языкознания. — См. I, 23, стр. 4—44.
9. Малаховский В. А. Юбилей проф. А. Н. Гвоздева [в связи с его 60-летием].— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 4, стр. 81—82.
10. Мелкумян Р. Л. Ф. И. Буслаев как исследователь русской стилистики.— См. I, 15, стр. 105—128.— На русск. яз. Резюме на армянск. яз.
11. Клавдия Александровна Ганшина. [К 70-летию со дня рождения и 50-летию педагог. и научно-обществ. деятельности].— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 4, стр. 106, с портр.

III. СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ

1. Английско-грузинский словарь. Сост. *Т. и И. Гварджаладзе.* — Тбилиси, Гос. изд-во Груз. ССР, 1952, 740 стр.
2. Англо-русский словарь. Около 30 000 слов. Сост. *В. Д. Аракин, З. С. Выгодская* и *Н. Н. Ильина.*— М., Гос. изд.-во иностр. и нац. словарей. 1952, 964 стр.
3. Коми орфографический словарь. (Справочник). Проект. Сост. *А. И. Подорова.*— Сыктывкар, 1952, 22 стр. (Коми филиал АН СССР).
4. Краткий русско-алтайский словарь

основных терминов и слов.— Горно-Алтайск, Облнациздат, 1952, 88 стр.

5. Краткий русско-туркменский словарь лингвистических терминов. [Проект] (Материалы ко второму лингвистическому съезду Туркм. ССР).—Ашхабад, 1951 (вып. дан. 1952), 18 стр. (Ин-т языка и лит-ры АН Туркм. ССР).—На туркм. яз
6. Латинско-русский словарь. Около 20 000 слов. Сост. *А. М. Малинин*.— М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1952, 764 стр.
7. Орфографический словарь даргинского языка. Сост. *С. Абдуллаев*.— [Махачкала], Дагучпедгиз, 1951 [вып. дан. 1952], 241 стр. (Ин-т истории, языка и лит-ры Дагест. филиала АН СССР и Мин-во просв. ДАССР). — На даргинск. яз.
8. Орфографический словарь. Для начальной и средней школы. Сост *Д. Н. Ушаков* и *С. Е. Крючков*. Изд. 8-е.— М., Учпедгиз, 1952, 191 стр.
9. Русско-английский словарь. Около 25 000 слов. Под ред. О. С. Ахмановой. Изд.-7-е, стереотипн.— М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1952, 464 стр.
10. Русско-казахский сельскохозяйственный словарь. С основными терминами биологии. Сост. *С. Арымбетов*.— Алма-Ата, Казгосиздат, 1952, 161 стр.
11. Русско-немецкий словарь. Около 35 000 слов. Сост. *О. Н. Никонова*.— М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1952, 935 стр.
12. Словарь русского языка. 52 000 слов. Сост. *С. И. Ожегов*. Под общ. ред С. П. Обнорского. Изд. 2-е, испр и доп.— М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1952, 848 стр.
13. Терминологический словарь по ботанике. Русско-башкирский и башкирско-русский. Сост. *Н. Уразметов*. Под ред. Т. Баишева.— Уфа, Башгосиздат, 1952, 130 стр. (Ин-т истории, языка и лит-ры Башк. филиала АН СССР).— На башк. яз.
14. Терминологический словарь по географии. Русско-башкирский и башкирско-русский. Сост. *М. 4. Хакимов*.— Уфа, Башгосиздат, 1952, 55 стр. (Ин-т истории, языка и лит-ры Башк. филиала АН СССР).— На башк. яз.

IV. РЕЦЕНЗИИ

1. Аванесов Р. И. *Кузнецов П. С.* Русская диалектология. Учебник для учительских ин-тов. М., Учпедгиз, 1951, 143 стр., 1 карта.— «Советская книга», М., 1952, № 6, стр. 92—102.
2. Амоголонов Д. Ценное пособие. Бурят-монгольско-русский словарь. Сост. *К. М. Черемисов*. Под ред. Ц. Б. Цыдендамбаева. Около 25 000 слов. М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1951, 852 стр.— «Бурят-монгольская правда», Улан-Удэ, 11 VI 52.
3. Бархударов С. и Евгеньева А. Окончательно преодолеть марристские ошибки в языкознании. —*Мещанинов И. И.* Члены предложения и части речи. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1945, 322 стр.—«Лит. газета», 10 I 52.
4. Баскин М. П. За творческую разработку великих сталинских идей.— Вопросы диалектического и исторического материализма в труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». (Сборн. статей. Ред. коллегия: Г. Ф. Александров и др.). Изд. 2-е. М., Изд-во АН СССР, 1951, 455 стр.—«Вопросы философии», [М.], 1952, № 1, стр. 187—192.
5. Белецкий А. А. К вопросам сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков.— *Десницкая А. В.* Архаические черты в индоевропейском словосложении, «Язык и мышление», XI, Изд-во АН СССР, 1948, стр. 133—152.— См. I, 10, стр. 147—150.— На укр. яз.
6. Белодед И. К. Ценное пособие по вопросам языкознания для средней и высшей школы.— «Материалы объединенной научной сессии Отд-ния лит-ры и языка АН СССР и Акад. пед. наук РСФСР, посвященной трудам И. В. Сталина по языкознанию и вопросам преподавания языков в советской школе (27—29 нояб. 1950 г.)». М., Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1951, 160 стр.— См. I, 10, стр. 142—146.— На укр. яз.
7. Ваксман Б. и Попушой М. Новое издание «Грамматики молдавского языка».— *Чебан И. Д.* Грамматика молдавского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. Изд. 6-е. Кишинев, «Шкоала советика», 1951. На молдавск. яз. — «Октябрь», Кишинев, 1952, № 3, стр. 87—91.
8. Всеволодов В., Зарва М. и Былинский К. О словаре современного русского языка. — Словарь современного литературного русского языка. (Главн. редакторы: В. И. Чернышев, С. Г. Бархударов). Т. т. 1—2, М.— Л., Изд-во АН СССР, 1950—1951. — «Лит. газета», М., 29 IV 52.
9. Горецкий П. И. *Ващенко В. С.* и *Петрова П. О.* Лексика Шевченко. (Словоуказатель к поэзии Т. Г. Шевченко). Киев, 1951, 106 стр. (Днепропетровск. гос. ун-т).— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 2, стр. 82—84.
10. Григорян А. Сборник «Лингви-

стических и арменоведческих исследований» Ин-та языка АН Армянской ССР.— «Известия [АН Армянск. ССР]. Обществ. науки», Ереван, 1952, № 4, стр. 111—121.— На армянск. яз.

11. Замбржицкая А. А., Искоз А. М. и Кузнецова К. М. О книге «Вопросы синтаксиса немецкого языка».—*Андреевская М. В.* Вопросы синтаксиса немецкого языка. Л.—М., Учпедгиз, 1950, 200 стр.— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 1, стр. 115—117.
12. Кинжалов Р. *Schoembs. J.* Aztekische Schriftsprache.— Heidelberg. Carl Winter, Universitätsverlag. 1949. 212 s. (Bibl. der allgemeinen Sprachwissenschaft, hrsg. von H. Krahe. Reihe 3. Darstellungen und Untersuchungen aus einzelnen Sprachen). [*Шёмбс Я.* Ацтекский письменный язык.— Гейдельберг. Карл Винтер. Изд-во ун-та, 1949, 212 стр. (Б-ка общего языкознания, изд. Г. Крае. Серия 3. Очерки и исследования по отд. языкам)].—«Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 2, стр. 179—180.
13. Клюева В. *И. М. Пулькина.* Краткий справочник по русской грамматике. (Пособие для преподавателей нерусских школ). Под ред. П. С. Кузнецова, изд. 3-е. М., Учпедгиз, 1951.— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 2, стр. 82—84.
14. Коломиец В. Т. и Мельничук О. С. Неудачное пособие.— *Медведев Ф. П.* Современный украинский литературный язык. (Очерки по грамматике). Харьков, Изд-во Харьковск. гос. ун-та, 1951, 198 стр.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 1, стр. 80—85.
15. Кордабаев Т. Книга, пропагандирующая чуждые марксизму идеи. *Аманжолов. С.* Краткий курс по синтаксису казахского литературного языка. Ч. I. Алма-Ата, 1950, 88 стр. На каз. яз.— «Халық мұғалімі» («Народный учитель»), Алма-Ата, 1952, № 1, стр. 91—95. — На каз. яз.
16. Крючков С. Е. *Шапиро А. Б.* Русское правописание. М., Изд-во АН СССР, 1951.— «Советская книга», М., 1952, № 4, стр. 106—110.
17. Кудреватый Г. *Таубе А. М. и Шмид В. А.* Англо-русский морской словарь. Изд. 2-е, переработанное. 30 000 слов. М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1951, 648 стр.—«Морской флот», [М.], 1952, № 3, стр. 29—30.
18. Ломтатидзе К. В. Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Сб. статей. Под ред. В. В. Виноградова и Б. А. Серебренникова. Ч. I. М., Изд-во АН СССР, 1951, 432 стр. (Ин-т языкознания). — «Советская книга», [М.], 1952, № 6, стр. 102—105.
19. Мораховская О. и Строганова Т. *Кузнецов П. С.* Русская диалектология. Учебник для учит. ин-тов. М., Учпедгиз, 1951, 143 стр., 1 карта. — «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 4, стр. 76—79.
20. Рубин В. А. *Люй Чжэнь-юй.* Краткая история национальностей Китая. Пекин, Изд-во Саньляньшудянь, 1951, 218, 22 стр. На китайск. яз.— «Вестник древней истории», М., 1952, № 2, стр. 173—178.
21. Саняжеев Г. и Черных П. Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Сб. статей. Под ред. В. В. Виноградова и Б. А. Серебренникова. Ч. I. М., Изд-во АН СССР, 1951, 431 стр. (Ин-т языкознания). — «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 1, стр. 76—85.
22. Сурин А. Брошюры о трудах И. В. Сталина по языкознанию *Александров Г. Ф.* Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»— великий образец творческого марксизма. М., [«Правда»], 1951.— «Наука и жизнь», М., 1952, № 1, стр. 47—48.
23. Таджиев Д. Русско-таджикский словарь. 45 000 слов. Под ред. А. П. Дехоти и Н. Н. Ершова. Главн. ред. Е. Э. Бертельс. Москва — Сталинабад, Гос. Изд-во иностр. и нац. словарей, Гос. изд-во Таджик. ССР, 1949., 880 стр. (Ин-т истории, языка и лит-ры Таджик. филиала АН СССР). — «Коммунист Таджикистана», Сталинабад, 9 I 52.
24. Ушаков М. В., *Ушаков Д. Н.* и *Крючков. С. Е.* Орфографический словарь. Изд. 7-е, исправленное и дополненное. М., Учпедгиз, 1951, 191 стр. — «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 3, стр. 70—72.
25. Целуйко К. К. Ученые записки Львовского государственного университета им. Ив. Франко, т. XI, вып. 4. Серия филологическая. «Вопросы славянского языкознания», кн. 2. Львов, 1949, 253 стр. На укр. яз.— См. I, 10, стр. 137—141.— На укр. яз.
26. Чередниченко И. Г. Курс современного украинского литературного языка. Под ред. Л. А. Булаховского. Т. II. Синтаксис. Киев, 1951, 408 стр.— «Українська мова в школі», Киев, 1952, № 1, стр. 76—79.
27. Чередниченко И. Г. Лексикографический бюллетень, вып. I. Киев, Изд-во АН УССР, 1951, 110 стр. (Ин-т языкознания).— «Українська

мова в школі», Киев, 1952, № 2, стр. 75—81.

28. Шведова Н. Ю. и Баскаков Н. А. «Известия Академии Наук СССР. Отд-ние лит-ры и языка», журнал. М.— Л., 1951.— «Советская книга», [М.], 1952, № 2, стр. 108—118.

V. БИБЛИОГРАФИЯ

1. Мелентьева Л. Труды И. В Сталина по вопросам языкознания — выдающийся вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма. (Краткий список лит-ры ко 2-й годовщине со дня опубликования произведения И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». — Ворошиловград, 1952, 6 стр. («Ворошиловгр. обл. отд. культпросветучреждений. Обл. б-ка им. А. М. Горького).
2. Орлов А. С. Библиография русских надписей XI — XV вв. — М. — Л., Изд-во АН СССР, 1952, 239 стр. [Ин-т русск. лит-ры, (Пушкинский дом)].
3. Диссертации по германскому и романскому языкознанию и методике преподавания иностранных языков, защищенные после выхода в свет труда товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». [Аннотации]. — «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 3, стр. 124—128.—(Оконч. в след. номере).
4. Диссертации по германскому и романскому языкознанию и методике преподавания иностранных языков, защищенные после выхода в свет труда товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (1950—1951 гг.). [Аннотации].— «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 4, стр. 123—128.— Продолж. Начало: № 3.
5. Значение труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» для творческого развития науки. Библиография. [Отв. ред. Т. А. Волжина] М., 1952, III, 122, III л. (Фундамент. б-ка обществ. наук АН СССР).—(Отпеч. множит. аппаратом).
6. К итогам работы Института языкознания АН СССР за 1951 г. [Печатные труды Института языкознания АН СССР, 23 назв.].—«Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 2, стр. 181—185.
7. Новая литература для преподавателей русского языка (1951 г.) [Систематич. указатель].— «Русский язык в школе», [М.], 1952, № 3, стр. 77—80.
8. Сводный бюллетень новых иностранных книг [поступивших в крупнейшие библиотеки СССР за янв.— дек. 1951 г.]. Серия В.— Языкознание и методика изучения иностранных языков. Отв. ред. Н. А. Кондрашов.— М., Изд-во иностр. лит-ры, 1952, 98 стр.
9. Советское языкознание на путях перестройки. [Передовая. Ко 2-й годовщине со дня выхода в свет труда И. В. Сталина по вопросам языкознания. Обзор работ по языкознанию, вышедших за период 1950—1952 гг. в СССР].— Українська мова в школі», Киев, 1952, № 3, стр. 3—10.

Примечание. В публикуемую библиографию вошли книги и журнальные статьи по языкознанию, напечатанные в Советском Союзе на русском языке и на языках народов СССР, за первую половину 1952 г. В отдельных случаях учтены работы, появившиеся в июле — августе с. г.

В библиографию не включены:

а) газетные статьи, за исключением рецензий;

б) статьи, опубликованные в журнале «Вопросы языкознания» (см. Указатель на стр. 173).

О всех пропусках, обнаруженных в настоящем перечне, редакция просит ставить ее в известность.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1952 г.

И. В. Сталин, Речь на XIX съезде партии, № 6, стр. 3.

Передовые статьи

Задачи советского языкознания в свете трудов И. В. Сталина и журнал «Вопросы языкознания», № 1, стр. 3.
Два года движения советского языкознания по новому пути, № 3, стр. 3.
Тридцать пять лет советского языкознания, № 6, стр. 7

Общий отдел

Баскаков Н. А., Развитие языков и письменности народов СССР (на материале тюркских языков), № 3, стр. 19.
Виноградов В. В., Понятие внутренних законов развития языка в общей системе марксистского языкознания, № 2, стр. 3.
Горнунг Б. В., О границах применения сравнительно-исторического метода в языкознании (в применении к индоевропейским языкам), № 4, стр. 20.
Горнунг Б. В., Левин В. Д. и Сидоров В. Н. Проблема образования и развития языковых семей, № 1, стр. 41.
Кузнецов П. С., Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских языков, № 5, стр. 38.
Пельше А. Я., Состояние латышского языкознания и задачи языковедов республики в свете труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», № 3, стр. 79.
Смирницкий А. И., К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании, № 4, стр. 3.
Степанов Г. В., О стиле художественной литературы, № 5, стр. 23.
Федоров А. В., Основные вопросы теории перевода, № 5, стр. 3.
Шарадзенидзе Т. С., Процессы дифференциации и интеграции языков в свете учения И. В. Сталина, № 1, стр. 65.

Исследования и специальные статьи

Аванесов Р. И., Лингвистическая география и история русского языка, № 6, стр. 25.
Георгиев Вл., Происхождение алфавита, № 6, стр. 48.
Десницкая А. В., Вопросы изучения древних языков Малой Азии и сравнительная грамматика индоевропейских языков, № 4, стр. 39.
Конрад Н. И., О китайском языке, № 3, стр. 45.
Ожегов С. И., О трех типах толковых словарей современного русского языка, № 2, стр. 85.
Оссовецкий И. А., Об изучении языка русского фольклора, № 3, стр. 93.
Стеблин-Каменский М. И., Образование норвежского национального языка, № 1, стр. 107.
Фельдман Н. И., О специфике небольших двуязычных словарей, № 2, стр. 62.
Шведова Н. Ю., К вопросу об общенародном и индивидуальном в языке писателя, № 2, стр. 104.
Шишмарев В. Ф., Романские языки Юго-Восточной Европы и национальный язык Молдавской ССР, № 1, стр. 80.

История языкознания

Баранников А. П., Элементы сравнительно-исторического метода в индологической лингвистической традиции, № 2, стр. 44.

Языкознание за рубежом

Развитие зарубежного языкознания после выхода в свет труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»
Бернштейн С. Б., Болгария, № 3, стр. 122.
Кондрашов Н. А., Чехословакия, № 4, стр. 102.
Мазур Ю. Н. Корейская Народно-демократическая республика, № 3, стр. 119.
Майтинская К. Е., Венгрия, № 3, стр. 128.
Михальчи Д. Е., Румыния, № 4, стр. 99.
Ошанин И. М., Китайская Народная Республика, № 3, стр. 113.

Критика буржуазного языкознания

Ахманова О. С., О методе лингвистического исследования у американских структуралистов, № 5, стр. 92

Сообщения и заметки

Григорьева А. Д., Словарь языка Пушкина, № 3, стр. 150.
Грифцов Б. А., Заметки по технике перевода, № 5, стр. 79

Языкознание и школа

Боровский Я. М., Латинский язык в средней школе, № 4, стр. 87.
Будагов Р. А., К постановке курса «Введение в языкознание» в высшей школе, № 4, стр. 70.
Галинский В. Г., Древние языки в подготовке языковедов, № 4, стр. 89.
Кондратьев С. П. и Тимофеева Н. А., Латинский язык в системе современного образования, № 4, стр. 84.
Конрад Н. И., Об изучении восточных языков в наших высших учебных заведениях, № 1, стр. 134.
Поспелов Н. С., О структуре филологических факультетов университетов и подготовке лингвистических кадров в области русского языкознания, № 1, стр. 127.
Реформатский А. А., Курс «Введение в языкознание» на филологических факультетах университетов и на литературных факультетах педагогических институтов, № 4, стр. 59.
Чикобава А. С., О подготовке специалистов по общему языкознанию, № 1, стр. 122.

Дискуссии и обсуждения

Абаев В. И., О принципах этимологического словаря, № 5, стр. 56.
Ачарян Р. А., О составлении этимологического словаря славянских языков, № 4, стр. 91.
Перевощиков П. Н., О некоторых синтаксических конструкциях в удмуртском языке, № 6, стр. 103.
Петерсон М. Н., О составлении этимологического словаря русского языка, № 5, стр. 70.
Санжеев Г. Д., К проблеме частей речи в алтайских языках, № 6, стр. 84

Трибуна читателя

Панов В. И., Об отличиях национального языка от языка народности, № 6, стр. 120

Критика и библиография

Борковский В. И., Драгоценные памятники древнерусской письменности. (О статьях проф. А. В. Арциховского по поводу открытия новгородских берестяных грамот), № 3, стр. 131.
Будагов Р. А. и Ярцева В. Н., «Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина» под ред. акад. В. В. Виноградова, № 4, стр. 106.
Виноградов В. В., *А. Н. Гвоздев.* «Очерки по стилистике русского языка», № 6, стр. 136
Виноградов В. В., *И. И. Мещанинов* «Члены предложения и части речи», № 1, стр. 142.

Звегинцев В. А., Carl Darling Buck. «A dictionary of selected synonyms in the principal indo-european languages» (*Карл Дарлинг Бак.* «Словарь избранных синонимов основных индоевропейских языков»), № 5, стр. 106.
Кондрашов Н. А., *Е. Георгиев.* «Славянская письменность до Кирилла и Мефодия», № 6, стр. 140.
Кузьмин Ф. Ф., Новгородская берестяная грамота № 9 (О статьях проф. А. В. Арциховского по поводу открытия новгородских берестяных грамот), № 3, стр. 137.
Пиотровский Р. Г., Сборник «Вопросы молдавского языка в свете трудов И. В. Сталина», № 1, стр. 149.
Сорокин Ю. С., *А. Ф. Ефремов.* «Язык Н. Г. Чернышевского», № 2, стр. 126.
К вопросу о развитии от языка народности к национальному языку (библиографическая справка), № 6, стр. 126.
Новые книги и статьи по вопросам языкознания (за 1-ую половину 1952 г.), № 6, стр. 152.

Научная жизнь

Агаян Э. Б., Языкознание в Армении, № 5, стр. 110.
Баскаков Н. А., Дискуссия в Казахстане о литературном языке, графике и орфографии, № 4, стр. 132.
Баскаков Н. А., Конференция по вопросам алтайского языка и литературы в Горно-Алтайской автономной области, № 1, стр. 166.
Белодед И. К. и Ильин В. С., В Институте языкознания им. А. А. Потебни, № 4, стр. 120.
Горнунг Б. В. и Серебренников Б. А., Конференция языковедов прибалтийских советских республик, № 4, стр. 124.
Земская Е. А., Заседание Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященное второй годовщине опубликования трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания, № 5, стр. 122.
Иванчикова Е. А., Защита диссертаций в Институте языкознания АН СССР, № 1, стр. 185.
Ильинская И. С., Совещание по вопросам лексикографии при Институте языкознания АН СССР (с приложением резолюции), № 4, стр. 114.
Кузьмина И. Б. и Мораховская О. Н., Диалектологическая конференция в Институте языкознания АН СССР, № 5, стр. 128.
Левин В. Д. и Орлов М. М., Дискуссия о внутренних законах развития языка в Ученом совете Института языкознания АН СССР (с приложением Постановления Ученого совета Института языкознания АН СССР от 7 февраля 1952 г.), № 3, стр. 141.
Лыткин В. И., В Карело-Финском филиале АН СССР, № 4, стр. 134.
Орлова В. Г., Обсуждение книги И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи» на расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР № 1, стр. 170.
О совместной работе Института языкознания АН СССР и Академии педагогических наук РСФСР, № 6, стр. 151.
Оссовецкий И. А., Вопросы современной белорусской орфографии, № 2, стр. 151.
Пиотровский Р. Г., Совместная научная сессия Института языкознания АН СССР и Института истории, языка и литературы Молдавского филиала АН СССР, посвященная вопросам молдавского языкознания, № 1, стр. 177.
Плотникова В. А., Совещание по методологии этногенетических исследований в свете сталинского учения о нации и языке, № 1, стр. 155.
Робинсон А. Н., Научная конференция аспирантов Института языкознания АН СССР, № 5, стр. 132.
Севортян Э. В., Языкознание в Узбекистане, № 5, стр. 116.
Черкасова Е. Т., Обсуждение статьи «За творческую разработку проблем языкознания», помещенной в «Правде», № 2, стр. 156.
Чикобава А. С., Церетели Г. В. и Беридзе В. М., Языковедческая работа в Советской Грузии, № 2, стр. 138.
Ширалиев М. Ш., Азербайджанское языкознание после выхода в свет гениальных трудов товарища Сталина по вопросам языкознания, № 4, стр. 128.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

И. В. Сталин. Речь на XIX съезде партии 3

Тридцать пять лет Октября и советское языкознание 7
Р. И. Аванесов. Лингвистическая география и история русского языка 25
Вл. Георгиев. Происхождение алфавита 48

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. Д. Санжеев. К проблеме частей речи в алтайских языках 84
П. Н. Перевощиков. О некоторых синтаксических конструкциях в удмуртском языке 103

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

В. И. Панов. Об отличиях национального языка от языка народности . . 120
К вопросу о развитии от языка народности к национальному языку (библиографическая справка) 126

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. В. Виноградов. *А. Н. Гвоздев*, Очерки по стилистике русского языка 136
Н. А. Кондрашов. *Э. Георгиев*. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. 144

О совместной работе Института языкознания АН СССР и Академии педагогических наук РСФСР 151

Новые книги и статьи по вопросам языкознания (первая половина 1952 г.) . . 152

Указатель статей, напечатанных в журнале «Вопросы языкознания» в 1952 г. 173

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (секретарь редколлегии), *Р. А. Будагов, В. В. Виноградов* (главный редактор), *А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев* (зам. главного редактора), *В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова.*

Адрес редакции: Москва, Волхонка, 18/2, тел. К-4-01-28.

Т-07784. Подписано к печати 19/XI 1952 г. Тираж 15000 экз. Зак. 649
Формат бум. 70×108/16 Бум. лист. 5½ Печ. л. 15,07 Уч. изд. л. 16,9

2-я типография Издательства Академии Наук СССР, Москва, Шубинский пер. 10